МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФОРУМ
ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ
НА СТАВРОПОЛЬЕ

БЕЛАЯ АКАЦИЯ

Ставрополь, 2018

УДК 821.161.1
ББК 84 (2=411.2) 6
Б 43

Составление Е. Полумисковой

Редакционная коллегия:
Екатерина Полумискова - главный редактор,
Владимир Бутенко, Виктор Кустов,
Александр Покровский, Сергей Скрипаль,
Татьяна Третьякова-Суханова, Александр Куприн,
Тамара Лангуева

© Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной организации писателей «Общероссийское литературное сообщество», 2018

© Составление, Е. Полумискова, 2018

© Оригинал-макет, ООО «Блиц-Инфо», ООО «ЮРКИТ», 2018

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Поэт в России - больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет.
Поэт в ней - образ века своего
и будущего призрачный прообраз.
Поэт подводит, не впадая в робость,
итог всему, что было до него.
Евгений Евтушенко

В 2018 году на Ставрополье в пятый раз пройдёт Международный форум творческих союзов. Впервые профессиональные представители различных жанров и видов искусств, объединившиеся в творческие союзы России и зарубежных стран, собрались на Северокавказской земле в 2014 году, объявленном Годом Культуры в России. Затем последовали другие ежегодные встречи, имя которым - «Белая акация». Форумы, проводимые по инициативе министерства культуры Ставропольского края, при поддержке Губернатора Владимира Владимирова и правительства края, уже стали традиционными и ожидаемыми, а культурные мероприятия на Ставропольской земле - масштабными и по-своему знаковыми, яркими событиями в культурной жизни региона и страны. Аналогов этому Форуму пока нет - сама духовная и душевная атмосфера, уникальная природа Северного Кавказа в пору весеннего цветения способствует тому, чтобы сюда из разных уголков Родины и земного шара устремлялись лучшие представители культурной и творческой интеллигенции.

2018-й год объявлен в России Годом добровольца и волонтёра, а на Ставрополье - ещё и Годом гражданской ответственности. С такой инициативой выступил глава края на церемонии оглашения ежегодного Послания Думе Ставропольского края: «Сегодня каждый, кто честно трудится, кто готов помочь попавшему в беду, кто вносит свой вклад в благоустройство улиц и дворов, кто не проходит мимо нарушения закона, кто голосует на выборах - проявляет свою гражданскую ответственность. Чтобы поддержать таких людей, предлагаю объявить следующий год на Ставрополье Годом гражданской ответственности. Ответственности за свой дом, своё село, свой край. За свою страну и за будущее детей». И так уж издавна повелось, что русский писатель всегда выходил за рамки своей творческой индивидуальности, его отличало глубокое личностное чувство ответственности перед Отечеством, перед своим народом. «Не будет гражданин достойный к Отчизне холоден душой…» - так писал поэт-классик Н. А. Некрасов. Да и современные мастера слова не меньше болеют душой за судьбу нации, предпринимая попытки противостоять деструктивным процессам, нарастающим в обществе.

«Белая акация» не случайно расцветает на следующий день после празднования Дня славянской письменности и культуры, установленного в честь свя-

тых равноапостольных просветителей Кирилла и Мефодия, и длится почти до Дня русского языка, который мы отмечаем ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. За круглым столом и на многочисленных творческих встречах участники Форума - русскоязычные писатели, делятся своим творчеством, презентуют книги и журналы, обсуждают проблемы значимости художественных литературных произведений в формировании российской идентичности, чувств патриотизма и гражданской ответственности у молодого поколения.

И Некрасов, и Достоевский, и Бердяев указывали на то, что «есть только один исторический путь… к единству человечества - путь национального роста и развития, национального творчества». И в данном случае миссия писателей и роль отечественной литературы неизмеримо велика. После «лихих 90-х» выросло целое поколение россиян, не только переставшее читать «бумажные книги», но и в значительной мере утратившее интерес к отечественной истории и культуре. И всё же русская литература всегда стояла на позициях глубокого патриотизма. Сегодня, как никогда, необходимо русское художественное слово в качестве уникального «кода активации» для пробуждения национального самосознания, осмысления историко-культурных основ, поддержания общности и духовно-нравственного потенциала нации.

Традиции классической литературы с успехом продолжают современные писатели, мастера слова, художественные произведения которых пронизаны любовью к Великой и малой Родине, к своим истокам. Да и жизненный опыт авторов, участников Форума, их личный пример также важны для раскрытия самой темы «неподдельного патриотизма». В юбилейный год 100-летия советской детской литературы, 75-летия Битвы за Кавказ и освобождения Северного Кавказа от фашистских захватчиков писатели обращают внимание общества на необходимость глубокого изучения и всесторонней поддержки русского языка и литературы. Именно об этом говорят и размышляют герои рассказов и поэтических подборок, включенных в наш сборник. Эта книга - о поисках смысла жизни, о тернистом творческом пути и становлении личности мастеров пера и кисти, классиков и наших с вами современников.

Сборник поэзии и прозы участников Форума «Белая акация» оформлен иллюстрациями не только профессиональных живописцев по сложившейся традиции, но и фотографиями мастеров-фотохудожников, а также картинами участников открытого фестиваля пленэрной живописи «Гречишкинская весна», посвященного памяти Заслуженного художника России Павла Моисеевича Гречишкина, который проходит ежегодно в рамках форума «Белая акация».

Главный редактор и составитель,
директор Общероссийской общественной
организации писателей «Общероссийское
литературное сообщество»
член Союза писателей России *Екатерина Полумискова*

ИСКРА СЛОВА

Что толку во флейтах,
когда говорят барабаны?

С. Гаделия

ВСЕМ - ВСЁ!

1

В ночь с 11 на 12 сентября 1927 года в Кисловодске зарядил дождь. Сначала мелкий, тихий, сливающийся с шелестом желтеющей листвы и журчанием речки Ольховки. Затем усилившийся ливень принялся настойчиво барабанить в окна «Гранд-Отеля», словно загулявший постоялец. А под утро, совсем не ко времени года, разразилась гроза, почти такая же неистовая, как неделю назад над черноморским побережьем…

Шторм и грозовые раскаты разрывали тогда «между тучами и морем» теплоход, отправившийся вечером 3 сентября из Ялты в Новороссийск. На нем плыл Владимир Маяковский со своей нынешней пассией Наташей Брюханенко, направляясь на Кавминводы, чтобы завершить «гастрольную» поездку.

Маяковский почти всю ночь просидел рядом с Наташей на верхней палубе, заботливо укутывая ее одеялом и рассказывая забавные истории. И когда ему все же удалось самому задремать под утро в своей каюте, обреченно вглядываясь в «черную дыру» иллюминатора, перед ним в полусне возник четкий, до боли знакомый образ женщины с младенцем на руках. Он увидел Элли Джонс - Елизавету Петровну Зиберт, встревоженную, обаятельную и полную решимости. Она что-то тихо говорила ему и прижимала к груди годовалую малышку - его дочь, которую он еще не видел и о существовании которой, кроме него, не должна была знать ни одна душа в России. В это мгновение пароход качнуло так, что он чуть было не слетел на пол каюты, а кто-то крикнул:

- Мы тонем?!

«Ну нет, дудки, это вам не «Титаник»! И плавать я не умею, а Лавут уже обклеил объявлениями все заборы. Опаздывать нельзя», - мрачной шуткой сам себя подбодрил Маяковский.

На сей раз корабль его судьбы проскочил между рифами роковых обстоятельств. Какой ценой? Ни он сам, да и никто из пассажиров теплохода не мог этого знать. Благополучно сойдя на берег в Новороссийске, он сел

Владимир Грибачёв. В старом парке

на поезд и до самых Минеральных Вод не проронил ни слова, уткнувшись в купленную на вокзале станции Тихорецкой книжку «Записки адъютанта Май-Маевского».

В кисловодский «Гранд-Отель» вся компания (он сам, Наташа Брюханенко и Александр Николаевич Тихонов, прозаик и критик, печатавшийся под псевдонимом Николай Серебров) заявилась поздней ночью. Павел Ильич Лавут, администратор и импресарио Маяковского, прибывший сюда на неделю раньше, удивленно высунул в коридор заспанное, помятое лицо из дверей двухкомнатного люкса, который предназначался Маяковскому, но странным образом оказался занят самим Лавутом и чуть ли не целой труппой знакомых заезжих артистов. Извиняясь и все время икая после обильного ужина, Лавут объяснил, что ждал Маяковского только завтра, а товарищам артистам совершенно негде было переночевать, потому как они опоздали на поезд, а следующий экспресс ожидался только через два дня. После этих словоизлияний и извинений Лавут пообещал немедленно освободить номер.

- Ну что вы, что вы! Не надо никого беспокоить, - великодушно отозвался Маяковский, от усталости валившийся с ног, - вы же всех перебудите здесь! Давайте ключи от других номеров.

Лавут расплылся в улыбке и протянул каждому по ключу. От его внимательного взора не ускользнул гнев, вспыхнувший в глазах Наташи. Два ме-

сяца назад именно он, этот «тихий еврей», убедил скучавшего на крымском берегу Маяковского вызвать ее срочной телеграммой. Никто из знакомых не сомневался, что они поженятся - Владимир Владимирович и Наташа, сотрудница государственного литературного издательства, высокая и красивая, как Юнона, знающая себе цену и по уши влюбленная. И хотя Лиля Брик, увлеченная тогда известным кинорежиссером, писала Маяковскому, чтобы он не женился на Наташе, их курортный роман развивался по вполне предсказуемому сценарию. А после того памятного шторма их отношения, выстроенные на горячем ялтинском песке, стали стремительно и неотвратимо рассыпаться. Словно сама судьба разделила их «черноморско-атлантической» бездной.

6 сентября они сразу же направились в Пятигорск, где в Лермонтовской галерее состоялось первое на Кавминводах выступление Маяковского. А вечером того же дня он слег от гриппа и почти неделю провалялся в номере кисловодского «Гранд-Отеля» с высоченной температурой, насморком и кашлем. Все намеченные творческие встречи пришлось отменить. Наташа злилась и нервничала. Маяковский, измотанный бесконечными поездками и недавно завершивший поэму, посвященную десятилетию Октябрьской революции, находясь на пределе физических и творческих сил, отчаянно боролся с гриппом и посылал короткие, тревожные телеграммы Лиле Брик. За все это время он ни разу не остался тет-а-тет с Наташей, словно одержимый мыслью о том, что им скоро придется расстаться.

В воскресенье 11 сентября, почувствовав себя вполне удовлетворительно, Маяковский в сопровождении Наташи рискнул без разрешения врача отправиться в Ессентуки. Однако сразу после выступления ощутил сильную слабость, жар и головную боль. Он не помнил, как они добрались до «Гранд-Отеля» (видимо, Наташа разыскала машину), и всю ночь страдал от лихорадки. Когда началась гроза, он во сне вполне реально испытывал сильное головокружение, как от морской качки тогда, на борту теплохода. А потом снова увидел лицо Элли Джонс, прижимавшей к груди малютку Элен.

Он вздрогнул от раската грома, перешедшего в стук.

Дверь распахнулась.

В номер быстрым шагом вошла Наташа, стройная, с красивыми длинными ногами, в белом льняном «матросском» костюмчике. Ее пышные, золотисто-русые волосы были по обыкновению подхвачены алой косынкой, а из-под густых темных бровей сверкали огромные серые глаза, обрамленные длинными ресницами. Ее сходство с римской богиней, пусть даже и с комсомольским билетом, показалось Маяковскому столь неоспоримым, что он смущенно подтянул одеяло до самого подбородка и посмотрел на нее снизу вверх изможденным, страдальческим взглядом.

Наташа положила пачку свежих газет на журнальный столик возле дивана, на котором лежал Маяковский, затем присела рядом с ним, на одеяло, и взяла его за руку. Рука была горячая, а на лбу выступила испарина.

- Я вызову врача и скажу Лавуту, чтобы он отменил завтрашнюю встречу. И пусть закажет завтрак, обед и ужин в номер.

- А вы куда? - свистящим шепотом едва смог вымолвить Маяковский, потому что его голосовые связки устроили забастовку.

- Я? - Наташа пожала плечами и слегка нахмурилась, словно сам вопрос компрометировал ее. - Сначала в Нарзанную галерею, а потом хотела бы прогуляться к мостику «Дамский каприз» и обратно. Как раз перед завтраком. Я думала, вы сможете составить мне компанию.

- Мне сейчас не до капризов, тем более - дамских, - просипел Маяковский и крепко сжал ее руку.

- Так, может, посидеть с вами?

- Нет-нет, идите…

Наташа кивнула и вышла.

«Зачем же выступление отменять, даст бог, я завтра встану на ноги», - промелькнуло в голове. Маяковский, почувствовав прилив сил от рукопожатия Юноны, поднялся с дивана и выглянул в коридор...

В конце коридора Лавут беседовал с администратором гостиницы. Рядом стояла Наташа и шепталась с молодым человеком в светло-сером костюме. Потом она отозвала Лавута в сторону, что-то сказала (тот сокрушенно покачал головой) и в сопровождении поклонника стала, не спеша, спускаться по лестнице.

Маяковский быстро закрыл дверь и дважды повернул ключ в замке. В висках застучало, а в глазах засверкало, словно серп и молот с пролетарской эмблемы Страны Советов принялись что есть силы высекать друг из друга искры:

- Ах, Наташа! Что же вы делаете со мной? Почему?

Превозмогая приступ головной боли и ревности, он кое-как добрался до дивана и потянулся за папиросами, лежавшими на журнальном столике рядом с газетами. По совету доктора Абазова он не курил несколько дней - из-за гриппа. «А может быть, это вовсе не грипп, - пугающая мысль промелькнула в сознании, - тогда что же? Малярия? Туберкулез горла? Рак пищевода?» В моменты физического нездоровья он становился особенно подозрительным, угрюмым и раздражительным.

Он отдернул руку от папирос и взялся за газеты. Пресса во всех подробностях вещала миру о разрушительном крымском землетрясении, произошедшем в ночь с 11 на 12 сентября. Ялта, как и все побережье, теперь лежала в руинах. Не обошлось без жертв…

«Значит, тот страшный шторм был только предвестником катастрофы, и всем нам действительно грозила смертельная опасность», - Маяковский откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Он представил, что те райские места - дворцы, набережные, парки, гостиницы, где они с Наташей провели несколько упоительных недель, превратились в груду развалин. И они уже никогда не будут там вместе. Конечно, люди когда-нибудь воссоздадут заново все, что так безжалостно уничтожила стихия. Но это - уже в «следующей жизни» другого Крыма, в памяти которого не останется места для него и Наташи…

Он вдруг отчетливо вспомнил, как шел по пустому перрону в семь утра с букетом цветов, чтобы с московского поезда встретить Наташу, которая по первому его зову сломя голову помчалась в Крым. В день ее именин он выкупил все розы из киоска, чтобы положить их к восхитительным ногам своей спутницы. Он тогда провозгласил: «Один букет - это мелочь. Мне хочется, чтоб вы вспоминали, как вам подарили не один букет, а один киоск роз и весь одеколон города Ялты!» В тот день им было особенно хорошо вдвоем, и он немедленно телеграфировал Лиле Брик, что октябрьская поэма, печатный вариант рукописи которой он уже отправил в Москву, будет называться «Хорошо!». Он потащил Наташу на кинопробы к знакомому оператору, правда, из этого ничего не вышло. Он устроил ей громкую сцену ревности и закатил истерику, когда какой-то молодой человек из отдыхающих стал оказывать ей знаки внимания. Наташа тогда очень испугалась - за Маяковского. Ведь не стоило так волноваться из-за чьих-то, брошенных искоса, восхищенных взглядов. Если бы она не обладала совершенной красотой и обаянием, то что бы она вообще делала рядом с таким человеком, как Владимир Маяковский? И она принимала его ухаживания с почти детским восторгом и почти королевским достоинством, ожидая предложения руки и сердца.

Но этот шторм и землетрясение…

Он, конечно же, принял к сведению предупреждение Лили не жениться, но дело было не в этом. Жениться он мог, желал этого всей душой и даже обязан был бы, но только на единственной женщине в мире - на Элли Джонс, матери его единственного ребенка. И по иронии судьбы, именно это было невозможно.

Будучи дочерью бывшего российского фабриканта и промышленника немецкого происхождения Петра Зиберта, женой английского подданного Джонса, эмигрировавшего в Америку, Елизавета Петровна познакомилась с Маяковским во время его поездки в Штаты в 1925 году и полюбила его как человека, а вовсе не как революционного поэта и гражданина советской России. Она пожелала иметь от него ребенка, ничего не требуя взамен и совершенно не разделяя его политических взглядов. А их дочь Элен, едва появившись на свет, уже самим фактом своего рождения соединила не соединимые для родителей части света, обойдясь без мировой революции.

Маяковский подошел к зеркалу в ванной комнате. На него смотрела осунувшаяся, небритая, с темными кругами под глазами и впалыми щеками физиономия. «Сразу видно, что человек на курорте отдохнул», - саркастически отметил он.

Ему предстоял трудный день - во-первых, справиться с гриппом, во-вторых, объясниться с Наташей. И больше никаких сцен ревности. Он отчетливо понял вдруг, что Наташа нарочно пытается пробудить в нем это «звериное» чувство и подвигнуть на более решительный шаг. Так, веро-

ятно, подсказывало ей женское сердце. В Ялте он устоял, и теперь непременно устоит. Все должно быть кончено раз и навсегда! Так распорядилась сама судьба.

До самого вечера он усердно принимал аспирин и микстуры, прописанные доктором Абазовым, здешним светилом медицины, полоскал горло нарзаном, не курил и даже почти не разговаривал - берег голосовые связки. Аккуратно измерял температуру и соблюдал постельный режим. Но Лавуту все же запретил отменять завтрашнее выступление. 13 сентября в пять вечера он обязательно проведет свою заключительную творческую встречу и со спокойной душой сядет со всей сопровождающей его компанией на ночной экспресс, а 15-го будет в Москве. Он так решил!

Вечером 12 сентября Наташа навестила больного Маяковского. Она присела напротив, в кресло, не рискуя начинать разговор, и приготовилась к худшему, ожидая выслушать истерический каскад нравоучений и выговоров, совсем как в Ялте. Но Маяковский, посмотрев в ее сторону и опустив глаза, медленно произнес:

- Наташа, у вас потрясающе красивые, длинные ноги.

- И это все, что вы мне можете сказать?

- Вы - очень хорошая девушка, и вы мне очень нужны.

Она взорвалась:

- Так почему же вы не говорите, что любите меня?

Ах, бедная Наташа. Теперь он уже никогда этого не скажет. Маяковский нервно кусал губы, но все же старался не смотреть на нее. Повисла пауза, и надо было как-то выбираться из тупика. Он собрался с духом и выдавил из себя, по-прежнему не глядя на Наташу:

- Я люблю Лилю.

В который раз в жизни Маяковский прикрылся именем Лили Брик, словно мифический Персей - щитом мудрой Афины от убийственного взгляда Горгоны.

В вопросах чести и порядочности он был весьма щепетилен. Для него это означало никогда и ни за что «не крутить любовь» одновременно с двумя женщинами. Но всегда и везде он позволял себе исступленно любить жизнь во всех ее проявлениях. Он мог любить одновременно искусство, революцию, свою страну, работу, воздух, солнце… и, конечно, женщину - разумеется, одну из них.

- А как вы относитесь ко мне? - прошептала Наташа, лицо ее окаменело. Она поняла, что ревность не усилила любовь, а испепелила ее - дотла.

- Ко всем остальным я могу относиться только хорошо или очень хорошо, но любить я уже могу только на втором месте. Хотите - буду вас любить на втором месте?

Такого удара она не ожидала.

На этом все закончилось. И только осколки строчек кольнули в сердце, дав начало стихотворению, так и оставшемуся неоконченным:

Море уходит вспять,
Море уходит спать.
Как говорят, инцидент исперчен,
Любовная лодка разбилась о быт…
С тобой мы в расчете, и не к чему перечень
Взаимных болей, бед и обид.

2

На следующий день Наташа избегала встреч с Маяковским, дулась, но разве можно скрыть заплаканные, покрасневшие глаза?

Маяковский, напротив, почувствовал себя гораздо лучше, и даже настолько, что смог позавтракать вместе со всеми в ресторане гостиницы. Он, как ни в чем не бывало, но все же не глядя ей в глаза, протянул меню Наташе для заказа. Она гневно произнесла, возвращая ему меню, которое даже не раскрыла:

- И это после того, что вы мне вчера вечером наговорили?

- А что же я вам такого наговорил? У меня, наверное, был жар или еще того хуже - бред. Ничего не помню. Так что, простите меня.

Маяковский снисходительно улыбнулся, показывая, что именно он - хозяин положения и он решает, в какую сторону дует ветер их отношений.

Завтрак прошел в натянутой обстановке, но без инцидентов. Маяковский уже доедал плов, запивая не традиционным чаем, а компотом, который очень любил, как к столику подбежал лысоватый, полный коротышка с газетой «Труд» за 11 сентября в руках. В газете было напечатано стихотворение Маяковского «Гевлок Вильсон», написанное еще до отъезда из Москвы. Заикаясь и краснея от волнения, он скороговоркой выпалил заученную фразу:

- Товарищ Маяковский, не откажите в любезности запечатлеть автограф.

Маяковский великодушным, широким жестом отодвинул тарелку, разложил на скатерти газету, края которой уже были залапаны жирными пальцами, и оставил размашистый автограф. Затем быстро взглянув почитателю своего таланта в глаза, спросил:

- А как вы, товарищ, относитесь к разрыву наших дипломатических отношений с Англией? Вы стихи-то в газете прочитали?

Лысый толстяк попятился и покраснел, как рак, не переставая вращать зрачками и тем самым выдавая полное неведение по заданному Маяковским вопросу:

- Виноват, я как раз вчера на экскурсию в Замок коварства и любви отлучался, а сегодня на процедурах целый день. Но я обязательно прочитаю, сейчас же.

- На выступление мое приходите, там и определимся с нашей точкой зрения, - деловито кивнул Маяковский, только теперь позволяя собеседнику

удалиться на недосягаемое от политико-поэтических дебрей расстояние.

Толстяка как ветром сдуло. Маяковский проводил его ироничным взглядом и прокомментировал:

- Тоже мне, собиратель автографов. Небось, когда на экскурсии ему чебуреки в эту газетку завернули, он и смекнул, что кавказскую пищу вполне можно с духовной совместить, да еще и автограф заполучить.

А Тихонов, едва сдерживая смех, спросил:

- Думаете, он придет на ваше выступление?

- Конечно, нет. Я бы на его месте не пошел. Завхоз, на худой конец - счетовод или фининспектор. У него и так от дебета с кредитом мозги сводит, а для понимания текущего момента нужна пролетарская политическая сознательность и полная ясность ума, не затуманенного экскурсиями и процедурами, тем более - коварством и любовью.

Маяковский закурил, поднялся из-за стола, кивнул своим спутникам и, на немой вопрос Лавута и Наташи, пояснил:

- Пойду прогуляюсь хотя бы по бульвару, обдумаю выступление.

- Но там ведь дождь моросит, - прошептала Наташа, подняв на него влажные, полные укора и надежды глаза.

- А я буду в костюме и в шляпе, - ответил в шутливом тоне Маяковский, избегая встречаться с ней взглядом, - но на мостик «Дамский каприз» не пойду. По понятным причинам.

Он решительно вышел из ресторана и до самого обеда не возвращался в номер.

Воздух Кисловодска был сырой, прохладный, совсем не похожий на столичный, и уж тем более - на ялтинский. В Нижнем парке на пустой открытой концертной площадке под немногочисленными крашеными скамейками блестели глянцевые лужицы. Сцена оказалась совсем небольшая, полукруглая и походила на приоткрытую раковину гигантского морского моллюска, опрокинутого приливной волной, да так и застывшего в неудобной позе на песчаной отмели. По бульвару мимо Нарзанной галереи неспешно прогуливались курортники - кто в костюмах, а кто уже в пальто или в плащах, причем у многих мужчин из-под верхней одежды белели санаторские подштанники. На самых видных местах - у входа в Нарзанную галерею, возле концертной площадки, у Нарзанных ванн и даже у Грота Демонов - были расклеены объявления. Крупным шрифтом на них выделялась фамилия Маяковского, а более мелким - где и когда состоится выступление под броским и лаконичным названием «Всем - всё!», и уж совсем почти нечитаемых размеров текст излагал программу выступления и тезисы.

Но, похоже, отдыхающие не обращали никакого внимания на эту информацию, что удивило Маяковского. Да, Кисловодск - это не рабочий город-гигант, переполненный передовой заводской молодежью, и не столичный университет, изнывающий от избытка студенческих проб пера. Видимо,

под конец бархатного сезона здесь собрались все «сливки» советского общества - министерские чиновники, руководители предприятий, работники торговли и прочие «патриоты» нэпмановской политики, по роду своих занятий бесконечно далекие от понимания по-современному окрашенного коммунистического лозунга «От каждого - по способности, каждому - по потребности», из которого теперь за ненадобностью испарились условности и осталось только жизнеутверждающее кредо «Всем - всё!».

Даже Господь Бог не отважился бы на такие щедрые обещания, а Маяковский целый год колесил по России и Европе, успешно выступая под этим девизом перед разномастной публикой. И только теперь, на Кавминводах, он вдруг понял всю нелепость названия программы. Точнее было бы сказать так: «Всем - всё, но каждому - свое и в строго отведенный для этого период времени». Как будто в чьей-то безраздельной власти было даровать человеку все, чего бы он ни пожелал, но потом через время все отобрать.

Справедливость этой объективной «марксистской» закономерности он уже успел ощутить на себе в полной мере. Один сезон в Ялте, когда он имел все - любовь к Наташе, фантастическую работоспособность, позволившую ему завершить работу над поэмой «Хорошо!» в сочетании с удивительно теплой атмосферой отдыха и дружеских встреч. Ну и где теперь все это? Вместо солнечной Ялты с ее ласковыми золотыми пляжами - прохладный, строгий Кисловодск с его отрезвляющим воздухом, проясняющим разум и отношения, с его исцеляющим чувством одиночества и внутренней собранности перед грядущими испытаниями…

Казалось, все, кого не обошло вниманием его сатирическое перо, находятся здесь и сейчас на отдыхе, и если придут послушать его, то разве что от скуки, а не из идейной солидарности. Ну что ж, все эти обстоятельства только добавят остроты и пикантности его выступлению. Прочь сентиментальные и упаднические настроения!

Около пяти вечера на бульваре было тихо. С деревьев, которыми столетие назад были обсажены берега Ольховки, капали остатки дождевой влаги. Водяной поток шумно и весело мчался по камням, образуя над бурлящей поверхностью туманную полупрозрачную вуаль из мельчайших брызг. На концертной площадке ощущалось оживление, однако публики было мало. Мужчины сидели кучками возле женщин, перешептывались и смеялись. Чтобы присесть на скамейки, все еще влажные от дождя, надо было подстелить газеты.

Ровно в пять из комнатки, располагавшейся за концертной раковиной, на сцену вышел Маяковский. Мрачным, беглым взглядом окинув публику, он снял белый пиджак и, заложив пальцы за жилет, зашагал вдоль тусклой рампы и начал чугунным, непривычно глухим голосом читать стихи.

- Громче! - крикнули ему из рядов.

- А вы потише! - ответил он с эстрады. - Кому не слышно, можете пересесть ближе.

Он кивнул на пустой первый ряд, где сидели только три человека - Лавут, Тихонов и Наташа. Они сосредоточенно ловили каждое брошенное в адрес Маяковского слово, как будто могли защитить его от хамства и провокационных выпадов.

- А мне и здесь хорошо! - крикнул пьяный курортник, который не мог оторваться от забора. - За тебя деньги плочены… Три рубли…

- Вам бы, гражданин, лучше в пивную! Там дешевле! - ответил Маяковский под смех и аплодисменты.

Однако почему по три, ведь в Ялте билеты были по два рубля?

Он строго взглянул на Лавута.

Молодежь захлопала, и Маяковский оживился. Встреча потекла привычным руслом. Почитав стихи, он предложил ответить на вопросы и записки. Публика сразу откликнулась. Но вопросы, по сути своей, были банальные, а то и вовсе дурацкие: «Почему так дороги билеты на ваш вечер?», «Как вы относитесь к Пушкину?», «Почему женщины любят больше Пушкина, чем вас?»

- Не может быть! Ведь Пушкин мертвый, а я живой, - спокойно парировал Маяковский.

После измотавшего его гриппа он выглядел осунувшимся и худым. Штаны и жилет буквально болтались на нем.

- Это неприлично - подтягивать штаны перед публикой! - заметил кто-то.

- А разве приличнее, чтобы они у меня упали? - вопросом на вопрос ответил Маяковский.

По рядам снова прокатился смешок.

- Товарищ Маяковский, за что вы сидели в тюрьме?

- За принадлежность к партии, но это было давно.

- А сейчас вы партийный?

- Нет, я беспартийный.

- Напрасно, - послышался ехидный упрек с места.

- Считаю, что не напрасно. Я приобрел массу привычек, которые трудно сочетать с организованной партийной работой. Мне ведь могут дать партийное поручение, сказать: «Ну, Маяковский, поезжай туда или сюда». А я уже приехал, например к вам, и совсем по другому поводу.

В словесных перестрелках Маяковскому не было равных, но каждый такой «бой» давался ему не без труда и требовал огромной концентрации сил и внимания.

Одну из записок он не стал читать и спрятал в жилетный карман. Но все же бросил в зал реплику:

- Вот пусть вам на ваш вопрос вместо меня ГПУ и ответит.

- Почему вы часто ездите за границу? Что вы там делаете?

- Я там делаю то же, что и здесь. А езжу я потому, что:

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой!

Публика неоднозначно отреагировала на эту лермонтовскую цитату. Напряжение нарастало.

Темы для разговора всплывали сами собой: против «есенинщины», против мещанства, против пошлятины, черемух и лун.

За настоящие стихи, за новый быт.

Маяковский нервно ходил по сцене и старался четко выговаривать каждое слово:

- Понимаете, очень трудно вести работу, которую хочу вести я. Работу сближения аудитории с большой поэзией. С поэзией, сделанной по-настоящему, без халтуры и сознательного принижения ее значения. Здесь две трудности. Первая - писать так, чтобы тебя правильно понимали, а не смеялись над строчками. Совсем недавно в газете «Красный Крым» прочитал стихотворение:

В стране советской полуденной
Среди степей и ковылей
Семен Михайлович Буденный
Скакал на сером кобыле.

Я очень уважаю Семена Михайловича и кобылу его, пусть скачет на ней цел и невредим. Я даже не удивляюсь, что кобыла приведена вдруг в мужском роде - после опытов профессора Воронова такая операция вполне мыслима.

Послышался смех в рядах.

И Маяковский продолжал:

- Но если по кобыле не по тому месту ударение сделать, то кобыла занесет, пожалуй, туда, откуда и Семен Михайлович не выберется. А люди везде сидят и смеются над этим стихотворением, так, как и вы. Я еще часто поэта Жарова ругаю. Хотя бы за эту его строчку:

От горячей домны революции
отошел великий кочегар.

Какие кочегары бывают при домнах? И если вдруг от домны все же отошел кочегар, то что он там вообще делал? А ведь стихотворение-то называется «На смерть Ленина»!.. Значит, товарищи, зачастую писатели пишут так, что массе или непонятно бывает, или, если понятно, то глупость получается. Писать о советской эмблеме - серпе и молоте - тоже обязательно надо, но не надо делать это так, как поэт Безыменский. Писать «серп и молоток» - это значит неуважительно отозваться о нашем гербе. А если

ему придется рифмовать слово «пушка»? Он, наверно, не постесняется написать:

Там и Кремль, и царь-пушка,
Там и молот, и серпушка.

А есть поэты, - продолжал Маяковский, - которые сочиняют так:

Я - пролетарская пушка,
Стреляю туда и сюда…

Раздался хохот.

- От такой стихотворной формы пролетарская пушка начинает стрелять и в наших, и в ваших. Но вторая трудность - это то, что аудитория наша зачастую бывает очень средней грамотности. С этим тоже считаться приходится. А теперь, с вашего позволения, я еще почитаю стихи…

И он читал все тем же глухим, хрипловатым голосом, но его больше не перебивали, а слушали жадно, внимательно. И, наконец, он произнес последнюю фразу:

- Товарищи, может быть, на этом закончим?

Публика взорвалась аплодисментами, слушатели встали со скамеек и подались к сцене, выкрикивая:

- Мы вас любим, Маяковский... Приезжайте еще!

Бойкая девушка в красной косынке взметнула кудрями и, поднявшись на сцену, преподнесла ему букет цветов. Это были крупные гладиолусы, несгибаемо крепкие, огненно-алые, как знамена революции.

Маяковский раскланялся и вернулся в комнату за концертной раковиной. Чтобы надеть пиджак, нужно было поставить или хотя бы положить куда-нибудь букет.

«Если бы это были розы, я подарил бы их Наташе», - предательски сентиментальная мысль промелькнула в голове.

Когда в день ее именин все вазы гостиницы не смогли вместить целого киоска роз, букеты пришлось тогда ставить в ведра с водой, превратив номер в цветник.

А годом раньше, отплывая из Америки, он на прощание усыпал постель и спальню Элли Джонс незабудками.

Дарить возлюбленным цветы - это искусство, и Маяковский был непревзойденным мастером по части таких сюрпризов.

Но теперь какое это имеет значение?

Вдруг с черного входа вошла пожилая уборщица с ведром чистой воды и со шваброй в руках.

- Позвольте вручить вам, мамаша, эти цветы как единственному здесь истинному представителю пролетариата, - как можно торжественнее произнес Маяковский, и от нахлынувших воспоминаний голос его дрогнул.

Он протянул уборщице гладиолусы, отчего та чуть не выронила свой инвентарь. Видимо, ей никто и никогда не дарил цветов, а тут «сам» Владимир Маяковский, огромного роста, весь в белом и с дымящейся папиросой в уголке рта, расплывшегося в улыбке. Она прослезилась и, прежде чем взять цветы, вытерла руки о халат и приняла букет, как новорожденного младенца.

Через четверть часа Маяковский со своими спутниками сидел в шашлычной с грустным, измученным видом. Голову он подпирал кулаком, а в углу рта висела папироса.

- За каким чертом они ходят меня слушать? - обиженно причитал он. - Из двадцати записок - половина ругательных... Что я им - забор, что ли, чтобы марать на мне матерщину? И откуда их столько сюда понаехало? Был буржуй, а теперь прет мещанин с канарейкой.

Карманы его белого пиджака были набиты полученными записками, в большинстве своем - от недоброжелателей, и это всегда огорчало, даже ранило его. Он выглядел очень усталым и угрюмым. Спутники поэта молчали. И жевали шашлык, который от прохладного сентябрьского воздуха мгновенно застывал и делался жестким.

Маяковский разлил по стаканам бутылку вина, а свой складной стаканчик, как обычно, извлек из внутреннего кармана жилета, наполнил его наполовину и продолжал мрачно пережевывать шашлык, не вынимая изо рта дымящуюся папиросу. Из спиртных напитков он не любил ни водку, ни коньяк, а предпочитал хорошие вина. И никогда не пьянел.

- Вы что не пьете? - мрачно произнес он. - Винишко действительно дрянь! Пью из почтения к предкам: «Багдади!»

3

Экспресс на Москву отбывал из Кисловодска поздним вечером. Заняв вчетвером одно купе в спальном вагоне, все облегченно вздохнули только тогда, когда поезд плавно тронулся и за окнами замелькали огоньки железнодорожного вокзала. Маяковский вышел в коридор, рассеянно глядя на удаляющиеся очертания курортного города.

Что дала ему эта поездка? Каким опытом наградила?

Он вдруг почувствовал себя перелетной птицей, одиноким журавлем, который вместо юга летит на север. Одиноким не оттого, что он был не любим, не признан, что у него не было друга. Его печатали, читали, слушали так, что залы взрывались овациями. Не счесть было людей, преданных ему, любивших его. Но все это - капля в море для человека с «ненасытной» душой, которому нужно было, чтобы его читали те, кто не читает, чтобы пришел тот, кто не пришел, чтобы любила та, которая, казалось ему, не любит.

Из купе в конце вагона в коридор вышел еще один пассажир и, увидев Маяковского, дружелюбно кивнул и направился к нему. Это был

Николай Ильич Подвойский, живой герой его только что завершенной октябрьской поэмы, непосредственный участник штурма Зимнего, один из руководителей восстания, в то время - член Военно-революционного комитета Петроградского совета.

А в Смольном, в думах о битве и войске,
Ильич гримированный мечет шажки,
да перед картой Антонов с Подвойским
втыкают в места атак флажки…

Они обменялись крепким рукопожатием, и поэт тут же, не скрывая радости и гордости, затащил Подвойского в купе. Пожалуй, ради такой встречи стоило неделю промучиться в Кисловодске. А рукописи не только в огне не горят, но и в море не тонут! Он достал из чемодана рукописный вариант поэмы «Хорошо!», чтобы прочитать отрывки из нее.

Подвойскому поэма понравилась, к тому же в купе он познакомился с Лавутом, так же увековеченным Маяковским, но в качестве свидетеля бегства из Крыма Белой армии:

Мне рассказывал тихий еврей
Павел Ильич Лавут:
«Только что вышел я из дверей,
Вижу - они плывут…»
Бегут по Севастополю
к дымящим пароходам.

Затем они все вместе обсуждали стихи, делились воспоминаниями и мнениями о том, что было тогда, десять лет назад, и что происходит сейчас. Николай Ильич делал некоторые уточнения, и поэт вносил изменения в рукописный вариант. Правда, первое издание поэмы было уже в наборе, и поправки могли быть учтены только в последующих изданиях.

После бурного дня 13 сентября, около полуночи, Маяковский пригласил Подвойского отужинать, и они вдвоем направились в вагон-ресторан, где их встретил хмурый официант с подбитым глазом. Однако это не помешало ему другим зорким оком смерить единственных на данный момент посетителей. Он нехотя указал на ближайший столик и подал меню.

От внимательного взгляда Маяковского не ускользнуло треснутое стекло в окне и разбитый светильник над соседним столиком.

- У вас тут что-то стряслось? - поинтересовался он сочувственным тоном, правда, не лишенным иронии.

Официант с опаской приблизился к ним и вполголоса спросил:

- А вы, случайно, не из циковских будете?

- А что, похожи? - улыбнулся Маяковский, подмигивая Подвойскому.

- У нас тут две недели назад, на моей же смене, когда из Москвы к Харькову подъезжали, один товарищ столик заказал, так ведь желающих поужинать оказалось больше, чем свободных мест. А у этого - столик пустой.

Еле уговорили, чтобы он разрешил хотя бы одному посетителю подсесть. Так вот, принял этот товарищ грамм сто коньяку, и - понеслась…

- Что драка произошла, это понятно, - спокойно пережевывая ветчину, произнес Подвойский, - а из-за чего, позвольте спросить?

- Вообще-то нам распространяться не велено про этот случай, - оглядываясь по сторонам, прошептал официант. Но вагон-ресторан был совершенно пуст. Тогда он со вздохом извлек из жилета маленькую газетную вырезку и протянул Маяковскому. - Вот, даже «Правда» об этом написала. А про подробности мы никому - ни-ни.

- Ну, еще бы. Не плюй в колодец, вылетит - не поймаешь, - процитировал Маяковский излюбленный собственный вариант пословицы, затем взял протянутую ему газетную заметку и прочитал вслух: «Член ЦИКа тов. Рухулла Али Оглы Ах…ов ударил по лицу пассажира в вагоне-ресторане поезда… за то, что пассажир отказался закрыть занавеску у окна. При составлении дознания тов. Ах…ов выложил свой циковский билет».

- Н-да, вероятно, одной оплеухой циковский товарищ не ограничился.

- Все тогда только началось, - зашептал официант, склонившись над самым столиком, - мы попытались его успокоить, но товарищ горячий оказался, в ход пошла посуда, бутылки, вилки с ножами и поднос… И мне, как видите, досталось. А тот пассажир, которому циковец по морде съездил, все время под столиком пролежал и ничего толком не видел. Следователь тогда в протоколе написал, что так оно и до драки было - и стекло разбитое, и светильник, и официанты у нас всегда с фингалами ездят. И когда вагон качнуло, я, как будто бы случайно, поднос с посудой на этого товарища из ЦИКа вывернул. А уж как заметка в газете появилась, так нам сказали, что по возвращении в Москву всю нашу смену расформируют…

- Мы с Подвойским - люди мирные, - успокоил официанта Маяковский, - но о таком безобразии одной газетной заметки маловато будет. Пожалуй, я стихи об этом напишу. Сатирические.

- Что вы, - замахал руками официант, - после стихов мы точно все по миру пойдем. Кому-то можно все - а кому-то ничего не бывает в жизни, кроме неприятностей.

- Никаких неприятностей, слово Маяковского! Всем - всё, но пусть каждому - по его заслугам, - обнадежил он, вставая из-за столика, движимый благородным порывом во что бы то ни стало восстановить справедливость, используя для этого поэтическое перо - свое единственное, испытанное, непревзойденное оружие, которым он владел в совершенстве.

Он вернется в Москву и обязательно напишет правдивые, острые стихи о том, как «выдающийся советский помпадур ехал отдыхать на Воды».

БЫТЬ МОЖЕТ, ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ МОЯ…

Пожухлые травы поникли к земле,
Задумчива поздняя осень.
По кромке небес затухающий след
Заката сквозь серую просинь.

…И вот уже длится тягучая ночь
В безвременье зыбком, унылом.
А слабой душе как тоску превозмочь
О том, что прошло, но что было?!

Но буду лелеять тоску о былом,
О времени светлом и давнем,
И слушать, как ветер шумит за окном,
И стонут так жалобно ставни…

Быть может, последняя осень моя
Купается в сладостной неге?!
…Звезда покатилась, и свет бытия
Дрожит, растворяется в небе…

***

Заблудилась случайно пичуга
У меня в медоносном саду.
Бог с тобой, оставайся, подруга,
Пой, а я подыграю в дуду.

Щебетала она без умолку,
Затихали при ней соловьи,
Вдруг махнула за Дон иль за Волгу
Петь беспечные песни свои.

Улетай, улетай, не заплачу,
Коль исчез в твоей жизни испуг,
А в саду медоносном на даче
У меня столько певчих подруг!

Но душа у меня заболела,
Без вина стал я дерзок и пьян…
За три моря ль она улетела?
Или вовсе за тот океан?

Денис Соколенко. Величие камней

СТЕПЬ ВЕКОВЕЧНАЯ

Л.В. Лазареву

1
О, родина, полынный край степной!
Там, в небе, коршун плавал надо мной,
Степной орёл в лазурной вышине
Парил подолгу… Я лежал в копне
У кромки поля, думал: облака,
Как тайна, растворяются в веках…
Я представлял: мой пращур на арбе
Ковыльной степью едет: «Цоб-цобе!..»
Окрест - простор!.. Уже недалеко
До Копаней… Напоит там быков,
Травы заложит на ночь… У костра
Жена хлопочет, рядом детвора
Снуёт, резвится… Подоспел шулюн…
И тронул ветр лады ковыльных струн…

2
Взгляни наверх - зажглись лампады звёзд,
И Млечный Путь раскинулся, как мост.
Куда ведёт? Не в тень ли райских снов?
Всё - тайна до скончания веков…
А степь звенит мелодией сверчков,
Искрится огоньками светлячков…
Очнётся филин, ухнет на дубу,
Как будто в иерихонскую трубу…
А в отблесках неяркого костра
Табун пасётся мирно до утра.
Лохматый пес - угрюмый волкодав -
Вдруг вскинется, из-под арбы привстав,
Знать рыщет волк… или лихой абрек
Готов на табор совершить набег?

3
Родная степь!.. По балкам родники
Бурлят в притоках зреющей реки -
К Егорлыку несут прохладу вод,
Чтоб к Манычу он стал широк… А вот,
У копанок, нашли себе приют
Пичуги беззаботные; поют,
Что мил и им степной казачий край,
Где ветер катит осенью курай,
Скрипят арбы проселками, их скрип
- Почудится?!- похож на женский всхлип,
На конский топот ото всех сторон,
Казачьих сабель свист и перезвон
И вдруг на долгий и глубинный стон
Через столетья из былых времён…

4
Что мне Атрак*?! Вдохни седой ямшан**,
И ты забудешь прелесть дальних стран.
Потри в руках пахучий терпкий стебель
И мчись скорей в распахнутую степь -
Тебя зовут кресты родных могил,
Простор безбрежный, что любим и мил,
Туман низинных балок, пыль дорог,
В глухой степи казачий хуторок.

* Атрак - кипчакский царевич, в свое удовольствие жил на чужбине, но, вдохнув горьковатый запах травы ямшан, затосковал по родной степи и вернулся домой.
** Ямшан - полынь.

Там, словно тайна, в небе облака,
Плывут над степью сквозь века, века…
Надрывной песней, как твоя судьба,
Скрипит и плачет старая арба…

БЕСКОНЕЧНЫЕ ПЫЛЬНЫЕ ДАЛИ

Бесконечные пыльные дали!..
В серой дымке холмы и яры…
И сжимается сердце в печали,
И душа моя плачет навзрыд.

Боже мой, это родина, что ли
Перед взором моим предстаёт:
Обожжённое хлебное поле
Жгучим солнцем в неласковый год?!

Может, мне бы умчаться по свету
К берегам заповедным каким,
А степному полынному ветру
Станет другом иной пилигрим.

…Как тоскливо порой и постыло
Видеть скорбный, унылый пейзаж,
Но зовёшь это родиной милой,
И её никогда не предашь!

ПОЭТ

Ты откуда явился, Поэт,
Из каких запорошенных лет?
Где тебя помотало по свету,
Словно лодку по буйной волне?
Парусило рубаху по ветру…
Ты судьбой был доволен вполне?

Засыпал ты на царственном ложе,
Просыпался в трущобах страны,
Лупцевали в подвалах по роже,
Кто не знали твоей вышины.
Но сиял твой Парнас высоко
Среди чистых, как снег, облаков…

Твоё сердце - открытая рана,
Кровоточит душа постоянно,
Но ты счастлив, что милостью Божьей
Тебе мука страданий дана,
Ты готов её выпить до дна,
Только б горя людей не умножить.

Вот стоишь на Земле ветровой,
Том стихов над твоей головой.
То наследство твоё для потомков,
Там твой мир из печалей и слёз,
Славы, чести и радостных грёз
Твоей Лиры неспешной, негромкой…

СКРИПАЧ

О чём печаль моя была,
Когда, стеная,
По скверу музыка плыла,
Как боль сквозная?

Там, отрешённый от всех,
В старьё одетый,
Играл скрипач…
Его успех -
Лишь звон монеты…

Но ты играй,
Играй, скрипач,
Средь равнодушья
Пусть твоей скрипки
Скорбный плач
Встревожит души.

Пусть всколыхнёт она любовь
Опять в Отчизне,
Чтоб победить любую боль
Во имя жизни…

…Чтоб не погас Отчизны свет
В Дороге Млечной,
Играй, Скрипач,
И пой, Поэт,
О том, что вечно!

ПАДАЛИЦА

(Отрывок из повести)

В начале лета на хуторе было много происшествий. Однажды в обеденную пору, когда стадо появилось на своём стойле возле пруда, бык Гулый напал на объездчика Шалая и здорово его изувечил.

Пострадавшего отправили в больницу, а быка сграбастали пастухи и, заковав в цепи, отправили на бойню. Хуторяне проклинали Гулого, но заодно винили и Шалая за то, что тот накануне недозволенным способом обошёлся с животным - на короткой привязи оставив быка, испорол его до крови бичом. Запомнил Гулый объездчика и выбрал момент, чтобы свершить над ним страшную месть.

Едва стали забывать тяжкую историю с Шалаем, как объявилась другая напасть: Гришка Ивантеев вернулся из армии раньше срока, тронутый умом - где-то на границе перликался вражеского лазутчика. Теперь он шастал по хутору с выструганным из карагача ружьём. А на днях бригадный кормач Митроха, гнавший со степи табун, обнаружил в молодой пшенице двухголового волка, на обеих головах которого торчали навострённые, какими и бывают у степного зверя, уши. Здорово оробел Митроха. А вскоре чудовищного волка увидел перед зарёй на Авилкиной балке бригадир дядька Иван Кулик. На хуторе поднялся переполох, всякий боялся с сумерками выйти за околицу.

Случались тем временем и другие происшествия. Перед самым Петровым днём перликался чёрной бодливой коровы мой однолеток и близкий мне товарищ Лёнька Журавкин, и его целую неделю водили на наговоры к бабке Вожжихе. Однако появление двухголового волка было для хуторян самым потрясающим событием. Хуторяне, особенно пожилые, связывали его появление с какими-то предстоящими горестями. По их убеждению, то была нехорошая примета. И что, наверное, в скором быть то ли неслыханной хворобе или голоду, а то и всемирной войне. В своих суждениях иные тут же ссылались на Священное писание, которого ни мы, мальчиш-

Олег Калайтанов
Лето. Уборка

ки, ни бригадный кормач Митроха, разумеющий в политике, и никто другой, кого бы мы ни расспрашивали, не видели и не читали.

Но предположениям о том, что быть в скором новому большому людскому мору, в хуторе далеко не все верили. И мы с Лёнькой относились к слухам с определённым предубеждением. Ведь недаром мы были пионерами, а пионеры обязаны были ни во что не верить. К тому же после проклятой лихорадки, которая здорово перетрепала хутор и которую, наконец, излечили способом уничтожения её переносчика - малярийного комара, болезням, считай, как говаривал дед Гаврила, «карантир» поставили. И голоду откуда взяться, ежели из года в год пошли несвозные урожаи. Если от избытка за границу начали вывозить хлеб. За один только день сколько проходит тяжеловесных составов по железной дороге, что в километре от хутора, гружённых отборным зерном, и всё - в дружественную нам теперь великую Германию. И войне откуда быть, если окружавшие нас страны поутихомирились. Те же польские паны и японские самураи. Те же белофинны. Вот даже неукротимая Германия - и та с нами пакт о ненападении заключила.

И всё же хуторяне чуяли недоброе. Всё могло произойти. И та же болезнь появиться, и тот же лютый голод. И война могла начаться. В газетах публиковались сообщения ТАСС о нарушениях нашей границы самолётами Германии. Участились случаи проникновения лазутчиков на советскую территорию. Тот же Гришка Ивантеев твердит своё: «Глядите, немец к нашему хутору подбирается!» И как верить тронутому человеку, но какая-то доля правды была в его словах. И потому все хуторяне жили в тревоге.

А до того времени не появлялся в степи двуглавый волк и не загорался на чистом небе в ночи большущий крест.

И грянул жданный и никем не жданный день. Началась война. Каждый теперь разумел, что эта война будет тяжкой и долгой, потому как таких горьких плачей и таких прощальных песен, от которых даже у самых малых ребятишек мутилось сознание, ещё не бывало. За одну неделю с небольшим хутор здорово поредел. А тут уборка хлебов накатывалась. И столько дела нашлось для ребят. Теперь с ранней зари в степь торопимся. Там у нас свой призывной пункт.

На восходе солнца начинается раздача нарядов. Поначалу бригадир посылал меня громадить сено на старой кобыле Мухокрутке. Кличка явно противоречила доброму норову лошади. Мухокрутка, которую я по утрам брал из табуна, покорно просовывала в хомут свою костлявую голову, так же послушно раскрывала челюсти с редкими обзеленёнными зубами, куда я торопливо и боязливо вкладывал тяжёлые железные удила. Однако в работе лошадь была не ходкой и припадала на все четыре ноги. И сколько её ни понукай, всё одна у ней была скорость. Завидев Мухокрутку, тащившую грабли небольшим прихрамывающим шажком, кормач Митроха приговаривал: «Рупь дам, толь полтину! Рупь дам, толь полтину!» Услышав причеты кормача, братва смеялась, а я страшно боялся за свою беспомощность. Пороть же лошадь, как это делали оставшиеся ещё каким своим малым числом мужики, я не мог - очень жалко было животное. К тому же казалось - и я этого остерегался, что моя Мухокрутка вот-вот сгинет в оглоблях. Я ждал новых обязанностей, только бы больше не мучить клячу. Тут подвернулось одно дело. На комбайн подыскивали рукавщика. Едва бригадир объявил на наряде о новой вакансии, как я выразил желание ею воспользоваться.

- Только инструктаж получи от комбайнера, - говорил дядька Иван, думая между тем, как мне показалось, совсем о другом. - Ты у нас в бригаде самый вострый - в седьмую группу перешёл!

- Мухокрутку кому сдать? - тараторил я, дёргая клячу за повода. Мне показалось, что бригадир, сказав о моём высоком образовании, тем самым вызвал интерес к должности рукавщика со стороны понаехавших к нам на хутор из далёкой Одессы беженцев - евреев, каждое утро толкавшихся на таборе. Среди них были подростки со знаниями не меньшими, нежели мои. Надо же тебе, дядька Иван, досадовал я про себя, говорить о моём шестиклассном образовании? Ведь они, горожане, небось и по восемь классов имеют. Уж чего-чего, а знаний, образования беженцам не занимать. В этом мы с моим другом Лёнькой убедились, слушая их рассказы.

- Дядька Иван! - зашумел я, озираясь на беженцев, которые с любопытством разглядывали меня вместе с сухой, как вобла, кобылой. - Мухокрутку я обязан сдать по акту!

- На кой он мне, ядрёна феня, твой акт! - выругался бригадир, и с его лица исчезла задумчивость. - Идёт война, а ты канцелярию будешь разводить! Передай свою Мухокрутку кому из этих, - он показал рукой на незнакомых мне людей.

Я потянул кобылу к толпе, намереваясь кому из приезжих передать повода. Но едва я приблизился к приезжим, как те попятились от меня и скоро отступили к одиноко стоявшей на середине тока сортировке.

- Вы что, ядрёна феня, живой кобылы не видали? Чему только там, в вашей Одессе, учили? Торговать?! Так у меня нету тут магазинов. Да и учреждениев не найдётся, куда вас можно всегда приспособить! - вовсе рассердился на беженцев дядька Иван и от досады стал дёргать (такая, значит, у него привычка была) концы чёрных своих усов.

Спустя минуту от толпы отделился седой и такой же, как и моя Мухокрутка, немощный старикашка. Он подошёл ко мне, дрожащими пальцами взял из моих рук повода и сухо улыбнулся дядьке Ивану.

- Вот пьипомню свою молодость. Когда-то езживал на конях.

- Значит, порешили с Мухокруткой, - уже смиренным тоном заключил дядька Иван, оставив в покое свои усы.

До сих пор я не осознавал всей горечи нагрянувшего на землю грозного события, каким была война. Для меня и моего товарища Лёньки Журавкина известие о войне и весь её неожиданно трагический ход, когда наши войска вели порой беспорядочное отступление и несли огромные потери, вызывали какой-то странный интерес. Будто не война то была с кровавыми жертвами и массовыми разрушениями, а какая азартная игра вроде недавно нами виденных боевых кинокадров из фильма «Если завтра война». Да мы иначе как «по-киношному» и не воспринимали первые сведения о начавшейся войне. Дядька же Иван, напротив, всё понимал по-другому. Его унылому виду, а также нечуткости к моему предложению составить акт на передачу кобылы, его грубому обращению с беженцами («Чему только там, в вашей Одессе, учили?! ») и вообще ничуть не скрываемой им досаде была причина: в кармане у него с раннего утра, с того момента, когда он заскакивал за нарядом в правление, лежала повестка, с часу на час ему следовало отправляться на пункт мобилизации. И уже через неделю дядька Иван, переодетый в военную форму и взявший в руки винтовку, очутился на передовой линии под самой Одессой - тем самым городом, откуда пришли незнакомые нам люди с переполненными страхом глазами, с ними и этот немощный, но очень обыкновенный старик со странным говором, при котором выпадал из слова звук «зр» («Вот пьипомню молодость свою»), принявший от меня Мухокрутку.

Скоро в хуторе узнали, что их полеводческий бригадир Иван Егорович Кулик получил тяжёлое ранение и очутился в эвакогоспитале где-то в Закавказье.

В жаркий бой дядька Иван вступил как раз в тот момент, когда я пообвыкся на комбайне и меня перевели из рукавщиков на довольно для меня тяжкую работу волокушника. Кто был на уборке, тот знает, что разница между рукавщиком и волокушником большая. Рукавщик вступает в дело лишь тогда, когда к комбайну подходит фурманка, чтобы загрузиться зерном. Он прыгает с комбайна в кузов и расправляет поскорее рукав, по которому в тот же миг начинает сыпаться зерно.

Рукавщик обязан овладеть только одним умением - не просыпать зерна. Да ещё он должен вовремя прокричать штурвальному Григорию или самому дядьке Алёхе Черкасову, чтобы выключили выгрузной шнек. Потом рукавщик снова сидит на самой верхотуре, комбайн со всех сторон оглядывает да смотрит, как перепела с перепелятами из-под косы пырскают, а то и зайчата прыткие оттуда выскакивают. Тогда впору устраивать за ними погоню под ободряющие крики дядьки Алёхи и его помощника Григория. Намаявшисъ, зачастую с пустыми руками возвращаешься к комбайну, поднимаешься наверх, так как очень скоро задыхаешься в пыльной круговерти, которая всегда стоит около бункера, и оттуда, сверху, уже отдышавшись, смотришь на бегущие с неустанной удивительной силой планки большого и малого парусов, пока не появится новая фурманка и не окликнет тебя ездовой, чтобы поскорее спускался к нему вниз.

А на волокуше нет тебе роздыха. Весь круг снуешь вилами, ни на минуту не останавливаясь. Норовишь, чтобы не застряла солома при выходе из молотилки, а шла бы ровным слоем, как и подобает ей идти. Иначе может застопорить транспортёр. Соломенная масса быстро разбухает, и тебя берёт оторопь, как бы не прозевать порядка ранее осевших копен. Их смутные силуэты едва улавливает глаз в поднятой вентиляторами соломенной метели. Ровнота рядов - особая статья уборки, и за её нарушение колхозный ревизор Вожжа враз два трудодня срежет да ещё перед всем табором осрамит. От такой муторной мысли вовсе у тебя дыхание перехватывает, и ты прыгаешь с полоза на стерню и бежишь рядом с волокушей, натыкаясь на невидимые в стерне железные прутья, скользишь по ним, как по льду, задеревеневшими ступнями. На какие-то секунды успеваешь выглянуть из пыльной завесы и, увидев в двух-трёх шагах приближающуюся копну, судорожно хватаешься за чеку, давишь на неё всей силой, чтобы отворить заслонку.

Чека не сразу поддаётся, но затем расслабляется, и копна медленно сползает на стерню. Бывает и такое, когда копна не сходит с полозьев даже при раскрытой заслонке. Первое время я терялся и не знал, что предпринять с «засевшей» копной.

Заметив заторы с соломой, Григорий скомандовал, чтобы я прыгал в копну и грузом своего тела стаскивал её на землю.

В первый день дважды взывал я к Григорию, чтобы тот остановил комбайн, так как я не поспевал за соломотрясом. Штурвальный с минуту давал мне передохнуть и всё же упрекал:

- Шпаны понабрали, вот теперь и простаиваем!

На шпану теперь надёжа, - спокойно ему возразил дядька Алёха и, взглянув на кировские с зарешеченным циферблатом часы, с которыми он никогда не расставался, добавил: - Идём ведь неплохо. Каждые сорок минут гектар пшеницы убираем.

Хотя и перегревается мотор от перегрузки.

Слова дядьки Алёхи меня обрадовали. Знал бы мой друг Ленька, который оставался в полеводческой бригаде, знал бы директор машинно-

тракторной станции Коваль, навещавший на днях наш комбайн, что перешли мы на вторую скорость! Это пять километров в час! Так сказал дядька Пантюха, все эти дни не слезавший с трактора. На него, как и на дядьку Алёху, была наложена бронь, и покамест не закончится уборка, его никто не мог разбронировать и взять в армию. Таков, как говорил на таборе какой-то уполномоченный, приказ совнаркома.

Старый тракторист под стать дядьке Алёхе. Степенный и лишнего слова не произнесет, знает только одно: рулить да рулить, чтобы комбайн шёл как по шнуру. С перегруженного комбайнового двигателя глаз не сводит, как и с полевого делителя. Я вижу также, как дядька Алёха что-то подкручивает в двигателе. Вот и стал двигатель ровно зверь какой - рыкает, беснуется от тяжёлой пшеничной массы. И никто не увидел среди солнечного дня, как добела раскалилась выхлопная труба, похожая на длиннющую жердину. И стоявший за штурвалом в полутора метрах Григорий не разумел, что скоро она заискрит.

Когда раздались оглушительные выстрелы в трубе и от невидимой искры задымил белый парус, дядька Алёха кинулся к штурвалу и стал кричать дядьке Пантюхе, чтобы тот остановил трактор. Испугавшись крика, Григорий забыл выключить двигатель, и молотилка с хедером продолжали, грохоча, работать на холостом ходу, и нельзя было разобрать голосов.

Но вот дядька Алёха дотянулся до сектора и выключил двигатель. Я обернулся и увидел в двадцати шагах от комбайна чёрный круг обугленной стерни. Казалось, тот сам по себе быстро разрастается.

- По-о-жар! Хлеб го-о-рит! - заорал я, что было во мне мочи.

Мною настолько овладел страх, что я перепутал пшеницу с обычной стернёй.

Услышав мой крик, дядька Алёха подался вниз, за ним сбежал по трапу Григорий. Обогнув волокушу, к месту происшествия быстро приближался дядька Пантюха. Из ведра плескалась заранее припасённая им на случай вода. Лицо у него было перекошено от страха, И он не мог произнести слов. Дядька Алёха действовал более решительно. В один миг схватил огнетушитель. На бегу ударил его торцом о твёрдый след колеса И стал целиться в чёрный круг. Однако огнетушитель не подал струи. Тогда дядька Алёха отбросил его в сторону И выхватил из рук Григория запасной. Ударил и его торцом о твёрдую землю. Появившуюся белую струю направил в горящую стерню. Вскинувшееся пламя стало быстро глохнуть.

Редкими своими плесканиями из ведра пытался усмирить его и дядька Пантюха, всё время мотавшийся к хедеру, на котором находилась кадушка с водой. И не дотянуться бы огню до пшеницы - пламя должно было вот- вот захлебнуться в густой известковой пене, но тут иссякла заправка «Богатыря». Небольшой язык пламени тут же переметнулся в массив.

Теперь все наши усилия были уже бесполезными. И плескания из ведра дядьки Пантюхи, не переставшего бегать с ним к хедеру и в считанные

минуты наторившего в стерне дорожку. И появившиеся в наших руках лопаты, которыми мы с Григорием да рукавщиком в беспорядке бросали землю, стремясь ею заглушить бушующее пламя. Перед вдруг поднявшейся стеной огня мы, наконец, отступили. Пришедший в отчаяние дядька Алёха закричал:

- Надо угнать комбайн отсюда! Иначе от него один прах останется!

Хлебостой вглубь и вширь обчинало густое непроглядное пламя. От горящей пшеницы поднимались чёрные столбы дыма. Из хутора примчалась пожарная команда. Но огненную стихию не могли укротить ни пожарники своим сверкающим мощным бранденойтом, несущим на десятки метров бешеную струю, ни полеводы, объявившиеся с лопатами и вилами.

Только лишь около часа спустя огненный поток, растекавшийся по полю, остановили за серединой вагона, тракторами перепахав поле.

Мы сгрудились возле отогнанного на конец поля комбайна,

И вскоре нас окружили работники политотдела и госпожнадзора, механики. - От перегрузок прогорел искрогаситель, - оправдывался дядька Алёха, и мне его было очень жаль. Но дядьку Алёху, казалось, никто не жалел и не слушал.

- Усталость металла, - только и сказал в его пользу старший механик Жиров.

- Знаем мы эту «усталость»! - накинулся на комбайнера с механиком работник госпожнадзора с многочисленными (я и не мог сосчитать) треугольничками в красных петлицах. - Вредительством попахивает от вашего дела. Двадцать четыре гектара спалили хлеба!

Он достал из полевой сумки бумагу и принялся писать акт, облокотившись на крыло трактора, инспектор старательно выводил каждое слово, уже не обращая внимания на продолжавшийся разговор. И пока он, не торопясь, писал, все глядели друг на друга с появившейся вдруг боязнью. Будто все были чужими людьми и не знали, для чего собрались сюда, к этому сожжённому, пахнущему горелым хлебом полю.

Только присутствовавший возле комбайна дед Гаврила, колхозный председатель, избранный на эту должность всего как неделю, часто вздыхал и пытался с кем-либо заговорить. Да только все, к кому он ни обращался, не откликались.

Однако дядьку Алёху под стражу не взяли и в тюрьму не посадили. Ни в первый после случившегося пожара день, ни в последующее время. Мы продолжали под его рукой убирать хлеб первого военного лета. Выработка комбайна, как и в предыдущие дни, была высокой. Но, как я заметил, нас теперь не хвалили и красного флага нам не вручали.

Иногда я проходил сожжённым полем, смотрел на большое чёрное, непривычное для глаз пространство с лежавшими на земле обугленными колосьями, и зрелище это наводило на меня сильную душевную тоску. Поле это теперь казалось мне не чем иным, как полем сражения под той же, может, Одессой, обгоревшие колосья были на нём погибшими воинами.

***

Огонь дарует нам свободу.
Он обрывает хруст листа.
Он даже поджигает воду.
И крест, и снятого с креста.

Он плавит и свинец и злато.
Речную гальку и алмаз.
Горит и там, где место свято,
Пугая адской вспышкой нас.

Поэзия - души стихия!
Сестра высокого огня!
По грудь в огне стоит Россия,
Но просит у небес огня.

БЕСЕДКА БАРЯТИНСКОГО В ГУНИБЕ 1859 г.

Вот здесь Барятинский сидел,
Курил ореховую трубку,
И дым, похожий на голубку,
Летел в неведомый предел.

Глаголили, кто как умел,
И понимали, как умели,
И я на камень тот присел,
Он камнем был на самом деле.

Пред ним с мюридами Шамиль
Стоял, как демон покоренный,
Прозрачней водки, воздух горный
Раздвинул над Кавказом ширь.

Судьба имама решена.
Почетный плен. Калуга. Мекка…
Смотрю из бешеного века
В тот век, где родилась война.

Не пересохла Валерик,
Доносятся слова молитвы…
Остались древние обиды,
И долгий, долгий вдовий крик.

По склонам гор течет эфир
Прозрачной голубой лавиной,
Над Родиной необозримой
Из дыма ткется хрупкий мир.

***

Едем Тавридой, устал экипаж,
Крепость мелькнула … и вскоре …
Вот перешеек! Слева Сиваш,
Справа Азовское море.

Если до боли зажмурить глаза,
Увидишь в тени генуэзцев -
Красноармейцу по горло вода,
Белогвардейцу - по сердце.

Бьются товарищи и господа,
Не на кого положиться…
В колчане ржавеет морская вода,
Тихо стрела шевелится.

Мелкий ракушечник, берег пустой,
Ветер нагайкою свищет.
Многих хозяйка взяла на постой,
А не успокоятся тыщи.

Выпили водки, нажали на газ,
Тени остались в дозоре…
Справа, как раненый, стонет Сиваш,
Слева - Азовское море.

В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

В родительском доме
Не жить мне и дня,
В родительском доме -
Чужая родня,
Чужие портреты
Висят на стене.

Чужие заветы
Бормочут во сне.
Чужие с чужими
Твердят о чужом,
И страшно мне с ними
Быть в доме своем.

Дмитрий Гущин. Молебен на границе

СОВЕТСКОЕ КИНО

Смотрел с утра советское кино.
Уже не помню имена артистов…
А взял вдруг и расплакался (смешно)
Над судьбами колхозных трактористов.

Они, как дети, чистые внутри.
Такими быть их научил Спаситель,
Когда ходил по небу, златогрив,
Швыряя свет в советскую обитель.

Душе подай целительный настой,
И я смотрел без тени превосходства,
Что со страною стало и со мной,
И тихо плакал, чувствуя сиротство.

Я не скажу, что повлиял запой -
Не пью, беру уроки атлетизма.
Я плакал над разрушенной страной,
Упавшей в пропасть с пика Коммунизма!

Я взрослым стал, а взрослым тяжелей
Всё начинать с нуля и не разбиться.
Легко взлетать лишь детям с букварей…
Смотрите, как мы жили - пригодится!

***

«Боже, Советский Союз нам верни»
Б. Примеров

И я бы мог просить у Бога
О том, что мы не сберегли.
Но просьба слишком уж убога,
Хоть не светлее стали дни.

А бесы лезут отовсюду:
В культуру, в армию и в храм.
То Соломею, то Иуду,
В герои предлагая нам.

Стоп! Мы с Державой не простились.
Не встали на колени в грязь.
И всё же в душу пропустили,
И в сердце мировую мразь.

Но перст Господний русских учит,
Как поводырь слепых ведёт.
И солнцем выжигает в туче
Слова: «Победа» и «Вперёд».

ДЕНЬ

Молчанье золото,
Да не могу молчать.
Привык рубить сплеча
И обличать.

Покуда меток глаз
И тверд хребет.
Бью без разбора,
А летящих - влет.

Ведь эти твари
Тоже не молчат.
На перекрестках мировых
Кричат.

На Родину любимую
Рычат.
Срезаю их,
Как шляпки у опят.

Какой уж есть,
И никакой другой.
Дружи, не хочешь,
Не дружи со мной.

Я все сказал
И мой глагол кремень!
Как в тьме кромешной
Новый русский День.

КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ

Здесь море нездешнею силой
Опоры вжимает в пески -
На этих железах Россия
Стоит широко по-мужски!

А мы же глаголы швыряем,
Как глыбы под будущий мост!
Чтоб Русское море под нами
Навеки с Россией срослось.

Ты видишь, как строят дорогу?
Где рельсы и мысли впритык!
Оттуда возносится к Богу,
В зазубринах русский язык.

КОГДА ТЕБЕ ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ

Когда тебе за шестьдесят,
Захочешь - не рванёшь назад,
Сшибая сверстников со сцены,
Но отделивший «ты» от «я»,
Выносишь тайну бытия,
Как гладиатора с арены.

Согласен, нужно долго жить,
Чтоб на земле всё искупить,
Что не вмещается на небе.
Любовь, предательство, обман,
И мимолётной девы стан,
И яд льстецов, и лесть плебеев.

Когда тебе за шестьдесят,
Уже нельзя ломать уклад,
Всё крутится, как по спирали,
Хотя не знаешь вверх иль вниз?
И ловишь взгляд из-за кулис,
Того, кого сюда не звали.

Я самых близких гнобил сам,
Душе и сердцу - стыд и срам,
Но матушка меня любила!
Хотя и мало пожила -
Мне свои годы отдала,
Не выдумал я - так всё было!

Скрипит на мой чердак ступень,
И Переделкино, и Пермь.
И Курская дуга под носом?
Лязг гусениц гремит в душе!
И вдруг улыбка до ушей -
То внук пристал к тебе с допросом…

И забываешь про стихи.
И забываешь про грехи.
Слова мальчишки бьют шрапнелью!
Когда тебе за шестьдесят?
(на печках дедушки лежат),
А ты бежишь за карамелью…

ТРЕУГОЛЬНЫЙ КОНВЕРТ

В Кисловодске под госпитали в начале войны переоборудовали два десятка санаториев. В августе 1942 года Ставропольский край оккупировали немецкие войска. Бабушка Аня Абрамова рассказывала подросшим внучкам Анечке и Кариночке о том лихорадочном страхе, охватившем кисловодчан при приближении к городу неприятеля. Всем мерещился немыслимый скрежет и лязг вползающих в город танков, треск мотоциклов, организованный топот тысячного войска, но всё произошло внезапно и как-то тихо. Люди, впервые осознавая содержание понятия - «глазам своим не верю», удивлённо наблюдали за спокойными чужеземцами в форме зелёного цвета. Казалось, ничего опасного собой не представляя, эти пришлые кузнечики мирно расхаживали по городу небольшими группками, раскатывали на велосипедах и мотоциклах, но с каждым днём их становилось всё больше и больше. Начался беспорядочный отстрел собак, мешавших беспрепятственному вхождению оккупантов на территорию любого двора. И люди поняли - оккупации без пролитой крови не бывает.

Вывезти из Кисловодска за пределы Кавминвод не удалось около трёх тысяч раненых солдат - властям не хватило ни эвакуационных эшелонов, ни другого транспорта, ни времени: немец наступал быстро. Коренные жители спасали бойцов сотнями, переправляя в кабардинские сёла, прятали в горах, переводили из госпиталей в специальные подземные корпуса Семашко рядом с вокзалом.

В те напряжённые дни комсомолки несколько дней переписывали «Истории болезни», где многие красноармейцы проходили как гражданские лица или больные тифом. Санаторий имени Семашко и сейчас расположен рядом с железнодорожным вокзалом: в его корпусах в том зловещем августе спешно организовали больницу Международного Красного Креста, что, по мнению здравомыслящих людей всего мира, должно было остановить чужеземцев от расправы над ранеными.

Дмитрий Гущин. Полевая почта

Город замер в ожидании. Особенно напряглись еврейские семьи, наслышанные о массовом истреблении на Украине, в Крыму, Ростовской области и по мере приближения к городам-курортам. «Врут, - успокоил солидных представителей еврейской национальности комендант Поль. - Заплатите драгоценным металлом контрибуцию и вас никто не тронет». И люди поверили, без сожаления расставаясь «в пользу Германии» с фамильными драгоценностями, золотыми и серебряными изделиями, ценными картинами, утварью и статуэтками. На кону стояла конкретная жизнь каждого члена семьи и рода в целом, до неодушевлённых ли предметов.

Спустя недели три, на лобных местах Кисловодска появилось постановление комендатуры с безоговорочным призывом всех без исключения лиц еврейской национальности, в том числе и крещёных евреев, явиться к шести утра 9 сентября 1942 года на товарную станцию города. За уклонение от «переселения в малонаселённые районы Украины» - так это преподносилось немцами - семьям и отдельным лицам означенной национальности грозило беспрецедентное наказание, что подразумевало расстрел.

Паники как таковой не было. Едва рассвело, собравшуюся на «товарке» двухтысячную толпу, прихватившую с собой лишь самое необходимое, как было указано в тексте, погрузили в два вагона и множество платформ, прибывших на вокзал паровозов. Плакали только маленькие дети, взрослые все без исключения надеялись на одно - в таком огромном количестве - с детьми, стариками, женщинами - их убить не посмеют. Ну не звери же это, в конце концов!

Немногим удалось сбежать по дороге в Минеральные Воды, но они были. В городе потом рассказывали как одна молодая еврейка, почуяв подвох, просто осталась в вагоне, которых было всего два, остальное - платформы, забившись в тёмный угол. Немцы, ослеплённые снаружи ярким светом сентября, не заметили её, и она одна выжила из всех, с кем ехала в вагоне на чудовищную казнь.

9-го сентября 1942 года под Минводами, - как люди того времени говорили: «На Стекляшке - в противотанковых рвах…», фашисты, совместно с пособниками, уничтожили более шести тысяч жизней. О том, что их расстреляют в ближайшие часы, толпы прибывших со всех курортных городков догадались одновременно, едва у них принялись вырывать из рук сумки и узлы с вещами, отбрасывая скарб в нарастающую гору. У людей от ужаса происходящего и тысячного ора буквально лопались глаза.

Анна Михайловна, грех так было думать, но однажды подумала: «Хорошо, что я родилась армянкой, а не еврейкой». Но подвох не дремлет и скоро она убедилась в этом, споткнувшись о фамилию мужа - Абрамова, переделанную когда-то в Турции из Абрамян.

Ликвидировать поголовно раненых красноармейцев, находившихся в оборудованных под госпитали ещё в начале войны санаториях, фашисты изначально не решились. Население распространило слухи, что советских бойцов не вывезли до прихода немцев лишь потому, что они больны тифом.

Нахлебавшись человеческой крови сверх дозы в районе Стеклянного завода, оккупанты, вдохновлённые дележкой имущества погибших, принялись зверствовать с новой силой.

В народе вторую волну расстрелов назвали «дособиранием». «Дособирав» раненых солдат, в сопровождении медсестёр отправили, якобы, в сторону Украины, - «на дальнейшее излечение». Известно, по дороге расстреляны все.

Странно, радио на оккупированной территории не работало, но люди знали всё и вся, что происходит даже далеко за пределами Северного Кавказа. Анна Михайловна, при немцах в городе, в разговорах старалась участия не принимать, дабы не накликать беду на изрядно поредевшую семью. Слушала и молчала, такую позицию заняли многие, побаиваясь полицаев из местных. И оттого, что она вела себя тише воды, ниже травы, ей казалось, что именно с ней ничего плохого не случится.

В начале января нового, 1943 года, Анна Михайловна уже не ждала мужа с фронта: две похоронки пришли в один дом ещё в первую осень войны. Погиб муж, погиб родной брат. Несколько писем получила семья от

шестнадцатилетней Нины из-под Керчи, а потом как отрезало - ни весточки, ни слуха.

Логики в поведении немцев не прослеживалось. Естественно, молодая Анна боялась и надругательства со стороны гитлеровцев, и что расстрелять могут, обнаружив по доносу кровное родство сразу с несколькими добровольцами, ушедшими на защиту Родины. Разве немощному старику под силу прокормить и вырастить двух маленьких внуков? И Анна оберегала себя, как умела.

Работая поваром в госпитале санатория имени Серго Орджоникидзе, домой Анна старалась вернуться до наступления комендантского часа, но один раз в неделю пекли хлебы на семь дней, и приходилось дежурить у кадок с тестом всю ночь. Мальчики оставались под присмотром престарелого свёкра.

Всеми фибрами души ненавидела Анна врага! Её трясло только от одного стука немецких сапог, что зловеще раздавался, умноженный эхом гор во всех уголках ночного города.

Она уже была наслышана о том, что фашисты до сих пор отлавливают в городе не явившихся на пункт назначения в сентябре людей из кровавого списка.

Утро очередного возвращения с ночной смены словно усыпило бдительность молодой труженицы: уставшая, но спокойная, она обратила внимание на необычную тишину, повисшую над всем городом. Собак фашисты перестреляли почти в каждом дворе, кур переловили и съели. Кошки исчезли сами по себе.

Было так тихо, что казалось, немцы ушли. Характерный стук немецких каблуков раздался неожиданно. Несколько немцев и один русскоязычный полицай попросили Анну предъявить удостоверение личности и назвать свою фамилию - громко и чётко.

- Абрамова Анна, а по-армянски я - Айкануш.

- О-о-о! - протянули в несколько голосов изверги, - еврейка! Абрамова!

- Нет, нет, - леденея от смертельного ужаса, Анна заторопилась. - Я не еврейка, я армянка! Это фамилия мужа, он родом из Нагорного Карабаха. Там всем армянским фамилиям поменяли окончания - с «ян» на «ов».

Полицай, усмехаясь, попытался перевести сказанное ею на немецкий язык, но получилось это у него, видимо, плохо. Перевёл и ей:

- Ничего не получится, Абрамова! Под Кольцо-гору на расстрел повезём.

Так и сказал. И Анна потеряла дар речи. Земля в действительности ушла из-под ног: что будет с маленькими мальчиками? Дед старый, его сердце не вынесет ещё одной смерти в семье! Колени Анны подломились, и она упала, запричитав, вновь обращаясь к полицаю из местных жителей. В маленьком городке все знали друг друга в лицо:

- Ну, ты же знаешь, что мы армянская семья и что у меня маленькие дети, помоги!

Что-то человеческое мелькнуло в затравленных глазах немецкого пособника.

- Это армянка, я знаю её! Пусть идёт.

Но её не отпустили. Подъехал грузовик, молодую женщину подняли с земли и втолкнули в переполненный крытый брезентом кузов. Ехала Анна на казнь в полной прострации, словно вина бочку выпила - страх за жизнь отравил кровь.

За городом, всё тот же полицай, заметив Анну на краю ущелья, снова обратился к немцам:

- Армянка она, точно знаю…

Анне неожиданно сделали отмашку:

- Ком, Кавказ! Ком!

И она побежала прочь, под обрывающий крики ужаса треск автоматной очереди. Пока бежала, казалось, что вот-вот и её спина разломится пополам от обжигающей смертельной боли. Представить трудно, что довелось пережить молодой женщине в часы, когда приговор казался неотвратимым. Об одном жалела всю жизнь, что не знала ни имени, ни фамилии страшного спасителя, хоть раз бы поставила в церкви свечку на конкретное имя, ослабив на секунду его адские муки на том свете за безвинно загубленные жизни. За собственное спасение поставила бы, и ставила безымянно, надеясь, что Господь знает и без неё, какому грешнику посылает она облегчение.

Дома, с тех пор как пришла похоронка на мужа, и перестали приходить весточки с фронта от дочери Нины, Анна впервые ощутила высвобождение от внутреннего помертвения. Свидетель проявления бесчеловечности оккупантов пережитый страх и чудесное спасение изменили её отношение к жизни в корне. Мальчики и старый свёкор стали смыслом жизни. Да, на некоторое время она утратила сон, переживая снова и снова случившееся с ней, но и с этим справилась, намеренно уставая к ночи так, что организм сам тушил свет, уступая место отдыху. Но и сквозь богатырский сон еженощно пробивалась ненавистная немецкая речь, стук каблуков по каменному настилу складского подворья.

Склад немцы устроили рядом с их домом в переулке Солнечном. Туда извергами свозилось не только имущество из домов, расстрелянных семьями людей, но и уникальное медицинское оборудование здравниц. Изо дня в день в сторону Германии уходили набитые под завязку эшелоны. Грузили местные старики и подростки, наблюдая как старательно то один, то другой фашист, слюнявя химический карандаш, выводил на тюках огромными немецкими буквами домашний адрес, не сомневаясь в порядочности доставки.

Спустя несколько дней, Анну ждал ещё один опасный «сюрприз». Но сначала мы расскажем о войне глазами пятилетнего малыша - Саши Абрамова.

Маленьким был Саша Абрамов в войну, но остались в памяти безутешные рыдания матери, когда в дом принесли похоронку на отца, потом на дядю.

На снимке 1941 год. Дети Абрамовых. Нина в центре, Саша справа. Он не запомнил, как сестра Нина называла его по-домашнему: нечто ласковое, к сожалению, выветрилось бесследно. Подросшему ему сказали, что он - младший брат, и она - старшая сестра, - были несказанно привязаны друг к другу.

Нина ходила в десятый класс, а пятилетний Саша сидел дома и терпеливо ждал, когда сестра придёт первая. Он был обидчивым и много плакал. Нина заступалась за него, жалея, часто приговаривала: «И вовсе мы не рёвы-коровы, мы очень хорошие мальчики!» И тискала, и тормошила и «не рёва-корова» успокаивался, обхватив тонкую шею сестры и уткнувшись носом в её густую шевелюру, что пахла луговыми цветами. Это он потом узнал, о том, что взрослые женщины того времени споласкивали волосы настоем крапивы, а девушки настаивали цветы ромашки.

Малыш слышал слово «война». Слышал о том, что она откуда-то «идёт», и очень боялся её, не понимая, для чего, например, ей навстречу пошёл папин брат, Давид, а ещё раньше ушёл папа? Должно быть, они хотели остановить войну, как в сказках, что читала по вечерам Нина: богатырь появляется на пути у трёхглавого дракона и бьётся с ним до победного конца. «Нина, что такое война?» - спрашивал он сестру. Маленький был, из ответа запомнил только, что «это когда враги приходят».

За несколько дней до оккупации Кисловодска немцами, в городе началась паника. Наши войска ушли, местные жители пустились во все тяжкие: бросились разорять оказавшиеся в одночасье бесхозными продовольственные склады, продуктовые и промышленные магазины. Кто-то поджёг Газзавод. Он горел днём и ночью, нагнетая на души кисловодчан непроходимую тоску и зловещие предчувствия. Дед взял маленького внука Сашу и сына-подростка Мишу на холм, что выше четырнадцатой школы, с которого панорама города открывалась как на ладони. К ним примкнул какой-то пожилой родственник по имени Ашот. Саша помнит, расположившись на склоне, они - старики и дети - молча смотрели вниз.

На фоне пожара, яркого и по сей день несравнимого в памяти по зрелищности ни с чем, внизу суетились толпы мужчин и женщин, одетых почему-то в серые одежды. Саша увидел сестру Нину. Она тащила на спине мешок с мукой, дед крикнул:

- Брось! Надорвешься! Куда ты несёшь?

Но Нина, прогибаясь под немыслимой ношей для её хрупкого телосложения, продолжила путь к дому.

- Сильная у меня внучка, - сказал дед, и Саша запомнил эту живую картинку на всю жизнь.

Как анекдот, вынесенный из того времени, родственники годами пересказывали случай, произошедший с двоюродным братом Саши Юрой, сы-

ном погибшего на фронте дяди Давида. Мальчик, гордый и не очень уставший, принёс домой с территории Делового двора огромную картонную коробку с нарисованными по бокам пчёлами. Дети кинулись распаковывать, вообразив, что внутри находятся конфеты. Полное разочарование, а потом дружный хохот - подвесные липучки для мух.

Однажды Нина прибежала из школы с двумя подружками. Саша обрадовался, бросившись к ним с распростёртыми руками, но девушки, суетясь, отпихнули его. Лишь спустя годы, он понял, чем они были так озабочены - помогали сестре Нине собирать вещи. Мама работала шеф-поваром в госпитале санатория имени Орджоникидзе. Брат Рафик ещё был в школе. Саша, ничего не понимая, забился в угол и расплакался.

- Подожди, малыш, скоро мама придёт, вот эту записку отдашь ей.

Нина, заливаясь слезами, расцеловала его, и он почувствовал, что она уезжает. Девушки ушли. Он помнит содержание той записки наизусть, мама, рыдая, перечитывала её вслух несколько раз: «Мама, мы уехали на фронт - отомстить за дядю и за отца». На дядю Давида Минасова, маминого родного брата, и отца к тому времени пришли похоронки. Не осознавая горя, малыш видел, что родные женщины, обнявшись, часто плачут, приговаривая: «Миша, Миша… Давид, Давид…»

В день бегства Нины на фронт мама отвела его в семью дяди Давида, а сама рванула за дочерью в Минводы. Потом от Нины пришло письмо, где сестра описывала, как сидела в парикмахерской лицом к окну - ей кромсали косу, а она следила за обезумевшей от горя матерью. Молодая женщина носилась по перрону туда-сюда, заглядывая в набитые мужчинами вагоны, истошно звала дочь по имени, а стриженые уже подружки, затаившись, ждали, когда тёте Ане надоест это и она уедет обратно в Кисловодск. «Ах, если бы я знала! Если бы я знала, я бы вытащила их оттуда всех трёх за волосы, и волоком бы домой доставила!» - рыдала, прочитав первое письмо дочери, бедная мама.

А потом впервые Саша обнаружил немцев на площадке между филармонией и рестораном «Курзал». Фашисты прибыли на мотоциклах, а он, маленький и большеглазый, таясь в кустах цветущей садовой розы, подсматривал, силясь разглядеть у врагов клыки или лапы с когтями. Большие солдаты, похожие на людей, осматривали со всех сторон крепкое здание филармонии, разговаривали на непонятном языке и громко, очень громко смеялись.

Спустя какое-то время малыш стал свидетелем тревожного обсуждения между дедом и матерью - под Минводами целые сутки глухо стонет и шевелится засыпанная землёй огромная яма.

Однажды, уже после войны, учительница Сашиного класса рассказала припозднившимся третьеклассникам о массовом расстреле и удушении в газовых машинах в местечке Стекольного завода мирных жителей городовкурортов. Более шести тысяч жизней в один день поглотил чудовищный ров под Минводами. Раненых и детей засыпали живыми. Вот тогда Саша и вспомнил разговор деда и матери о стонущей сутки земле. Рассказала и о

братской могиле, вырытой для себя ранеными советскими бойцами под дулами немецких автоматов.

Анна. Спустя несколько дней после угрозы расстрела, Анну ждал не менее опасный «сюрприз».

Днём пятилетний и кудрявый Саша играл с самодельными игрушками на улице, одетый в черкеску. Его кавказский вид занимал немцев и однажды мальчик пропал. Это было выше сил Анны: вместе со старшим сыном и с толпой соседей облазили всю округу, обегали весь многокилометровый парк, но малыш словно в воду канул. Немцы привезли Сашу в люльке мотоцикла далеко за полночь. Оказалось, отловив у дома, они забрали красивого мальчишку в черкеске в горы. Со слов сына Анна поняла, что немцы пятилетнего мальчика не обижали, лишь заставляли под звуки губной гармошки танцевать лезгинку, при этом хлопали в ладоши, ели шашлык и пили вино. За пазухой у сына Анна нашла шоколад, несколько комков сахара, в руках он держал банку с тушёнкой. Всё это молодая мать безжалостно вышвырнула за забор, дед не остановил её. А Сашу Анна впервые сильно отшлёпала, после чего он даже нос боялся показывать на улицу, если замечал появление врага в конце улицы. Мало что отложилось в детской памяти Саши о том времени, не помнит он ни страха, ни поездки на мотоцикле, ни наказания. Всё это его мать рассказала внучке Анечке, названной в честь её. И внучка запомнила.

Спустя двадцать пять лет в дом Абрамовых, назвавшись следопытами, пришла молодая команда поисковиков. Комсомольские организации страны кинули клич - разыскать могилы всех героев и, по возможности, «взять след» пропавших без вести, а для этого следовало побывать в каждом потерявшем родных доме, и изучить содержание фронтовых писем. Анна Михайловна выставила перед ребятами картонный короб с треугольниками: от мужа, брата и пропавшей без вести дочери Нины. Одного из следопытов заинтересовало отсутствие изломов, какие появляются, когда самодельный треугольник вскрывается хоть раз. Это была похоронка на Нину. Её ждали домой всю жизнь. Нина сложила голову под Керчью. В похоронке даже указано было место её захоронения - третья могила от церкви. Спустя время Анна Михайловна припомнила, что в войну хоронили какого-то деда, ей там дали конвертик, она машинально сунула его в карман ватника. Вернувшись, положила сверху короба с письмами, думая, что вот что-то срочное сделает и прочтёт.

Забыла! Но таким образом её доченька «прожила» на земле вместе с ней двадцать пять лет, ослабив долгим отсутствием сокрушительный удар по материнскому сердцу. Незадолго до смерти бабушка Анна наказала - положить в гроб все Ниночкины письма с фронта. Никто из семьи не догадался переписать содержимое треугольных конвертиков от руки, о чём сожалеют и поныне.

Уже взрослыми, но ещё молодыми, Саша и его двоюродный брат Гена, сын дяди по отцу, навестили могилу Нины в городе Керчь. Поминая сестру,

восхищались героизмом юных комсомолок и тосковали: ей и её подружкам было всего по шестнадцать лет. Домой с могилы сестренки они привезли горсть земли. Чудом выжившие фронтовики рассказали, показывая заботливо ухоженную братскую могилу, о жуткой мясорубке в этих местах. Огромной ценой советских жизней добывалась Великая Победа над гитлеровскими захватчиками.

В Кисловодск неразлучные двоюродные братья - Александр и Геннадий - возвращались с ощущением бесценности Родины и возобновлённого мира, с глубоким уважением к героям семьи и многомиллионной национальной армии, удержавшей страну от порабощения ценой собственной жизни и искалеченного здоровья.

Освобождение Ставрополя 21 января 1943 г.
347-й стрелковой дивизией
под командованием Н.Селиверстова.

В ночи январской пушки, танки били.
Ракет светились в небе огоньки,
Когда с боями в Ставрополь входили,
Громя фашистов, красные полки.

И старший лейтенант - комвзвода Булкин,
Бой завязав с врагами в час ночной,
Косил, разя, их в каждом переулке,
Но пал от ран смертельных как герой.

На улицах до самого рассвета
Сраженья не стихали, горячи.
Гремели взрывы, снег сбивая с веток,
Свистели пули, сея смерть в ночи.

И от возмездья прочь уйти не дали
Жестокому коварному врагу.
Десятки трупов вражеских остались
Лежать на окровавленном снегу.

В развалинах был город закопчённый.
Но радовались люди, стар и млад,
Встречая со слезами восхищённо
Своих освободителей-солдат!

***
О Русь терпеливая,
Свет мой, Россия,
Немало ты видела
Горя и слёз.
Немало хранят в тебе тайн
Вековые
Рубцы на бинтах
Сердобольных берёз.

Как знать, не с того ли,
Скорбя об утратах,

Плакучие ивы
По-вдовьи грустны,
Что две похоронки
В селе на три хаты
С фронтов приходили
Кровавой войны.

Шагая во ржи
Полевою тропинкой
И глядя в простор твой
Загадочный, Русь,
Я кланяюсь каждой
Берёзке, осинке
И слушаю их
Затаённую грусть.

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ БЕССМЕРТЬЯ

Памяти партизанки-разведчицы Нины Попцовой,
расстрелянной фашистами 6 января 1943 г. под Машуком

Над лесом кружилось, как смерть, вороньё.
Стыл в сумерках снег ноздреватый.
Фашист подтолкнул из машины её
Холодным стволом автомата.

По жгучему снегу шла молча она,
Босыми ногами ступая,
В изорванном платье, худа и бледна,
Несломленная и молодая.

Отчаянно ветер в кустах голосил,
Казалось, он плакал над нею.
И сбитые пулями ветки осин
Вмерзали в Машук, леденея...

И жутко, как будто цветы на лугу,
Среди потрясений великих
Застыли кровавые капли в снегу -
Бессмертья живые гвоздики.

Фото Маргариты Вороновой.
Ставрополь, 9 мая 2015 г.

В ГОРЯЧЕВОДСКОМ ГОСПИТАЛЕ

Вспоминаю: в мае было это.
Накануне праздника страны
Пригласили в госпиталь поэтов
К ветеранам памятной войны.

В тёмно-серых будничных халатах,
Без парадной формы и наград
Собрались бывалые солдаты,
Знавшие и Курск, и Сталинград.

Я тогда увидел не с экрана
Средь бойцов морщинистых, седых
Раненных в горах Афганистана
Пареньков безусых молодых.

И когда в притихшем клубном зале
Прочитал стихи я про отца,
Я заметил: слёзы задрожали
На глазах у юного бойца...

Сердце билось резко, учащённо.
Я стоял под взглядом стольких глаз.
А в сторонке, с палочкой, смущённый,
Хлопал мне отец в последний раз.

ДОМОЙ...

Сентябрь - лучший месяц осени! Дожди сильно не заливают прогретую за лето землю. Солнце пока ещё дарит своё тепло, подрумянивая листву деревьев и наполняя сладостью осенние садовые плоды. И этот тёплый солнечный аромат свежей опавшей листвы и зрелых плодов витает в воздухе, радуя и пьяня.

Павел Фёдорович любил подолгу сидеть в глубоком, обитом тканью кресле на застеклённой веранде с распахнутыми настежь окнами, греясь под скупыми лучами питерского солнышка и вдыхая этот чудесный эликсир. Здесь, дома у дочери Ирины, он жил уже больше полугода после последнего микроинсульта. Тогда дети - дочь Ира и сын Костик - оба, как и он, и покойная жена Лидия, медики с солидным опытом, настояли на его переезде в Санкт-Петербург из тихого провинциального Богородицка. Если раньше он противился и хорохорился, подшучивая над самим собой, дескать, есть ещё порох…, то после того, как потерял сознание прямо на скамейке у подъезда своего дома, спорить и противиться перестал.

Ему шёл уже восемьдесят пятый годочек, но ещё пару лет назад Павел Фёдорович на стареньком велосипеде объезжал свой участок с неизменным потёртым медицинским саквояжем. Врачей общей практики, особенно участковых терапевтов, хронически не хватало: узких специалистов с большим стажем работы было по пальцам сосчитать, участковый врач - должность хлопотная и малооплачиваемая. Молодёжь из провинции бежала туда, где кипела жизнь и худо-бедно можно было прилично зарабатывать - в Москву и Питер. А он не привык сидеть без дела: всегда и в любом возрасте находил для себя интересное занятие: рисовал картины карандашом, маслом, или акварелью; клеил миниатюрные модели исторических зданий, храмов и кораблей; плёл из лыка лапти и туеса, выращивал в саду редкие плоды и овощи; писал историю родной Богородицкой районной больницы, в которой проработал без малого пятьдесят лет, в том числе и главным врачом. После смерти жены сидеть дома было вообще невыносимо:

Фото Маргариты Вороновой. Ставрополье

любая мелочь напоминала о ней, надрывая сердце. Потому и продолжал работать...

Тем более, что основным своим призванием и увлечением, которому не изменял вот уже шестьдесят с лишним лет, считал Павел Фёдорович умение лечить от физических недугов людей…

Мечта стать «дохтуром», как говаривали в его родном селе Александровском, хорошо известном не только любому жителю Ставрополья, но и многим далеко за его пределами, сформировалась у Пашки с малых лет. А точнее, с тех самых пор, как он стал себя помнить и осознавать, с тех пор как помнит своего отца Фёдора Егоровича Говоруна, снискавшего в селе славу знахаря и колдуна. Отец лечил травами, настоями и заговорами всякую хворь, и человеческую, и животины, и птицы. Поговаривали, что Фёдор Говорун с нечистой силой знается. В мнении своём досужие односельчане окончательно утвердились после скоропостижной смерти Фёдора Говоруна в один из страдных дней 1955 года, когда он бездыханно упал ничком в бричку-двуконку. Случилось это в одночасье с тем, что мать Арина в праведном богоборческом порыве сожгла в печи все отцовские книги…

Павел в то, что отец знался с нечистой силой, не верил: в доме всегда были иконы, за которыми мать Арина, суровая казачка из рода коренных хопёрских казаков Востриковых, бережно ухаживала, ублажала лампадами и чистыми вышитыми рушниками. Сама она была очень набожной, и, когда перед самой войной, в 37-м, воинствующие атеисты из числа комсомольского и партийного актива села разрушили построенный в 1882 году храм во имя св. архистра-

тига Михаила, мать тайком ходила в молельный дом на Тамбовскую улицу. Позднее этот жилой дом (теперь уже на улице Калинина) был преобразован в церковь Архангела Михаила, которая действует по настоящее время…

Фёдор Егорович набожностью не отличался, но лоб крестил, да и крестик нательный не снимал.

- Вера во все времена нужна была человеку, буде то Христос, или Магомет, или Будда! А в незапамятные времена и огню, и дереву, и живности всякой, и идолам поклонялись, - бывало говаривал он при случае. А случаи порассуждать о прошлом, да о жизни человеческой выпадали всякий раз, когда усаживался он на чурбак, или скамью под старым тутовником на Кургузовом дворе (так прозвали селяне их большое подворье по фамилии прежнего владельца - торгового человека). Двор тот стоял на высоком взгорке улицы Больничной.

- К дождю крутит, - кривя плохо выбритой щекой и морщась от боли, начинал обычно разговор отец, потирая правую, изувеченную турецкой пулей, ногу. Он не спеша доставал из необъятных карманов тёплых стёганых ватных штанов кисет с табаком и сворачивал заветную цыгарку. Это всегда был особый, наполненный сокровенным смыслом ритуал. И неважно, были в тот момент подле него слушатели, или нет. Казалось, что порой он разговаривает со старым деревом, либо с гуртом уток, или гусей, что всегда одобрительно покрякивали и кивали в такт отцовскому рассказу головами.

И только мать, Арина, смела прервать эти посиделки, возвращая мужа на грешную землю своим зычным голосом:

- Отец, будя дымокурить! Иди помоги мне, а то опять развёл турусы на колёсах…

Как почти все александровские казаки, Фёдор Егорович пошёл служить строевым в 1-й Хопёрский полк осенью 1913 года, достигнув к тому времени положенного возраста в 21 год. По тогдашнему закону о воинской повинности подданные Российской империи подлежали призыву в армию 1 раз в год - с 15 сентября или 1 октября по 1 или 15 ноября - в зависимости от сроков уборки урожая. Казаки-мужчины обязаны были служить без выкупа и замены на своих лошадях со своим снаряжением. Все войско давало служилых и ополченцев. Служилые делились на 3 разряда: 1 подготовительный (20-21 год) проходит военную учебу; II строевой (21-33 года) непосредственно проходит службу; III запасной (33-38 лет) развертывает войско для войны и пополняет потери. Во время войны служить казаки должны были все без учета разрядов.

Составляли 1-й Хопёрский полк станицы Александровская, Северная, Калиновская, Сергиевская, Грушёвская и Круглолесская с полковым штабом в станице Александровской. Перед самым началом Великой войны 1914 года 1-й Хопёрский был придан «четвертым полком» к Кавказской кавалерийской дивизии и с нею провел всю войну. В 1915 году эта дивизия была переброшена с Западного фронта в Персию и с 3-й Забайкальской казачьей бригадой генерала Стояновского совершила 800-верстный марш от

Джульфы, через Тавриз, по южному берегу Урмийского озера и вошла в Турцию, в город Ван. Вот там, в Турции отец и был тяжело ранен в правое бедро. Сначала в походном госпитале ногу хотели вообще отнять, но Фёдор упросил хирурга ногу оставить:

- Куда мне одноногому? Не хочу на деревяшке остаток жизни ковылять! Заживёт на мне, как на собаке, только косточки на место соберите, - хрипел в горячке он.

И ведь вправду зажило, только косточки собрали не все и нога стала короче…

Провалялся Фёдор по госпиталям почти год и был перед самой Февральской революцией списан подчистую.

Жена Арина забрала его тогда из лазарета при Спасском соборе Владикавказской епархии и привезла домой на быках из Пятигорска…

Воинскому призыву в 41-м, когда грянула Великая Отечественная, он не подлежал всё по той же инвалидности, да и возраст уже давно перевалил за отметку сорок пять…

Пашке всегда было жаль отца и так хотелось ему помочь, что он ещё тогда, сызмальства, дал себе клятву выучиться на доктора. Читать он начал в пятилетнем возрасте, схватывал все науки с лету, поэтому не считал нужным ходить на те уроки, которые ему были не интересны…

Павел был пятым ребёнком в семье. Точнее не совсем пятым, а пятым по возрасту: всего в большой казачьей семье Говорунов было восемь детей: шесть девчонок и двое мальчишек. Девятый ребёнок - Гришка - умер от тифа, не прожив и года. Говаривали, что при рождении у двух старших сестёр были двойняшки, которые сразу поумирали. Но тема эта была в семье под негласным запретом…

Его старший брат, хулиганистый Васька - атаман уличных пацанов, был на два года старше. Вообще-то, первой по старшинству шла сестра Люба, за нею с разницей в два года - Елена, Вера и Александра - Шура. Потом народились Васька с Пашкой. А следом за Пашкой пошли снова девчонки - сёстры Евгения и Лидия.

Семья Говорунов жила на Коршенях - это между Блинцами и Свинарями, в просторной пятикомнатной саманной хате с широким и длинным двором, конюшней и база́ми. В период сплошной коллективизации в 1930 году дом и двор хотели передать под колхозные нужды, но Фёдор Егорыч, инвалид Первой мировой, вовремя сориентировался и по совету свояка Д.Е. Вострикова написал заявление о вступлении в сельскохозяйственную коммуну «Авангард», а затем и в колхоз «Тракторостроой», подчистую сдав в общественный котёл всю имевшуюся животину: четырёх лошадей, пару быков, три десятка овец, четырёх коров-кормилиц, а кур, уток, гусей - совсем без счёту. За что был записан в число благонадёжных и лояльных к советской власти. Правда, после статьи И.В. Сталина о борьбе с перегибами пернатую живность возвратили обратно. Двор в конце концов всё же забрали под колхозные мастерские в конце сороковых, но это было потом…

В поле работник-инвалид был никакой, а вот ездовым, или сторожем - годился. Да что сторожем? После войны, когда каждый мужчина был на вес золота, работал Фёдор Егорыч и бригадиром полеводческой бригады: голова и руки были на месте. Казачью подругу-шашку и всю казачью справу Фёдор Егорыч ещё в Гражданскую войну запрятал на самое дно громадного дубового, обитого медными полосами, сундука, крышка которого изнутри была обклеена теперь уже не нужными разноцветными царскими ассигнациями и кредитными билетами, керенками и довоенными советскими дензнаками. В том же самом сундуке он хранил и свои заветные сонники, травники, лечебники и книги по оккультным наукам.

Учились Васька и Пашка, в отличие от девчонок-сестёр, из рук вон плохо, за что и получали частенько ремнём от отца.

Припомнив отцовскую науку, Павел Фёдорович грустно улыбнулся:

- Да, сейчас настали иные времена: за порку нерадивого дитяти можно и в тюрьму загреметь.

Воспоминания призрачными образами наплывали вместе с солнечным теплом сквозь полудрёму, пока их не потревожил донёсшийся из дома призывный голос дочки Ирины:

- Папа, заходи в дом, пора обедать! Я гуся сегодня запекла в духовке, как ты любишь!

- Хе, хе, хе, - хмыкнул Павел Фёдорович, - гусь, это хорошо! Пас я когда-то этих длинношеих…

И, отодвигая на задний план и дом, и дочь с запечённым ею гусём, перед глазами Павла Фёдоровича отчётливо предстала картина родного села Александровского, широко раскинувшегося среди степей, оврагов и прикалаусских высот со скифскими курганами…

Шёл последний военный, трудный и голодный 1945 год.

Фашистских оккупантов со Ставрополья погнали в январе 1943 года. Старшего брата Ваську отец отправил в ремесленное училище в Минеральные Воды учиться на курсы трактористов. Сёстры Люба, Елена и Вера уехали на заработки в далёкий азербайджанский город Евлах. А Павла ранней весной отец пристроил на работу на выселки, на пруды, что находились в семи километрах от села в поросшей камышом и осокой болотистой пойме речки Грязнушки. Под присмотр и под полную ответственность ему отдали два табуна колхозных гусей на семь сотен голов. Их нужно было пасти, выгуливать на вольных хлебах, беречь от лис и степных стервятников, а также от полуголодных односельчан и хуторян с близлежащих хуторов Харьковского и Жуковского, не гнушающихся поживиться гусятинкой. Особо строго было наказано беречь от потравы гусями расположенные впритык к низине хлебные пшеничные колхозные поля.

- Смотри, паршивец, не проспи стадо, - напутствовал отец.

- Всех сохранишь - каждого десятого лапчатого получим в оплату. А проворонишь - своих придётся отдавать! Да гляди, чтобы в жито не забредали.

Гусей на ночь нужно было загонять на старый баз возле речки Грязнушки. На базу для них были сделаны два крытых ночника и стояли деревянные корыта для воды. Там же, рядом с базом, отец поставил Пашке новый шалаш, укрепив старый остов привезёнными кольями и накрыв в три слоя камышом. В помощники даден был старый лохматый, в чёрно-рыжих подпалинах пёс по кличке Матрос. Такое необычное для степного обитателя имя он получил за то, что имел на груди три белых полосы вроде тельняшки в вырезе форменной чёрной рубахи…

На первых порах парнишка радовался полученной свободе и возможности отлынивать от занятий в школе. Но радость эта быстро улетучилась и её заменили постоянная усталость от беготни за гусями, да не проходящая ноющая боль от ссадин и порезов от камыша и осоки на руках и ногах. С наступлением лета прибавились ещё и расчёсы от укусов насекомых, в огромном количестве населявших пойму.

Один раз в три дня отец привозил на быках скудную провизию: каравай хлеба, несколько варёных яиц, да десяток картофелин. Иногда перепадала крынка простокваши. Слава богу, воды вокруг было вдоволь, и рыбёшка в ней водилась. В полуверсте от гусиных выпасов день и ночь журчала холодной струёй, заливая длинные деревянные корыта для водопоя, артезианская труба. Были неподалёку и несколько копаней с незамерзающими ключами. Однако вода в них, в отличие от артезианской, была солоноватой и жёсткой, мало пригодной для питья. Пашка по вечерам, когда загонял гусей в баз, ловил в Грязнушке рубахой пескарей. Попадались в тине, в зарослях камыша и жёлтые жирные караси. Жарил рыбу прямо на углях костра: вкуснотища непередаваемая…

От этих гастрономических воспоминаний у Павла Фёдоровича рот наполнился слюной.

- Пойти пообедать, что ли? Дочка ведь давно позвала, - встрепенулся он.

Опираясь о стены и мебель, понёс своё сухонькое лёгкое тело в зал, где дочь накрыла ему на стол.

- Куда ты столько наготовила, Ириша? Как на свадьбу, - ворчал как обычно Павел Фёдорович.

С приходом старости и болезни есть он стал мало, хотя и раньше никогда не отличался чревоугодием.

После обеда Павел Фёдорович снова устроился в любимое кресло на веранде. Через час Ирина принесёт на веранду чай, заваренный на травах, а пока можно снова погреться на солнышке, подумать, повспоминать…

Мысли снова обратились в далёкое послевоенное прошлое, к речке Грязнушке, к стаду гусей, разбредающемуся в стороны от база несколькими большими стаями во главе со здоровенными самцами-вожаками...

- Вот, шельмы, опять в зеленя попёрлись! Матрос, гони их, проклятых на речку! - кричал Пашка, бросаясь наперерез первому большому гурту.

Отпугивать гусей от потравы посевов Пашка вскоре наловчился. Бегать за гусями с палкой наперевес было делом пустым. Главное было - поймать

вожака стаи. Павел обегал гурт стороной, ложился на его пути в пшеницу, и, когда вожак подходил поближе, ловил того за толстенную шею и начинал её скручивать. Свернуть совсем шею вожаку у него сил не хватало, да и не нужно было этого делать: ущерб всё-таки. Но от самой процедуры выкручивания матёрый гусак кричал благим матом, а перепуганная стая поворачивала назад и почти влёт возвращалась на воду, в камыши. Такие баталии приходилось устраивать по нескольку раз в день.

К концу августа Пашка вытянулся, загорел, окреп и очень захотел в школу...

Правда, когда по окончании выпасов стадо гусей пересчитали, оказалось, что в оплату за работу Пашке ничего не причитается, пришлось ещё в счёт недостачи своих пятнадцать штук гусей отдать…

- Эх, работничек, - махнул тогда огорчённо рукой отец, - одни убытки! Иди ото лучше учиться. Хоть в школе дурь из башки выбьют…

В растворённые окна веранды пахнуло дымом: это дочь Ирина управлялась в саду и подожгла собранные в кучу опавшие листья и высохшую ботву с бурьяном.

Горьковатый дым принёс новые ассоциации, и мысли Павла Фёдоровича причудливо скользнули в другой временной пласт, в военный 1942 год.

Немцы с румынами вошли в село 7 августа 42-го. Просторные хата и двор Говорунов сразу же приглянулись оккупантам: в них расположился штаб румынской конной дивизии. Вся семья переселилась в старую конюшню, что стояла с незапамятных времён в южном конце Кургузова двора. Конюшня была крепкая, сложена из сосновых брёвен, с четырьмя денниками, сенником и сбруйной, с дубовым полом и даже маточным помещением, в котором Фёдор Егорыч устроил схрон для дочерей.

- Сидите тут, мокрощелки, и носа во двор не кажите, - пригрозил он старшим дочерям кнутом. Сестре Женьке не было тогда и восьми лет, а Лидка была и совсем уж малой - двух с половиной лет отроду, поэтому их стращать не требовалось.

- По нужде если - то в ведро, а ночью за конюшню ходите, в силосную яму!

Тут же в одном из денников отец сложил печку из камня-песчаника. Камня хватало: двор был огорожен полутораметровой высоты стенкой-тыном из этого самого камня, добываемого в карьере на горе Голубиной. Глину рыли в конце двора, где были старые котлованы для изготовления самана - кирпича из глины с добавлением соломы. Здесь, на Коршенях, на северном гористом склоне лощины, в которой на длину больше пятнадцати вёрст удобно разлеглось село Александровское, вся почва была глинистой. А западнее, где заканчивались Блинцы и стояло на сваях длинное деревянное рубленое строение гамазеи, зияла ямами и пещерами глинища - глиняный карьер, откуда казаки и прочие селяне издавна брали глину для строительства и гончарного дела. Были глиняные карьеры и под Босовой горой, и на Комарёвке, но поменьше…

Вход в маточник Фёдор Егорыч заложил тюками соломы и сена так, что несведущему человеку и не догадаться было, что там скрыто ещё одно помещение. Спала вся семья на матрацах, набитых соломой в двух других денниках. Около печки отец с помощью сыновей поставил длинный трёхметровый стол, тот что раньше стоял во дворе под развесистым тутовником. Пригодились и две лавки…

Все девчонки-сёстры отцовский наказ исполняли неукоснительно, из схрона выползали только ночью, или, когда двор затихал от гомона крикливых румынских солдат, ржания лошадей и треска мотоциклеток. Часовые, что круглосуточно топтались у дверей штаба, были не в счёт: солдаты комендантского взвода жильцов двора знали всех в лицо. Нарушали отцовский запрет только брат Василий, старшая сестра Елена - бойкая, задиристая и характерная деваха, да мать Арина, бесстрашная казачка.

- Тьфу, нехристи, прости, Господи, - глядя на вечно галдящих, смуглолицых и чернявых румынских солдат, сплёвывала в их сторону Арина Васильевна и мелко крестила при этом рот.

- Ну, чисто цыганский табор!

Она же по доброте душевной через неделю после оккупации жаркой звёздной августовской ночью задами через базы привела на Кургузов двор молодую евреечку Лию с шестилетней дочкой Лизой.

- Кума Евдокия попросила спрятать на время, - как бы оправдываясь перед мужем и детьми, тихо бросила Арина Васильевна.

- Беженки из Пятигорска. Не объедят нас. Глянь, какие тощие. Бог велел помогать убогим и сирым…

- Доведёт тебя до беды твоя доброта, - буркнул в ответ Фёдор Егорыч, - и как в воду смотрел! Не нашли и не тронули беженок оккупанты. Зато после освобождения села попыталась эта самая Лия отсудить у сердобольных хозяев часть их дома, забросала жалобами и заявлениями сельскую власть, клеветой пыталась очернить доброе имя Фёдора Егоровича, обвиняя его в пособничестве врагу. Хорошо, нашлись добрые люди, не побоялись вступиться: рассказали, как ночами Фёдор Говорун с бесстрашной дочерью Еленой на быках тайком возили за двадцать пять вёрст в тихое сельцо Калиновское коммунистов-подпольщиков из партизанского актива…

Скорая на расправу Елена, приехавшая за харчем из Пятигорска, где к тому времени работала на мотороремонтном заводе, узнав о подлости приживалки, выволокла Лию из дома за чёрную косу и чуть было не утопила её в глубокой со стоялой водой воронке от фашистской бомбы на выгоне за базами.

- Удавлю змеюку, - кричала Ленка, таща к воронке верещавшую от испуга Лию по раскисшей от весенней оттепели земле.

- Пригрели на своей груди, доброхоты чёртовы! Прикормили!

Не дали свершиться беде отец с матерью, отобрали у Ленки перепуганную до смерти жилицу. В тот же день исчезла Лия с дочкой из дома Говорунов и из села, как в воду канула…

- Да, Ленка, Ленка…, - улыбнулся грустно Павел Фёдорович, стряхивая сонный морок.

- Лихая была сестрёнка, пусть земля ей будет пухом. Ушла из земной юдоли десять лет тому вслед за братом Василием и старшими сёстрами…

Павел Фёдорович тяжело вздохнул. Из всей большой семьи были пока живы он, да младшие сёстры Женя и Лидия, с которыми он изредка обменивался скупыми письмами, не признавая новомодных технических устройств типа мобильного телефона, или компьютера…

- Да, все там будем. Видно и мне скоро следом…

Мысли опять настойчиво вернули его в детство, в тяжёлые и тревожные военные годы. Вспомнил, как хвостиком неотвязно ходил он следом за братом Василием и его друзьями-казачатами. Мальчишки не боялись никого и ничего. Васька со своей неизменной ватагой: Колькой Бельским, Мишкой Фисаковым и Сёмкой Панариным шныряли по селу, высматривая, что где творится, что и где плохо лежит. В старой заброшенной бане, стоявшей на заросшем бурьяном, колючими кустами шиповника, терновником и бузиной выгоне, что начинался сразу за говоруновскими базáми, друзья устроили настоящий склад амуниции и оружия. За пять месяцев оккупации натащили они туда два ротных лёгких 50-мм миномёта с ящиком мин, три трёхлинейки Мосина, два немецких Маузера Gewehr-98, девять противотанковых мин, два цинка патронов и десяток немецких гранат - колотушек. Пашку старший брат на эти вылазки с собой не брал, но в баню, где хранились эти богатства, пускал:

- Смотри, да помалкивай! Бате проговоришься, или мамке - язык отрежу, - пригрозил Васька, достав из-за притолоки немецкий штык-нож.

Павел Фёдорович снова улыбнулся в рыжеватые усы, припомнив, как пронесли находчивые пацаны украденную немецкую винтовку мимо румынского патруля. Додумались просунуть её в рукава Семёнова отцовского пиджака и, засунув туда же самого Семёна, повели его под руки как пьяного. Для достоверности балагурили и смеялись словно подвыпившие, да заплетали ногами. Смеялись над подвыпившими пацанами и патрульные румыны, тыча в них пальцами:

- Uite, vezi, Mihai! Ruii biei plini ca porcii*...

В тот раз всё обошлось.

А через несколько дней заехала во двор чёрная, забрызганная осенней грязью штабная легковая автомашина. Водитель автомашины, румынский капрал, размяв усталую спину, поманил к себе пинавших пустую консервную банку Василия и Пашку. Держа в одной руке брезентовое ведро, а в другой плитку немецкого шоколада и тыча ею на грязную автомашину, капрал скомандовал:

- Hei, baieti, splaiv; urgent de masina! Ciocolata vafiata**.

- Машину предлагает помыть, - ухмыльнулся Васька. - Так и быть, поможем румынешту, - тряхнул буйным чубом он и смело шагнул к румыну.

---

* Смотри, смотри, Михай! Русские мальчишки напились как свиньи (румын.)

** Эй, парни, вымойте срочно машину! Шоколад будет ваш (румын.)

Ветошь для мытья - штанину от старых кальсон дал тоже капрал. Воду Пашка носил из той самой глубокой воронки от бомбы. Пока мальчишки мыли автомашину, капрал зашёл в дом, где кроме штаба румыны оборудовали кухню и было караульное помещение.

Как успел Василий умыкнуть из автомашины губную гармошку и маленький блестящий браунинг, Павел так и не заметил.

Когда он в очередной раз пошёл с ведром за водой к воронке, за спиной раздались злобные крики капрала и звуки ударов. Обернувшись, Пашка увидел, что капрал, держа Василия за шиворот, бьёт его об автомашину.

- Ah, tu mascate romn ho! Eu te baten cuie un. Veiti cums fure*, - вопил водитель.

Васька упал и капрал стал пинать его ногами. Перепуганный Пашка бросился в конюшню, откуда на крики выбежали мать и сестра Елена.

- Ой, Господи, да что такое случилось? Убьёт ведь ирод! - испуганно причитала мать, заламывая руки, но боясь приблизиться к разъярённому румыну.

- Я ему, вшивому, сейчас покажу, как мальца бить, - не испугалась Елена и бросилась к автомашине. Подбежав, она попыталась поднять Василия, заслоняя его собою, а когда капрал стал пинать и её саму, оттолкнула разошедшегося вояку.

Собравшиеся на шум румынские солдаты из комендантского взвода и вышедший офицер, довольные дармовым развлечением, одобрительно что-то выкрикивали. И только солдат-часовой, вооружённый винтовкой с примкнутым широким штыком, решил пресечь беспорядок:

- Sa dus departe, murdar fata**! - скомандовал он и, подбежав к автомашине, ткнул Елену штыком в ягодицу…

Увидев, что дело приобрело кровавый оборот, капрал пнул ещё раз напоследок Василия ногой, поднял выпавшие у того из-за пазухи губную гармошку и браунинг, сел в автомашину и укатил прочь…

Отделался Васька перебитым носом, двумя сломанными рёбрами, синяками, да ссадинами. Отлежался брат, зажило всё на молодом и крепком организме. А у Елены память о Васькином приключении на всю жизнь осталась в виде шрама на правой ягодице…

И ведь не успокоился неугомонный брательник, продолжал тащить в старую баню боеприпасы, шмыгая перебитым носом, обещал устроить фашистам фейерверк на прощание. По всему видно было, что долго оккупантам не продержаться, бои гремели неподалёку: гром артиллерийской канонады доносился с юго-востока со стороны Минеральных Вод и Будённовска. По ночам в той стороне полыхало багровое зарево пожаров.

Оккупанты начали покидать село с утра 13 января 1943 года. Зима 1943-го выдалась очень холодной, морозы давили до минус 25 градусов. Фаши-

* Ах ты, подлый русский вор! Я тебя прибью. Будешь знать, как воровать. (румын.)

** Пошла прочь, грязная девка! (румын.)

сты драпали кто в чём - заходили в дома, хватали у людей любые теплые вещи. Натягивали на себя всё, что можно, ехали на подводах, на грузовиках, на мотоциклах, нестройными колоннами потянулись в сторону Ворошиловска (так назывался тогда Ставрополь). Румынский штаб тоже съехал с говоруновского подворья поутру тринадцатого: солдаты спешно погрузили на грузовики какие-то ящики, чемоданы, сожгли в костре посреди двора вороха документов и укатили.

Брат Василий с неизменными дружками, как только последняя автомашина с румынами выехала со двора, засели в старой бане и к вечеру с выгона бабахнул миномёт…

Неугомонные друзья разобрались с нехитрой армейской техникой, установили один из своих трофейных миномётов за баней и выпустили в сторону объездной дороги и зарослей тутовника, что охватывали село с севера, десять мин - весь ящик...

Сначала, когда раздались первые миномётные выстрелы и мины утробно завыли над двором, всё семейство Говорунов бросилось вон из конюшни в вырытые сзади конюшни силосные ямы. Потом отец сообразил, что стрельба идёт с их выгона из-за старой бани и догадался чьих это рук дело:

- Ну, Васька, погоди у меня, чёрт сопатый, доиграешься, - чертыхаясь и хромая, побежал Фёдор Егорович в конюшню. Оттуда он появился с вожжами в руке и направился на выгон к бане, продолжая ругать непутёвого сына. Скоро из-за бани раздались звуки расправы и с воплями врассыпную выбежали горе-миномётчики.

- Что ж вы творите, дурьи ваши головы? - продолжал кричать отец. - Вы же мирных людей могли поубивать, или в нашу, Красную Армию попасть! - Вот воротись только домой, Васька! Я тебе пропишу ещё по первое число!

Но Василий до ночи домой так и не пришёл, отсиживаясь у друга Мишки. А в ночь на 14 января 1943 года, ближе к полуночи, сбив оставленные фашистами заслоны, с трёх сторон в село ворвались советские воины.

Весь Васькин арсенал Фёдор Егорович сдал утром пятнадцатого января советскому командованию. По крайней мере, отец думал, что всё сдал…

В конце января, когда советские войска с боями ушли на запад, Васька со своими дружками снова был в бане. Пашка увязался следом за ними. В бане горел керосиновый фонарь - летучая мышь с закопченным расколотым стеклом. Парни сидели на полу на противотанковых минах-кастрюлях, тротил из которых вытопили уже давно на костре в кипящем котле. Василий со складным немецким ножом, в котором были и вилка, и ложка, и отвёртка, пытался скрутить с немецкой миномётной мины ударный взрыватель в алюминиевом корпусе. Не понравилось это Павлу, ой как не понравилось!

- Вася, пойдём домой, брось ты эту железяку, - заканючил испуганно он.

- Иди отсюда, да помалкивай, - отмахнулся от него, как от назойливой мухи, Васька. - Не впервой делаю. Я уже опытный…

Пашка только успел перейти выгон и уже направлялся в дом, как в той стороне, откуда он только что пришёл, раздался взрыв…

Павел прибежал в баню первым.

Васька был жив, сидел на полу бани весь в крови, прижимая к животу правую руку, из которой хлестала кровь. Двое Васькиных приятелей Колька и Мишка испуганно таращились на вбежавшего Павла. Горел на полу керосин из разбитой лампы, едко воняло сгоревшим тротилом. Семён лежал в углу без признаков жизни. Из небольшой ранки на его виске тонкой струйкой стекала кровь…

Василию взрывом оторвало фаланги трёх пальцев: большого, безымянного и указательного, да осколками посекло живот. Руку наскоро перебинтовали разорванной на лоскуты простынёй. Раны на животе оказались не глубокими, и отец обработал их своими мазями, наложив тугую повязку. До районной больницы, где расположился полевой эвакогоспиталь, было рукой подать: она и дала название улице - Больничная - ещё в начале прошлого века. Василий дошёл туда сам в сопровождении брата и матери. Отец раны на руке врачевать не взялся…

Мина была из числа неразорвавшихся, с подпорченным взрывателем. Он то и взорвался в руках у Василия, когда тот закончил его скручивать и неосторожно ткнул куда-то ножом.

На похороны друга Семёна Ваську родители не пустили от греха подальше…

Воспоминания разбередили душу Павла Фёдоровича, взволновали. Нужно было успокоиться, отвлечься, занять себя каким-либо делом…

А тут и дочь очень кстати подоспела с накрытым для чаепития сервировочным столиком.

От её опытного взгляда не ускользнуло то, что отец чем-то взволнован.

- Нельзя тебя, папа, надолго одного оставлять, - посетовала она, взъерошивая ему седую шевелюру ласковой рукой.

- Чем опять себя накрутил? Ну, как маленький ребёнок, честное слово! Я уже и альбомы все с фотографиями попрятала, и книжек тебе серьёзных не даю читать. Давай-ка чай пить. Костик мёд свежий привёз.

- Не ворчи, Ириша, наливай своего чаю. Всё хорошо. Это я немного детство своё повспоминал, родителей, сестёр с братом. Вот и разбередил душу немного. Всё хорошо! - повторил он, придвигая к себе блюдце с чайной чашкой.

- Человек без прошлого - это человек без будущего. Может и смешно слышать рассуждения о будущем из уст старика, но я всегда был оптимистом. Поживём ещё, дочка! Жаль, что мемуары я не удосужился писать, времени на это не было. А вот рассказывать пока ещё в состоянии. Вот соберётесь все на мой день рождения седьмого декабря, я вам и устрою вечер воспоминаний, - улыбнулся Павел Фёдорович.

Чай дочь заваривала замечательный: с чабрецом, душицей, липовым цветом…

Душистый горячий напиток наполнял тело и душу теплом, умиротворением, мысли разглаживались, текли ровнее, неспешнее.

А день неумолимо скатился к вечеру: закатное солнце уже не грело, а раскалённой болванкой рассыпало последние искры на наковальне небосвода. Малиново-красный цвет его предвещал назавтра ветреную погоду. Вечерняя осенняя прохлада подкрадывалась к ногам и Павел Фёдорович укрыл их толстым пледом из верблюжьей шерсти, привезённым ему в подарок внучкой Настей из Египта. - «Греет не хуже войлочной полсти из овечьей шерсти, что привозили когда-то степняки-ногайцы и калмыки на воскресный базар в Александровское с Чёрных земель», - подумалось ему.

Умиротворённый и согретый, под мерный шум воды из крана на кухне, где дочь мыла посуду и вновь что-то готовила, Павел Фёдорович уснул в своём любимом кресле на веранде. И душа его, лёгкая и светлая, воспарила над садовыми участками Самсоновки, над Московским шоссе ввысь, туда, откуда были видны и кольцевая автодорога, опоясавшая Санкт-Петербург, и сам город, спрятавшийся за частоколом высоток, и свинцово-холодные зеркала Финского залива, и Ладожское озеро. Эту душу-птицу неумолимо тянуло туда, на юго-восток, в предгорья Северного Кавказа, где в ковыльно-полынных ставропольских степях, накрытых частой рыболовной сетью лесополос, привольно раскинулась малая родина, родное село Александровское.

Наверное, души человеческие, как и перелётных птиц, всегда тянет домой, туда, где они родились…

ПОКА В ДУШЕ ЖИВА ОТВАГА

Так жаждет творчества душа,
Глубин, высот и откровений,
Духовным воздухом дышать
И быть в желанном просветленье.

Так жаждет творчества душа,
Таких классических творений,
Чтоб процветал земной наш шар,
Не ведал бед и преступлений.

Так к творчеству извечна тяга,
Как тяготение планет.
И композитор, и поэт

Подобны чудотворным магам,
Пока в душе жива отвага
И божий дар, как солнца свет.

ПЕСНИ МАМЫ

В сельском незаметном флигельке
Пела мама молодая,
А у ног на вязаном платке
Слушал мальчик, замирая.

Он увидел: лодка на реке
Так плывёт, лучи встречая,
Как пчела в душистом цветнике,
Лепестки чуть колыхая.

О, малыш еще не ведал бед,
И не знал, что грянут драмы,
Что в его твореньях зрелых лет

Отзовутся песни мамы.
И душе даруют солнца свет
И любви живое пламя.

ВАЛЬС ШОПЕНА

А вальс Шопена так благоухал
В сердцах девчонок и мальчишек,
Пропах весенним садом школьный зал -
И счастья не было превыше.

И с одноклассницей я танцевал.
Вот заплескался вальс потише.
Ей о Шопене я стихи читал
И знал: она их сердцем слышит.

Тогда помыслить я не мог о том,
Что вскоре нам не хватит скорбных слёз
Её оплакать самым горьким днём,

Что беспощаден так туберкулёз...
И я у школы в сумраке ночном
Услышу вальс Шопена среди звёзд...

***
На школьном вечере поэзии
Играла девочка Шопена.
И наши души явно грезили
О самом-самом сокровенном.

Закат пылал на окнах безднами
И бронзовой казалась сцена.
И звуки ласточками резвыми
Летали в мире поднебесном.

Она сыграла без аплодисментов -
Так потрясённо замер полный зал.
Один из начинающих поэтов,

В углу скрываясь, вытирал глаза.
Дышал он милой Родины приветом
И тихо-тихо: «Боже мой!» - себе сказал.

Василий Поляков.
Маленький концерт

***

Когда на школьных вечерах
Она играла вновь Шопена,
У Вислы я бродил в лугах,
В цветах и травах по колено.

В родимых грелся я лучах
И Родиной дышал бесценной -
Не выразить в земных словах
Её божественного плена.

Я Вислой омывал лицо,
И влажные я гладил камни.
Гортани полевых птенцов

Души касались лепестками.
Шопен звучал, как пред Творцом.
И над Варшавой пели храмы...

***

Над школой журавлиный клин
Прорезал мартовскую синь.
И сразу мы метнулись к окнам,
И не было конца восторгам.

Звучал как будто клавесин
Небесных утренних равнин.
Ты у открытого окошка
В тетрадь зарисовала броско...

Остался твой рисунок-сказка -
Набросок, сотворённый дивно,
Где над вершинами Кавказа

Легко танцует балерина,
За нею журавлиный клин
Плывёт средь облачных седин...

***

Уже совсем седой брожу у школы,
Где в ранней юности звучал Шопен.
И сердцем, думами наполненным
Вновь ощущаю музыкальный день.

Наш школьный сад в осеннем ореоле.
Минуло, Боже, столько перемен.
И я - затворник вольный и невольный -
Внимаю тишине дерев и стен.

Сад поредел. Конечно, он не вечен.
К последней вроде подошёл черте.
А в нём бывали ангельские встречи,

И сад ветвями сочными густел.
И красовался - зорями расцвечен.
Теперь закат чуть плещется в листве.

ПУТИ-ДОРОГИ ПАВЛА БАЕВА

(Отрывок из повести)

***

В середине января 1944 года курсантов отправили в войска на пополнение, а так как они недоучились, то вместо звания офицерского - младший лейтенант, лейтенант, присвоили многим звание сержант, а нашему герою - звание старший сержант.

Где-то на 7-й или 8-й день наступления разведвзводу дали задание отправиться за языком. В группе набралось 8 человек. Кстати, и сержант Перенесеев был здесь. А старшим назначили Баева.

В районе Пулковских высот оборона противника не была полностью прервана. Да и разведчикам не повезло - попали они на минное поле.Трое погибли, в том числе и Сергей Перенесеев. Баев наткнулся на него, присыпанного землей. Троих ранило, и только Павел и еще один боец остались невредимы. Еле дотащили вдвоем раненых.

На другой день на задание пошли 10 человек. Срочно был нужен язык. Разрезали заградительную проволоку. В этот раз разведчиков сопровождали минеры до самых траншей противника. Спустились бесшумно в траншею. Смотрят: идет один фриц и насвистывает. Только он зашел в плащпалатку - и разведчики туда.

- Хенде хох! - и автоматы поставили.

Так сразу трех языков и доставили разведчики. Получилось все на этот раз как-то удачно, можно сказать, играючи.

Утром майор Лихачёв, командир полка, сказал разведчикам коротко:

- Спасибо, ребята!

А вскоре у каждого из ребят за выполнение их первого задания появилась первая награда - медаль «За отвагу».

Оборону противника наши войска прорвали. Часть, в которой служил Павел Баев, двинулась с боями в сторону Пскова. Разведчики наступали вместе с полком.

Дмитрий Гущин. Последние патроны

Но вот наступление застопорилось, и тут же приказ:

- Взять языка!

Днем заметили разведчики, где расположены огневые точки, узнали, где заминировано поле, ориентировочно наметили точку, в которой и надеялись взять языка. В этот раз в группу вошли 9 человек. Разделение обязанностей у бойцов было таково: трое - группа захвата, трое - на левом, трое - на правом прикрытии. И вот разведчики поползли по снегу. Темно, но снег дает чуть свет. Доползли до намеченной точки. Прислушались. Слышно было, как кто-то один закашлялся, но знали разведчики: там, как минимум, два - три немца. Как подлезть? Баев принял решение: бросить гранату и пока враг не пришел в себя, захватить языка. Так и сделали. Сунул кляп немцу в рот, схватили и бежать. Фашисты огонь открыли. Группа прикрытия отстреливалась. Все вернулись целы, сдали языка и пошли отдыхать.

Надо сказать, что за каждого пленного немца наград не давали. Взятие языка - прямая обязанность разведчиков. Бывало, по три раза ползали на передовую или глубже, чтобы добыть языка - раз на раз не приходилось. А когда и кого наградить - решало начальство.

Самого Баева мысли о награждении не одолевали. В минуты отдыха овладевали им думки о девушке - той, что в поезде вместе ехали. Евдокия писала ему письма, и от этих писем мучительно хотелось остаться живым, жениться, работать. Но минут отдыха было мало. Войска наступа-

ли, не давая передышки немцам,чтобы те не могли закрепиться на занятой позиции.

Разведчикам давали задание не только взять языка, но и прощупать, где и сколько немцев находится в определенном месте - проще говоря, устроить разведку боем. И однажды невдалеке от железнодорожной станции Карамышево весь взвод разведки в 18 человек был послан на такое задание.

Чистая поляна, потом лес. Луна светит, хоть иголки собирай. Разведчики пересекли полотно; окопы и влево, и вправо были пусты. В часть доложили: «Путь свободен». Осмелели ребята и стали ходить во весь рост (а окопы были неглубокие), тут пуля и нашла правую лопатку Баева.

«Отвоевался», - подумалось ему, но он напряг силы и, когда санитары перевязали его, сам дошел до полкового медицинского пункта. Там Павла покормили и на машине отвезли в тыловой госпиталь Ранение оказалось сквозным.

***

За две недели лечения в тыловом госпитале Павел Баев сошелся ближе всех с Анатолием, и оба стали проситься выписки, пока их части далеко не ушли.

Вышли Павел и Анатолий к развилке, расспросили постовых, где и что. Их усадили в попутную машину. Ехали они весь световой день. Тут хутор.

- Давай переночуем здесь, - предложил Баев.

Анатолий и шофер согласились.

В одном из трех домов хутора оказались девушки.

- Нас тут трое, - поведали девчата - живем с неделю и, кроме вас, еще никого не видали. Работали у бауэра-латыша.

Хутор оказался сказочно богат живностью - 40 коров, свиньи, овцы. Зарезали бойцы ягненка, девушки нажарили мяса и даже выпивка нашлась.

Переночевали. Разумеется, отдельно. Как говаривали по тем временам - никаких безобразий.

На следующий день попутка довезла Баева прямо в его дивизию, а уж в свою часть было рукой подать. О прибытии Павел доложил начальнику штаба.

Лейтенант Шитиков из Новосибирска с ординарцем обменяли золотые часы на 4 фляги водки, и на чердаке дома разведчики выпили, шутили, смеялись. Баев радовался братству разведчиков, но чувствовал, что он слишком слабеет - и от спиртного, и оттого, что выпросился из госпиталя рано; об этом ему напомнила боль на месте ранения.

Два дня прошли с прохладцей, а накануне 23 февраля лейтенанта Шитикова, возглавлявшего разведчиков части, вызвало начальство. Задание дали ответственное: завтра будет наступление и за оставшееся до него время необходимо выяснить на своем участке все огневые точки противника и добыть языка.

...Поползли разведчики в тыл врага. Вскоре на пути хутор оказался, там двоих оставили, чтобы они при возвращении группы сигналы подавали. Дальше поползли. Теперь перед ними предстали какие-то каменные постройки с пулеметами. В одной из них блеснул огонек. Облазили разведчики места и слева, и справа. В траншеях никого. Баев и еще двое - группа захвата - стали ждать, когда кто-то выйдет из строения. Ждали долго. А время шло. Терпение у разведчиков иссякло. Посовещались и решили: двери закрутить, у пулемета ствол снять. Павел потрогал ствол, помаленьку потянул - тишина. Еще раз чуть крутнул и выкрутил затем весь. Мысль мелькнула: «Сколько их там, немцев? А вдруг полная изба».

Наконец-то немец высунул голову из окна. Василий - член группы захвата - прореагировал мгновенно. Он схватил немца за шиворот, вытащил наружу и заткнул ему рот кляпом. Тот не успел и звука подать Остальные немцы спали.

С хутора сигналы подавал один боец, второй отлучился чуть в сторону и не пришел.

Приползли к своим. Немец по-русски заговорил, его в штаб за полтора километра отправили. А разведчики полезли на чердак, поели и заснули.

Днем появился начальник разведки полка капитан Радченко.

- Пришел вас обрадовать. - Глядя на Баева, сказал: - Тебе звездочку, ребятам - медали.

Через десять дней орден «Красной Звезды» был вручен Баеву, а медали «За отвагу» - шестерым другим солдатам...

***

Вскоре полк пошел в наступление. Оно длилось до апреля. С боями двигались медленно. Не доходя до Пскова, подразделения истощились. В ротах осталось по 18 - 20 человек. Началось их пополнение. Но с освобождением Пскова пришлось погодить. Началась оттепель, слякоть, в низине вечная сырость. Фронт остановился. Заняли оборону. Лишь 17 июля начнется Псковско-Островская операция. О ней пока никто ничего не знает, ее, по-видимому, только начали разрабатывать. А пока стоит апрель 1944 года.

Для разведчиков оборона - самое противное дело. Скажут: «Нужен язык. Но его добыть - не так-то просто. Прежде надо изучить оборону противника. Командование же желает знать сейчас, чем немец «дышит», что у того в голове. А тут еще и время весеннее, распутица. Парадокс: зимой холодно, но в разведку ходить легче.

Но команда поступила, и ее надо выполнять. Несколько дней и ночей внимательно изучали разведчики передовую немцев, наметили объект. Доложили об этом все тому же капитану Радченко. Решили зайти к объекту с тыла, группу создали из 6 человек. Баев - главный. Ровно в 24 часа вышли. Прошли по берегу речки метров двести. Двоих оставили на берегу. Вскоре и объект намеченный оказался рядом. Наткнулись на ход сообщения. Уже

было легче с точки зрения безопасности. Могли, конечно, немцы наших разведчиков окликнуть, но ведь и наши могли ответить по-немецки.

Бойцы шли во весь рост, приглядывались. Послышался кашель. Спол-часа наблюдали. Покурить успели. Вдруг видят: шагает к ним человек. Нашим же убегать некуда. Баев выскакивает и падает немцу под ноги, другие набрасываются на языка и затаскивают его в траншею.

Немец вскорости пришел в себя. Стали ему говорить: дескать, русская разведка тебя взяла, и надо, чтобы ты провел нас через своих, если нет, то придется другим путем выходить.

Пока говорили, немцы наших обнаружили. Пришлось отходить с боем. Итог неутешительный оказался: одного ранило, тяжело, в спину, другого в ногу. К тому же еще в балке застряли. Как же выходить? На двоих - двое раненых и немец еще. Перемотали ремнем ногу как могли. Немца еще раз предупредили: «Не шуметь!» Вскоре к ним на помощь пришли наши: «Давай, давай сюда», - позвали.

Замполит, услышав бой, все время не находил себе места: «Хоть бы один пришел». Когда же увидел всех с языком, пообещал каждого представить к награде и сообщил об этом начальнику штаба. Тот ответил коротко:

- Одобряю.

И командир полка сказал:

- Молодцы, отдыхайте!

***

Несколько дней Баев отдыхал. Как-то уединился он от всех в лесу, лег на траву и долго думал о житье-бытье. В первую очередь пришла в голову мысль о девушке, которая писала ему письма и которой он писал. Причем переписка у них шла регулярно. Она прислала Павлу маленькую фотографию, он же попросил прислать фото побольше, и она исполнила его просьбу. Как же хотелось ему встретиться, как до боли в глазах глядел он на фотографии!

Думал Павел: удастся ли ему уцелеть на войне с его неуемным характером и стремлением быть впереди? Бесстрашен ли был Павел или пули не брали его - кто знает. Но нельзя не сказать, что кроме физической силы, владел еще Баев приемами боевого самбо, по тем временам это была редкость. А как все началось? Встретил он лейтенанта - худенького на вид и росточком даже ниже Павла. Что-то они рассорились, и Баев в драку полез, а тот его кидал, как котенка. И Павел, вместо того, чтобы разозлиться, стал умолять лейтенанта научить и его приемам самбо. Когда же лейтенант узнал (а он сам тоже был разведчиком), что Павел Баев - лучший разведчик полка, снизошел до него и провел с ним несколько уроков.

***

Наступления не было. Это давало противнику возможность день ото дня укрепляться. Стали окапываться основательно и наши части - рыть траншеи, ходы сообщений. Поступало и пополнение, но медленно.

Из числа поступивших Павел выбрал в разведку 6 человек - одни уже были разведчиками, другие желали стать таковыми. Павел позаботился, чтобы новеньких накормили, сам сводил их за получением оружия. Там, конечно, Павла знали, и новеньких вооружили, как надо - легкими автоматами ППС (пистолет-пулемет Симонова). И еще одна приятность: вечером того же дня приезжала кинопередвижка. Прямо в лесу, на деревьях, оборудовали экран, использовав для этого простыню.

Стали проводиться занятия - опытные разведчики делились своим опытом.

Один батальон был в обороне, другой находился на отдыхе. Понятно, что отдых примитивный. Ведь в двух километрах была передовая.

Разведчики бывали на передовой ежедневно. Потом стали брать с собой и новичков - тех, кому придется идти в разведку впервые самостоятельно. Вели наблюдения, изучали обстановку. Чуяли: рано или поздно придется идти в тыл врага.

К началу мая трава пошла в рост, зазеленели деревья. Природа радовала. И мучительно хотелось домой. Но бойцы мысли такие от себя гнали: шла война. И до победы было, ох, как далеко!

Разведчикам, когда есть заросли, - благодать. Можно замаскироваться, спрятаться. Да и ползти по траве - не то, что по снегу.

И вот пришел черед разведчиков. Задание было опять же такое: проникнуть в тыл врага, насколько можно, и посмотреть, что там делается, а языка взять не с самой линии фронта (он знает столько же, сколько и передовые наши части), а опять-таки с немецкого тыла.

Конечно, и психически разведчики были готовы, и местность изучали, да и обстановка благоприятствовала - фронт не был сплошным, Группа из пятерых «стариков» и четверых «новичков» прошла линию фронта без всяких проблем и происшествий. Углубилась в лес. На этот раз с группой разведчиков были еще командир взвода – лейтенант Шитиков и майор из штаба дивизии.

К утру все подошли к дороге. Рассвет наступил. По дороге не было никакого движения. Сели за кустами. Еще не совещались, не было никакого плана действий. Не отдышались еще. Вдруг слышат: машина! С разведчиками был казах - из новеньких. Он без команды, самолично, бросил гранату. Она не долетела до машины, взорвалась в зарослях. Шофер фашистский, видать ас, мгновенно развернул машину, и она умчалась обратно.

- Что же ты наделал? - набросились все на казаха. - Теперь надо убегать, ведь фашист сообщит своим - и крышка нам тут!

Развернули они карту и поняли, что немцы, скорее всего поедут в объезд, а это 2-3 километра. И если двинуться им наперерез - можно успеть. Как разведчики бежали сквозь гущи деревьев, кустарников, канавы, с какой скоростью - не передать. Но другого выхода не было, терять им уже было нечего.

В общем, проскочили. Дорога предстала песчаная. Значит, машины будут двигаться здесь медленно, около 20 километров в час. Ведь песок по колено. Разведчики решили: первую машину пропустить, а вторую взорвать противотанковой гранатой. Поручили одному бойцу: бросай, мол, под радиатор или под передние колеса.

Только отдышались - гул машин. Одна из них проехала. Тут вскоре и вторая показалась. Напряжение у всех разведчиков и майора было, как говорится, на взводе. Каждый волновался: как товарищ гранату бросит? И вот взрыв! Выждав немного, они побежали к машине. Вся ее передняя часть была разворочена и как бы ушла в зад. У водителя полголовы снесло. Рядом офицер. И тоже голова разворочена. Все разведчики в расстройстве: хоть бы кто живой! Открыли заднюю дверцу и глазам не поверили: там сидел полковник СС. Успели ребята у него оружие выхватить. А он на русском языке, разгоряченный, закричал на майора:

- Как вы смеете? Я полковник СС!

- А вы нам как раз и нужны, - спокойно и вежливо сказал штабист. И добавил: - Пройдемте в сторонку...

За эту операцию всех представили к наградам. Лично Баеву вручили орден Отечественной войны первой степени.

***

Наступил черед взятия Пскова. На участок, где стояла часть Баева, ввели свежую гвардейскую дивизию. Дело было ночью. Часть Павла оказалась во втором эшелоне.

Утром загрохотала артиллерия. Полтора часа гвоздила немцев. Да так, что Баев и его разведчики пооглохли. Потом и его часть пополнили солдатами, и пошли они по Эстонии.

В один из дней гвардейскую дивизию перебросили в другое место, а дивизию, в которой был Баев, решили направить для взятия города Выру. Для стимула командир дивизии пообещал на сутки отдать город в распоряжение дивизии. И такое было на фронте, некоторые командиры поступали так и не раз. Это означало для всех полную свободу действий. И вот что тогда происходило.

Вначале захватили железнодорожную станцию, что в двух километрах от самого города. А там - эшелоны, в вагонах - ящики. И начали бойцы их вскрывать, в первом печенье оказалось, во втором - свечи, в третьем - сгущенка. Баев набрал банок сгущенки сколько мог унести.

Тут появился кто-то из старших офицеров и стал кричать:

- Крохоборы, вперед на город!

Разведчики, особый взвод, спрятались в кустах, подзакусили. По пути к штабу обнаружили подвальное помещение, но здесь уже матросы вовсю хозяйничали - в длинных ящиках водку хватали. Разведчики по пять бутылок взяли, отнесли к себе, а потом еще прибежали, но там перед входом уже стояли два автоматчика. Увидели разведчики, как откуда-то солдаты

тащат куриные яйца, и последовали их примеру, нашли, набрали яиц сотни две. Пришли к себе. В чем же жарить? - думать стали. Чтоб сразу на всех пятнадцать человек хватило?

Поскоблили таз и нажарили с салом яиц. Напились все и спать легли.

Город Выру дивизия взяла.

Утром поднимал разведчиков Шитиков. Для них это стало сюрпризом, так как Шитиков, по их расчетам, должен был находиться еще в госпитале.

...Полк двинулся по намеченному маршруту. Впереди шли разведчики. Местность незнакомая, что впереди - неведомо. Стали мечтать: вот бы хоть какой-то захудалый немец попался в этом лесу. И как наколдовали: глядь - идет немец. И только он сел по надобности, его и повязали. Вели и, довольные, шутя приговаривали, хлопая егопо плечу.

- Теперь ты наш друг!

Начальник разведки спросил:

- Как же вы его взяли? Задания ведь не было.

- Да мы и сами не ожидали. Только стали мечтать о немце и вот он... - говорили наперебой довольные разведчики.

***

И снова лес. И все та же Эстония. Штаб расположился на хуторе, рядом речка. Немцы отступили. Разведчики и еще рота солдат были посланы вперед. Смотрят - дом. К нему пошли Шитиков и Баев. Всем велел не двигаться. Ожидать в лесу, не курить.

Подойдя к дому, командир разведчиков и его заместитель услышал немецкую речь. Поняли: разговор идет по телефону. Шитиков рванул дверь и мгновенно получил вражескую пулю в грудь. Пока секунду Баев принимал решение, что делать - немец выпрыгнул в окно и скрылся.

На выстрел прибежали несколько красноармейцев, которые вынесли Шитикова из комнаты в подвал, положили на солому. Ранение оказалось тяжелым. Как могли, его перевязали.

А Баев «сунул нос» в другие постройки и обнаружил свиней. Он поймал и заколол поросенка. Когда обжигал тушку, дым шел большой, немцы, заметив это, стали стрелять из минометов. Пришлось бойцам прятаться в подвал, где находился Шитиков. До обеда надеялись, что к ним хоть санитар приползет. Ровно в обед окружение было снято. Попрощался Баев с Шитиковым, чуял, что это теперь уж надолго, если не навсегда,

С хутора уходить команды не было. Наоборот, поступил приказ: быть на месте, занять оборону. Бойцам доставили пищу, а поросенка они сами сварили.

В этой местности скопилось три батальона. Начальство провело реорганизацию - слили всех в один батальон. С разведчиками провели беседу, рассказали об обстановке. А она была такова. Впереди - небольшой городок. Слева - озеро большое, справа - болото. Дорогу немцы сдерживают.

Если говорить откровенно, наступать нашим было нечем - ни танков нет, ни артиллерии. На этой дороге, если лезть напролом, можно погубить много людей. Кто-то в штабе придумал: сшить красный флаг длиной 2 метра, шириной 1,5 метра и повесить его на самом высоком здании города. О роли флага объяснять не стали. Языка брать не надо. Задача - повесить флаг и все, да вернуться обратно, конечно.

- Сколько тебе потребуется людей? - спросили у Павла Баева.

Тот, подумав, ответил:

- Пойдем втроем.

К полночи флаг из разных кусков красной материи (наскребли у старшин) был сшит, держак срубили разведчики.

Все трое - люди в разведке бывалые - ползли или шли по лесу и по грейдеру неслышно. Тьма стояла кромешная. В городе выбрали двухэтажное здание, впрочем, не выбирали - оно одно там оказалось самым высоким, все остальные строения были одноэтажные. Обошли здание вокруг, обнаружили пожарную лестницу, расположенную на двухметровой высоте от земли. Один разведчик стал на плечи другого, а затем полез вверх. Павел стоял чуть в сторонке, озираясь вокруг. Глаза разведчиков привыкли к темноте, различали очертания зданий. Благодаря этому же и проволоку нашли, чтобы флаг укрепить. Дело сделали. И снова то пешком, то ползком обратно, а это 7-8 километров пути. И только пришли к своим - солнце стало всходить.

...Прибыла машина с громкоговорителем. И полетело к немцам такое обращение:

- Ахтунг! Солдаты! Вы зря держите оборону. Город нами уже взят!

Оглянулись немцы, а в городке и вправду алеет под восходящими лучами флаг. Вот, оказывается, какой «обманный крючок» был придуман в штабе. О, как подействовал он на немцев! Вскорости их на пути не оказалось. Наши вошли в городок. Флаг висел по-прежнему.

Герои в этот же день получили каждый по ордену Славы, а Баеву вручили еще и партийный билет. Случилось все это 10-го или 12 сентября 1944 года.

А через три дня после таких знаменательных событий, в очередной разведке, при попытке выполнения очередного задания, бойцы попали в засаду, и Павла Баева ранило в правое плечо. Пуля прошла навылет. Из засады он кое-как выполз. И попал в полевой госпиталь.

***

Пришла осень 1944 года. Полк Павла Баева прошел всю Эстонию. В разведку долго не ходили. Войска двигались, не давая врагу укрепиться. Команда была одна: «Вперед!» Пополнялись части на ходу; болотистую местность, леса техника обходила или приходилось рубить лес.

Бывали дни, когда разведка шла первой и по лесу, и первой переправлялась через реки, занимая плацдармы. Вели бой, пока переправлялись к ним.

Однажды переправа через реку по многим причинам захлебнулась. И бойцы, а их было человек шестьдесят, стремясь, чтобы немцы не распознали, что их мало, вынуждены были идти в атаку. И мечтали о скорейшем наступлении ночи.

На пути могли попадаться прыгающие мины противника. Они были секретные, появились недавно, и красноармейцы о них долго не знали. Это незнание сгубило многих. При первом же задании из двенадцати человек пятерых убило наповал, четверо получили ранения, то в руку, то в живот, то в ноги. И лишь трое остались невредимы. Столько потерь от одного взрыва - неслыханно. Доложил об этом Баев и понять не мог, как же это произошло. Ломали голову и в штабе. Потом уже узнали коварность новых мин: при зацепке проволоки мина подпрыгивала от земли чуть ли не по пояс человека и лишь тогда рвалась.

Пришлось набирать новеньких в разведвзвод, снова учить премудростям дела. Пока все это происходило, фронт остановился, а раз остановился, то и задание очередное разведчикам поступило: «Взять языка - с передовой или метрах в двухстах от передовой!».

Павел Баев морально к выполнению задания оказался... не готов. Пережитое так проникло в его душу, что он стал неуверен в себе. И если раньше он был бесстрашным, то теперь появился страх. А еще Баев казнил себя за гибель товарищей, считая виноватым себя: что-то проглядел. Слухам о новых минах значения не придал. Конечно, ни подчиненные, ни начальство о том, что творилось в душе командира взвода разведки, не знали не ведали. Баев же внутри себя боролся - вселял уверенность другим, увереннее становился сам. Решение принял быстро: на задание идут двенадцать человек, восемь из них не бывавших в разведке никогда.

На сей раз Баев тактику избрал другую. Он и еще двое (группа захвата) - впереди, а остальные - метрах в 10-15 от них. В случае вражеской стрельбы следовало прикрыть отход, а в общем действовать по обстановке.

Линию фронта перешли - не встретили никого, более двухсот метров в тыл ушли - тоже никого. Укрылись в елях. Прислушались. Вдругзаскрипел снег. Шли трое немцев. Итак, трое на троих: Баев раздумывал: «Благо наши близко, услышат шум - подскочат».

Немцы шагали уверенно. Они шли на замену (об этом наши после узнали), на передовую. Павел кинулся одному немцу под ноги, а затем всадил ему финку в спину. С другим все произошло так же, и лишь третьего связали, кляп ему в рот засунули и под руки повели. Только разведчики во весь рост перебегать стали, как взвилась ракета. Залегли.Поднялись разведчики - пулемет немецкий заговорил. Переждали. И двое поползли с немцем. Десятеро, в том числе и Баев, сидели в лощине. Перевязали двоих раненых. Когда по времени поняли, что наши с немцем должны уже прийти, решили отходить. И только приподнялись, как в двадцати метрах от них, из траншеи, раздался гвалт, и целая цепь немцев появилась. Разведчики вначале ошалели от шума и неожиданности, так как на все сто были уверены, что

там никого нет. Баев чесанул очередью вовремя и другие за ним. Сколько немцев было подкошено - неизвестно. Со страху ему показалось, что много. Метров тридцать ползли по снегу, по-своему же ранее проделанному следу, и отстреливались.

На следующий день начальник разведки объявил:

- Я написал двоим - по ордену Славы второй степени, остальным-медали «За отвагу».

Так для Баева закончился октябрь.

***

Полк, где служил Баев, простоял на одном месте две недели. Другим же была дана команда: «Вперед!» На месте встретили праздник Октября. Настроение было приподнятое; в разговорах звучало одно - уверенность в победе и понимание того, что конец войны уже не за горами.

Наступил рассвет, и все загудело. Артобстрел длился долго, а потом полк Баева стал продвигаться вторым эшелоном по 8-12 километров в день. Но в Ригу полк не попал, а повернул левее от города. Ригу взяли другие, а они задержались, так как оборона оказалась сильнее. Но все же ее преодолели.

Событием стал факт, когда Павлу показали пограничную полосу. Начиналась Германия - логово врага. И Баев, и другие бойцы давно мечтали об этом событии. Они думали, что увидят нечто особое. А оказалось - такая же земля, такие же болота, леса...

Вот и река Неман. Через него действовала переправа. От дотошных офицеров узнали о курсе продвижения на Кенигсберг.

Изменился фронт. Баев со своими разведчиками и, конечно, полком стали относиться к 3-му Украинскому фронту.

Долгое время продолжали идти без боев. Случались стычки местного значения - попадались маленькие группы немцев. Разведчики давно не хаживали за языком. Мало того, они считали, что их больше за языком не пошлют, поэтому активно включились в жизнь полка - раньше все же разведчики были на особом положении.

На одном из привалов, вечером, солдаты выпили более положенных ста граммов, и разведчики стали хвалиться своими успехами. Кто-то подзадорил:

- Да какие вы теперь разведчики?

- Хочешь - сейчас принесем языка, - вскипел Баев. Позвал Михаила Фадеева из Горького. Сказал ему:

- Давай еще Ваньку и Фильку возьмем и докажем, на что мы способны. Ребячество, конечно. Но пыл никто не охладил. Двинулись вчетвером. Ночь. Заприметили сарай. Смотрят, а немец окоп роет. Ну, разведчики все в этот окоп и кинулись. Тесно в нем. Немца схватили, рукояткой пистолета оглушили. Благополучно дотащили языка и вернулись все живыми-здоровыми. Начальство ругать не стало.

ВОКРУГ МЕНЯ - ПОЭЗИЯ ЗЕМЛИ

***

Закат уходит переулком
В просторы светлые полей.
И месяц светит сдобной булкой
Над сизой шапкой камышей.
Покой и тишь, и сена запах,
И грусть плывет себе, плывет
К березам, в ситцевых рубахах,
И спать кому-то не дает.
Опять на ум строка приходит,
Опять Россия - вся насквозь…
Кого-то грусть степями водит,
Кого-то трогает до слез.

***

Предамся забвенью, заплачу,
Устану от песен и слов.
Ну что для России я значу? -
Былинка негромких стихов.
Куда мне за мэтрами гнаться? -
В их воле хвала и хула.
А мне б от земли оторваться
И гордо расправить крыла.
А мне бы все выше, сквозь тучи,
Где ветер умеренно тих,
Где солнца божественный лучик
Рождает бессмертия стих.

***

Опять иду - куда глаза глядят
И где еще летают в небе птицы.
И трактора по полю колесят,
И смотрят с гор заросшие бойницы.
Вокруг меня - поэзия земли,
За ней идти мне далеко не надо:
Вот, словно волны, плещут ковыли,
А вот погост и старая ограда.
А у реки - прогнившая изба,
Как ветряная мельница клокочет.

Александр Гайденко. После дождя. Околица ст. Вешенской

И царствует здесь матушка-судьба,
Хоть и стара, а уходить не хочет.
Трепещется над крышею дымок,
И жарится рубаха на веревке.
А рядом сена свежего стожок
И лошадь с белобрысым жеребенком.
Здесь ветры и печальны, и вольны,
И верх берут над временем жестоким.
И этим духом русской старины
Я пропиталась, видно, ненароком.

***

С небес поэзия спустилась,
И с сердцем стала заодно.
Судьба ли так распорядилась,
Иль свыше было так дано?
Течет родник духовной лиры,
Любви возносятся слова.
И, как набат, звучит над миром:
« Россия есть! Она жива!»

***

Облака, как пузатые бабы,
Животами касаются крыш.
И плывут, как волы по ухабам,
Пожирая лазурную тишь.
Отгорают закаты кострами,
Наступает прощания час.
Смотрит осень пустыми очами,
Издавая молитвенный глас.
Принимая печаль ее сердцем,
Провожала ее за бугор,
Где пытался еще разгореться
Глаз ее затуманенный взор.

***

Последний листок рябиновый
Дрожит у ворот моих.
Туманы плывут долинами
До взгорий, уже седых.
Рассветы скупей и тревожнее -
Прощальный осени крик!
Как будто молитвой Божьею,
Навеки в мой стих проник.

***

У стога теплая лужайка,
Бежит тропинка через степь.
И лета выцветшая майка,
И на столе горячий хлеб.
Бугры, как выспевшие дыни,
Седой и лысый косогор.
Безмолвны степи и долины,
И даль полей туманит взор.
Куда ни глянь - кругом Россия,
А я лишь колос меж стерни,
Который жаткой не скосили,
В степи оставили: «Живи!»

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

(Отрывок из повести)

Основные коренные жители села Крем-Константиновка были переселенцы из Украины, выкупившие вскладчину у кабардинского богатея кусок земли, непригодной для пастбища. Село тянулось вдоль реки Куркужин. Нарядные побеленные хаты утопали в вишнёвых садах, насаженных переселенцами. Через восемь километров протекала река Малка, за которой уже были пограничные казачьи станицы. Поэтому горцы не трогали переселенцев.

Сельчане выращивали хлеб, овощи, фрукты, даже виноград и бахчевые, занимались скотоводством, но жили обособленно. В селе были мельница, маслобойня, кузница, шорная и бондарная мастерские, старинная церквушка, школа, больница и даже маленький кирпичный заводик. Селяне торговали с горцами и братьями-казаками, с которыми роднились и жили безбедно. В селе жили вперемешку украинцы, русские, казаки, но ни одного горца. Старожилы из Украины иногда пытались ворчать: «Понаихалы на готовэ», но молодёжь их урезонивала: «Вам что, земли мало? Да без казаков и приезжих горцы давно бы вас выжили».

Отчаявшись ужиться со своенравной и сверх меры властной матерью, которую не мог урезонить даже отчим Владимира старый казак Иван Иванович, молодая семья, не раздумывая, вербуется на работу на консервный завод, в город Хасавьюрт. Владимир работает там начальником пожарной части, а Мария воспитателем в детском саду, где были под её приглядом и старшенький пятилетний Володя, и годовалый крепыш Коленька. Кажется, вот оно - долгожданное выстраданное счастье, но не тут-то было. Неожиданно тяжело заболел и умер (от передозировки лекарства неопытным врачом) Коленька. И это непосильное нежданное горе привело к такому безумию Владимира и Марии, что они начали обвинять в смерти сыночка друг друга и всё больше

отдаляться, забыв, что их жизнерадостный первенец Володенька уже, как девчонка, плачет и плачет, пытаясь обратить на себя внимание. Но тут грянула война. И предстоящая разлука, неизвестность, враз отрезвили их обоих, заставили вспомнить о Володеньке, о стариках-родителях, о той любви, что свела их вместе, давала силы на поиски счастья.

Владимир в первые часы, как стало известно о войне, был уже у военкомата. А Мария, как решил муж, готовилась к отъезду в Кабардино-Балкарию, к свекрови. Они ведь, как и все тогда, свято верили в скорую лёгкую победу над врагом и даже не представляли всего ужаса предстоящих испытаний для их любви, их счастья быть вместе, растить детей.

Проводив мужа на фронт, Мария попрощалась с могилкой сына Коленьки, умершего некрещеным, и стала собираться в путь. Мария продала всё, что имело какую-то ценность, остальное - просто оставила, взяла за руку враз повзрослевшего Володеньку и пустилась в дорогу к свекрови. Они с мужем думали, по своей наивности, что война, потеря внука сделают мать добрее и человечнее и Марии с ней будет намного легче дождаться скорого, как они предполагали, бесспорно победного возвращения Владимира. Но, несмотря на своё терпение и послушание, молодая женщина, увы, не смогла долго выдержать открытой злобы и презрения свекрови, которая будто с цепи сорвалась, особенно после того, как заболел Манин защитник дед Иван. Старую ведьму раздражало всё, но особенно то, что сноха, как бы она её ни донимала, в ответ молчала или тихо молилась: «Господи, прости нас, грешных». И как только им вручили письмо с извещением, что Владимир пропал без вести, свекровь тут же выставила плачущую сноху и внука за дверь: «Сына нет и вы мне никто». Приютила несчастных соседка-солдатка, деля с ними кров и хлеб, вместе молясь за возвращение любимых.

Почтальонка Вера стояла в раздумье на меже между хатами. Куда нести письмо, адресованное и матери, и жене? В одной хате - пусть и непутёвая, но мать солдата, в другой - жена и сын, что вымолили у Бога весточку из госпиталя. Долго стояла на меже Вера, тоже солдатка, в раздумье, куда же нести. Но, вспомнив, что произошло между свекровью и снохой после первого, принесённого ею письма, решительно шагнула в сторону хаты двух солдаток с детьми. Увидев в руках Веры конверт, Мария, побелев, как полотно, окаменела от страха соляным столбом посреди хаты; прижимая руки к груди и, словно потеряв дар речи, молчала. В её глазах, полных слёз, был такой ужас, что Вера тут же поспешила выкрикнуть : «Да живой! Живой»! Письмо-то из госпиталя, значит жив». Что тут началось! Слёзы, крики радости, смех сквозь слёзы!..

Когда письмо было перечитано несколько раз, Мария, забыв про все обиды, вдруг сорвалась с места и побежала к свекрови. Пулей влетев в хату, счастливая женщина бросилась на шею матери Владимира и, целуя её, как самого родного человека, повторяла всё громче и громче: «Живой! Живой!

Живой!» Свекровь от неожиданности будто онемела и даже не стала, по своему обыкновению, кричать и отталкивать нелюбимую сноху, которая не помнила себя от счастья. Старуха отдышалась от крепких объятий Марии и нарочито грубо буркнула: «Вот придёт муж, да и задаст тебе, что больных стариков бросила. Взяла моду: чуть слово поперёк - из дому». По случаю большой радости в доме и примирения женщин, с печи слез больной дед Иван и сам лично прочёл вслух письмо. Через полчаса Марийка с Володенькой уже были в хате стариков и принялись за уборку. Когда всё засияло чистотой, все были перекупаны, переодеты, как перед большим праздником, Мария обратилась к старикам: «Как вы посоветуете, так и сделаю, но очень хочется поехать к Володе в госпиталь, помочь, увидеться, тем более, это недалеко. Вы, папа, - больны, оставайтесь дома. А я, лучше, упрошу соседку поехать со мной, одной-то, страшно». Свекровь была сердита на соседку за то, что та охотно приютила сноху, не дав возможности вволю накуражиться над Марией. Поэтому сразу же заявила: «Нечего выдумывать, поедешь с отцом и Володей». Старик очень уважал сноху Марию, любил внука и поэтому, несмотря на болезнь, сразу согласился на поездку.

Рано утром следующего дня, прихватив нехитрые гостинцы, они отправились в путь. Когда прибыли на место, госпиталь нашли быстро. Первым нашёл отца Володенька. Владимир после контузии и ранений плохо слышал, почти не говорил, страшно заикался, трясясь при этом всем телом и держась за перебинтованную голову. Но Мария, Володенька и отчим были неописуемо рады встрече и счастливы. Наняв квартиру, Мария со свекром и Володенькой буквально пропадали в госпитале, помогая, чем только могли, по хозяйству, в уборке, чтобы разрешили им быть поближе к Владимиру. Благодаря их стараниям, раненому становилось всё лучше и лучше, его стали даже отпускать ненадолго на квартиру. Свёкор засобирался домой: «Здоровье у меня не очень, да и тебе, Мария, без нас с Володенькой легче и дешевле будет».

Так и решили. Мария оставалась с мужем до его излечения и отправки снова на фронт. Владимир и Мария словно забыли, что идёт война, что это, может быть, их последняя встреча, забыли о прежних обидах и упрёках, они были счастливы, их любовь не горела, а пылала, сжигая все страхи и опасения. Они строили планы, мечтали о скорой победе, о новой встрече, но уже навсегда. Счастливая Мария ничем не хотела омрачать счастья, поэтому ни словом не обмолвилась о своих непростых отношениях со свекровью.

Проводив второй раз мужа на фронт, Мария, ещё чумная от счастья, вернулась домой. Когда свекровь через какое-то время заметила явные перемены в фигуре снохи, то тут же недвусмысленно высказалась: «Рожать не позволю, не смей и думать, вдруг Володька не вернётся, а ты тут нам на шею с дедом ещё одного нахлебника посадишь, незнамо от кого рождённого. Иначе выставлю вон, сейчас не время рожать». Мария даже опешила от таких слов, а потом возмутилась: «Да что вы, мама, такое говорите?

Вот придёт Володя, прощения будете просить за оскорбление, он-то знает, чей у меня под сердцем ребёнок. Я работаю, на шее у вас не сижу, так что не попрекайте». «Ишь, ты, заговорила, молельщица. А что люди подумают, будешь всем рассказывать про госпиталь». «Я знаю, мой муж и Господь, что греха на мне нет» - сказала Мария и, вытерев слёзы обиды, принялась за стирку.

Мария молчала, молясь по ночам, старуха ворчала. Старик охал на печи, сокрушаясь на свою болезнь и немощь, на беззащитность снохи перед бессердечностью старухи, которая придиралась к каждому слову Марии, к каждому взгляду. Запах беды и зла витал в воздухе, вызывая тревогу в сердце, которое совсем недавно было переполнено счастьем и любовью. Мария чувствовала, что за их бесконечную ругань и неприязнь Господь отвернётся и нагрянет в дом беда. И даже не удивилась, когда в их хату вошла, виновато отводя взгляд, с письмом в руке почтальон Вера. Так пришла похоронка, а потом во след, как последняя надежда - извещение, что Владимир пропал без вести. Мария убрала подальше бумаги и словно отключила своё сознание от страшной реальности. Она не кричала, не плакала, твердя, как заклинание: «Неправда, он жив, жив, жив». И раздражая неверующую свекровь, всё просила сына Володеньку: «Молись, папка жив» - и неустанно молилась сама. «Совсем с ума сошла?- кричала свекровь, - Ни я ей не указ, ни бумаги, грамотная больно! Бери узелок с приданым своим, сына, что задурила, за руку, вот оно - твоё нажитое, да и к своей богомольной матери, к такой же блаженной дуре, как и ты. Терпела я тебя, пока был жив сын, а теперь вон, чтобы духу твоего завтра в моей хате не было, вместе с молитвами!»

Мария смотрела на свекровь и думала: «Это она от горя. Сына потерять два раза в жизни это невыносимо тяжело, а тут ещё на зятя пришла похоронка, как тут не сорваться, не разозлиться на весь белый свет. У меня Господь - защита и опора, а ей без Бога в душе тяжелее втрое. Не буду я в больший грех её вводить, уеду на время к маме и сёстрам, даст Бог, не сгину. Успокоится, одумается, назад позовёт, не зверь, сама мать. Прощу и в этот раз, вон ей сколько горя хлебнуть пришлось в жизни. А тут и дед расхворался, нелегко ей».

Взяв узелок и Володеньку за руку, Мария, которой вот-вот уже нужно было родить, отправилась из Кабарды на Ставрополье, даже не сомневаясь, что Господь её не оставит. Как всегда, пожалет Спаситель, ради невинных деток. Одного сына она вела за руку, а второй был ещё под её сердцем. Под сердцем, где жили надежда, что Владимир жив, вера, что всё будет хорошо, и любовь к мужу, к детям и даже к свекрови, которая всё же была матерью её мужа и бабушкой её детей.

Тяжёлая дорога, полуголодное состояние, лютый холод февраля не ожесточили сердца Марии. Уже перед самым городом Моздоком, когда они с Володенькой заночевали в чудом уцелевшей скирде старой соломы, Мария

рассказывала окоченевшему сыну, как счастливо они заживут, когда вернётся папка, как он обрадуется ещё одному сыночку. Она убеждала Володеньку, что бабушка их вовсе не выгнала, что им надо проведать и другую бабушку, которая тоже его любит. Под мамин ласковый голос уснул почти успокоенный сынок, а Мария, чувствуя, что приближаются роды, молилась Царице небесной, прося её о покрове и защите ещё не рождённого младенца.

Только-только забрезжил рассвет, мать разбудила сына, и они поспешили к спасительному жилью. В разрушенном городе, в полупустом роддоме старая нянечка приняла роды. Назло лихолетью, всем выпавшим на Марию испытаниям, родился мальчик-богатырь, точная копия деда Ивана - отца Марии. Пожалев несчастную роженицу и Володеньку, нянечка привела их к себе на квартиру, накормила, чем смогла, отогрела у буржуйки. Когда закончились её скудные запасы, она взяла за руку сына ещё очень слабой Марии и пошла с ним подаяние просить, Христа ради. Немного окрепнув, Мария поблагодарила спасительницу и уже с двумя сыновьями отправилась к матери и сёстрам.

Война согнала её сестёр с детьми и маму в маленькую мазанку из двух комнатёнок, построенную Марфой перед самой войной. Хатёнка до войны служила кухней и временным жильём, так как Марфа и её муж начинали строить дом. Война забрала у сестры мужа, разрушила дом, сделала её вдовой, а её дочурку сиротой, но не ожесточила добрейшего сердца. Евдокия остепенилась. Общее горе, возвращение мужа без ноги, двое детей, заполнили жизнь заботами так, что она и не вспоминала о былых пристрастиях, но время от времени всё же, по старой привычке, срывала свою злость на Марфе и на матери. Мария Марковна - мать Марии, как могла, уговаривала Евдокию не ссориться, просила Марфу потерпеть, так как всем им идти было просто некуда. А тут ещё прибавилась Мария с двумя детьми, разутая и раздетая, слабая после родов и долгой голодной дороги. Мария, видя, как нелегко маме и сёстрам, сразу заверила, что она немного погостит, окрепнет и вернётся к свекрови. О своих проблемах Мария открылась только сестре Марфе, попросив ту никому ничего не рассказывать.

Переждав до весны, Мария взяла за руку Володю, на руки Толика и отправилась назад к свекрови. А вдруг придёт весточка от Владимира, что жив, а её нет. Да и мать Владимира, наверное, одумалась, жалеет. Не железная же она, сердце- то есть, сама мать. «Приду, повинюсь, пусть я буду виноватой, вместе-то легче будет ждать. Да и отчим, наверное, нуждается в уходе. Вот увидит свекровь малыша - Толика и сердце оттает, бабушка всё-таки родная». Так думала Мария по дороге назад.

Но то, как встретила её свекровь, не приснилось бы и в самом страшном сне. Завидев издали Марию с детьми, старуха фурией выскочила из хаты и стала кричать на всю улицу: «Люди добрые, вы только поглядите на эту нахалку, выгнала в шею, а она, нате вам, снова здесь, бесстыжая. Да

не отдам я ни тебе, сучке, ни твоим щенкам законного пособия за погибшего моего сыночка. Пришла, явилась… Я что, обязана твоих байстрюков кормить и содержать?» Из хаты на крики вышел, еле-еле держась на ногах, дед Иван и слабым от болезни голосом стал стыдить разбушевавшуюся старуху: «Да ты, либо совсем с ума сошла, побойся Бога, что несёшь! Это же дети Владимира и его законная жена. Ты что, за деньги готова и совесть продать? Не слушай её, Мария, заходи, пока я жив, ждите Владимира, а там, как решите». Еле-еле дождавшись утра, Мария взяла детей и пошла в правление. Она не жаловалась, не требовала переоформить пособие на детей, она просила позволить ей поселиться с детьми в сторожке на дальней птицеферме и там жить и работать за еду, пока не вернётся Владимир.

Начальство попыталось урезонить её, напомнив, что на Владимира приходили бумаги, и что без вести пропал, и что погиб, а ждать ещё чего-то - значит не верить властям, а это попахивает дурно. Мария плакала и просила так долго, что заплакали и дети. И в конце концов ей всё-таки позволили переселиться на старенькую ферму, приставив для контроля старую деву - дурочку Аню. Та, буквально, на ходу спала, это и спасло от голода Марию и мальчишек. Можно было утаить несколько яиц, а иногда, правда очень редко, курицу, сказав, что утащила воровка-лиса. К тому же, заведующий фермами, одноногий дядя Коля, был человеком жалостливым и закрывал глаза на то, что Мария, работая как одержимая, подкармливала детишек и свёкра со свекровью, рискуя не только свободой, но и, по тем временам, жизнью. Хотя при этом она не жадничала, не наглела, обделяя саму себя и питанием, и отдыхом.

Наступала ночь, Аня заваливалась на свой топчан спать, а Мария спешила накормить досыта своих мальчишек то бульоном с кусочком курятины, то яйцами, и, уложив детей, бежала по темени в село, к голодным старикам. Дед Иван поест немного и Бога просит: «Прости, Господи, Марию, что нас, немощных да деток своих спасает от голодной смерти, а себя марает, беря чужое. Работает за этот наш кусок, как рабыня, прости её и помоги, за доброту и терпение». Свекровь напротив, выпьет бульона, съест свою долю и ну бурчать, глядя на сноху, что сидит в уголке да шепчет: «Господи, прости! Господи, прости!» - «Грех замаливаешь? Что, совестно? Ты на меня не поглядывай, за пособие-то не проси, не отдам. Вот пойду в сельсовет да доложу, что колхозное добро ешь. Упекут тебя в тюрьму. Детей отдам в детдом, не пропадут, как их отец, выживут, и деньги не пойдут прахом, у меня-то оно надёжнее. Не послушалась, родила второго, на мою голову, а Володька-то погиб, вот и вся твоя защита. Уж не серди меня. Одно словечко моё и тебе хана. Вот услышу, что Володенька опять с тобой, дурой, молится о возвращении отца, не пожалею». А дед больной с печи: «Да ты никак рехнулась, старая, она тебя спасает, а ты, неблагодарная, тюрьмой грозишься».

Бежит Мария по темени, умываясь слезами, да молится: «Господи, прости! Господи, прости! Господи, прости!» То ли за себя просит, то ли за мать

Владимира. И вдруг из темени голос: «Стой, Маня, это я - дядя Коля, не догоню-то на протезе». Подходит, а в руках узелочек: «На вот, возьми кукурузную муку. Моя старуха велела твоим детям передать, для приварка. Приходила вчера твоя свекровь в правление, жутко ругалась, что задарма ты, солдатка, с сиротками на колхоз пашешь. И мы в конторе решили, что разрешаем тебе детей прикармливать. А на старуху ты уж не держи обиды. Это она от горя, да и от Бога далеко, вот и вредничает. Вчера пришла к нам посплетничать о тебе, так моя бабка ей такой «Отче наш» прочитала, что она сразу забыла про доносы и где сельсовет. А то, что ты так сильно веришь в возвращение мужа, это хорошо; даст Бог, что ошибка в бумагах, оно бывает. Ты держись, главное, верь». Поклонилась Мария дяде Коле в пояс, поблагодарила за хорошие слова и помощь и пошла с Богом в душе к сыночкам своим, к тяжкому изнуряющему труду, которым она спасала самое дорогое для неё и для Володи - детей да родителей. Бог терпел и нам велел. Без великого терпения и послушания не под силу были бы женщине все испытания и обиды. Не было бы любви к Богу, разве сумела бы она прощать несчётно раз обиды и оскорбления свекрови, жалея ту за безбожие и злость, или сумела бы жалеть, как родного отца, Володиного отчима, перевязывая его раны на ногах, от тромбофлебита.

Закончилась проклятая война, и понемногу стали возвращаться те, кто выжил в её аду. А о Владимире не было больше никаких вестей, кроме последней похоронки. Неспроста сердце Марии ждало Владимира, не веря в его смерть. Владимир был жив. Вернувшись на передовую после госпиталя, солдат заслужил ещё не одну награду за мужество, был ранен, вновь контужен и без сознания пленён. Бежал он из плена два раза, но неудачно. И если бы ни победа и ни освобождение, неизвестно, выжил бы после зверских побоев. Их лагерь освободили союзники и долго уговаривали остаться, стращая сталинскими лагерями, но Владимира, не чувствующего за собой никакой вины, ничего не пугало. Как только их состав пересёк границу, их, освобождённых, пересадили в вагоны для скота и без остановок, питья и пищи повезли за Урал в лагерь, в бараки, откуда уводили на ночные перекрёстные допросы, после которых многие вешались. Владимира спасло то, что попал в плен без сознания, два раза бежал, что не было на нём живого места после немецких овчарок. Три месяца неизвестности, и вот он за воротами лагеря, без денег, без пропитания, лишён всех наград, партбилета, но живой и главное свободный.

Пробираясь домой, удивляясь самому себе, седой не по годам солдат молился, как когда-то в детстве, по дороге из детдома, куда подкинула его с двумя младшими братьями мать, спасаясь от голода. Его уже ничего не могло испугать, удивить, он уже не верил ни в великое справедливое будущее, ни в мудрость отца народов, и только тоска, только любовь к жене и детям вели его на Кавказ. У ночного костра сидел уставший, одинокий, голодный, как волк, человек, для которого огонь костра был единственно до-

ступным благом, согревающим душу и тело, напоминающим об очаге и доме, о пище и уюте, о крове. А из тёмных зарослей на пугающий огонь смотрела пара волчьих голодных глаз. И вдруг их взгляды встретились. Человек не испугался, даже не удивился, он отвык бояться и удивляться, а посмотрел с такой тоской и болью, с таким остервенением, что зверь оцепенел и, не выдержав, завыл, задрав голову, словно приглашая присоединиться. И впервые за последние жуткие полгода Владимир заплакал, вернее, завыл раненым зверем от обиды, от боли унижений и оскорблений, от несправедливости и лживости власти. Он выл, держась за раненую, много раз контуженную, избитую седую голову. И даже голодный волк не посмел помешать солдату наконец-то выплеснуть нечеловеческим воем всю накопившуюся боль и тоску.

Взошло солнце, и его лучи ласково коснулись лица худого, обросшего солдата, лежащего ничком у потухшего костра. От прикосновения первых тёплых солнечных лучей мужчина вздрогнул, открыл глаза и приподнялся, устремив свой взгляд туда, откуда ночью смотрел на него волк. А может, не волк, а смерть, которая уже устала гоняться за ним, ждать, когда он сдастся ей на милость. Она надеялась, что он, маловерный, перестанет просить у Всевышнего сил для жизни. Пусть и не лёгкой, пусть и не сладкой, но жизни - ради любви, ради счастья любить и быть любимым. Подкрепившись ягодами и кореньями, солдат продолжил своё возвращение из небытия, из забвения, по зову любви, по зову сердца. Сердца, которое билось ради встречи с ним, с единственным любимым, дарованным Богом и судьбой.

И вот перед его глазами родное село, где его старики и жена с детьми, с сыновьями, он был в этом уверен, что с двумя сыновьями. Вот оно - село, где он начнёт новую жизнь, забыв всё, от чего так больно и мерзко на душе. Владимир не допускал даже мысли, что его Маруся, его подсолнушек, поверит каким-то бумагам, перестанет ждать. Ему не верилось, что, пережив вместе ад войны, его мать и жена не стали ближе и роднее. Ни в одном письме, ни одним словом Маруся не обмолвилась о ссорах и распрях, значит, всё хорошо. Он так устал, ему так хотелось тепла и покоя, что ноги несли его к материнской хате всё быстрее и быстрее. Буквально влетев в хату, он остолбенел от тишины и, только оглядевшись, заметил, наконец, на кровати отчима, бледного и осунувшегося до неузнаваемости. «Володя!» - прошептал старик и заплакал, то ли от радости долгожданной встречи, то ли от боли. «А где Маруся, сыновья, где мать?» «Мать пошла к соседке, языком чесать. Маруся твоя с детьми, как мать выгнала, на дальней птицеферме живёт и работает, а я вот лежу колодой, не умираю, всё тебя жду, сказать, чтобы ты поменьше матери своей верил, она тебе наговорит. Жена твоя и нас стариков, и сыночков кормит, себя не жалея, работает да всё о тебе Бога просит. А старая над ней как только не измывалась, когда у вас Толик родился». «Так сына Маруся Толиком назвала?» «Ну да, Толи-

ком, как только он и выжил. Выгнала мать Марию-то перед самыми родами, и я не защитил, уже заболел так, что мать верх взяла. Как пришли бумаги на тебя, а потом на зятя, так она совсем озверела, всё вымещала на Марусе бедной. А та только молится, да плачет, да работает, святая она - женщина, Володя».

В хату вошла мать и с порога: «Ой, нашли святую, незнамо откуда нажила дитя, мне на шею решила повесить, святая. Другие дома сидели, старших слушали, а эта, шалава, только и знала, что бегала, лишь бы с глаз моих. Что мать её, что сёстры - непутёвые, вот уж, нашёл жену. Если бы я захотела, давно бы загребли вашу святую, что колхозное добро расхищала да выродков своих кормила». «Да это же ваши, мама, родные внуки, мои сыновья!» «Ой, старуха, побойся Бога, тебя же Маруся кормила да деток, да меня больного. И дядя Коля, она говорила, разрешал ей от правления, не без спросу брала». «Вот я и говорю, шалава, за кусок для детей продаётся, чтобы я молчала да тебе, сыночек, не рассказала. Он - дядя Коля - неспроста её хвалит да жалеет, хоть и старик, хоть и одноногий, но всё-таки, мужик. Ты-то далеко. Да эта потаскуха специально, видно, на самую дальнюю ферму сбежала, от моих глаз, чтобы ей сподручнее гулять было».

Тут Владимир не выдержал и вначале почти шепотом, а потом криком остановил поток грязи, изливаемый на жену: «Я знаю, чей Толик и не вам, мама, бросившую голодных детей, как щенков, у детдома, судить Марусю, никогда никому не поверю, а только ей. Я думал, что общее горе вас сроднит, но не получается. Как я мечтал об этой встрече, но даже представить себе не мог, что услышу такое. Я сейчас приведу Марусю с детьми домой, хватит, все настрадались: и я, и она, и вы, и дети, давайте жить по -человечески, заново, с любовью к друг другу, я вас прошу, мама».

Владимир обнял мать и поцеловал в мокрую от слёз щёку. Мать уткнулась к сыну в грудь и заплакала, приговаривая сквозь слёзы: «Да я что, сыночек, против, разве? Так Маруся меня не простит, не простит, я бы, на её месте, не простила». «Я знаю свою Марусю, мама, она простит, потому что любит меня, потому что ты - моя мать, какая ни есть, а мать. Если бы не её вера, не её любовь, я бы ни за что не выжил, не дошёл до твоего порога, не обнял бы тебя. Что ты на неё всё злишься, всё наговариваешь?» «А всё потому, сынок, что её ты любишь больше меня. Да ещё и старик её только сторону держит, соседки её всё нахваливают, а мне обидно. Выходит, я только плохая, пособие ей не дала транжирить, работать заставила, да и младшего родить позволила не здесь, а, может, я для её пользы и старалась, меньше судить бабы будут». Старик слушает да головой качает: «Ой, ли, старая, ой ли, не верится». «Вы тут, мама, приберитесь, да воды подогрейте обмыться, а я за семьёй побегу».

Владимир поспешил на дальнюю ферму за женой и сыновьями, одного из которых он ещё не видел.

Мария в последнее время не сводила глаз с дороги, ведущей в село, словно чувствуя, что, вопреки всему, вернётся её муж, её защита и опора,

её надежда и любовь, её счастье. Вот и в тот счастливый день, вычищая навоз из сарая, как всегда одна, за себя и за задремавшую на солнышке Анну, она время от времени выходила поглядеть на дорогу. Нужно было спешить, дело было к вечеру. И женщина работала, не разгибаясь, пока не занемела спина. Услышав тихое: «Марусичка!», она охнула и обернулась; в проёме стоял Владимир, её Володя, но седой, как лунь, худой и небритый, со впалыми, как после долгой болезни, щеками, с глазами, полными слёз. Она бросилась к нему и, не веря своим глазам, трогала его загрубевшими руками и всё повторяла: «Живой, живой, живой». Мария целовала седую голову, руки мужа, то плача, то смеясь, и всё твердила: «Живой, живой, живой. Я знала, я знала, что ты вернёшься, что не бросишь нас сиротствовать». Схватив мужа за руку, словно боясь, что он исчезнет, как бывало не раз во сне, Мария потащила его в сторону сторожки, откуда доносились детские голоса.

Когда Владимир зашёл следом за женой внутрь маленького полутёмного помещения, он поразился, как Мария умудрилась вместить там большой топчан с соломенным матрасом, стол и колченогую лавку, если почти треть площади занимала большая плита, на которой стояли кастрюли. В углу, напротив двери, висела икона Божьей Матери с маленьким Христом на руках. На топчане сидел Володенька, а рядом рыжий, как огонь, крепыш, в руках которого было недоеденное яйцо. Старший, видимо, кормил братика, который не очень-то, хотел этого. Володенька посмотрел на мать, потом на отца и, кубарем слетев с топчана, повис у него на шее: «Папа, папочка, папка!.. Толик, это наш папа, Толик!..» Толик вначале молча таращил сонные глаза, а потом так заорал, что в сторожку влетела перепуганная Анна, а за ней приковылял дядя Коля. Все кричали, обнимались на тесном пятачке между топчаном и столом и, наконец, устав, успокоились. Володенька держал брата-карапуза на руках, а тот деловито доедал яйцо - главную улику воровства колхозного добра. Владимир обратился к дяде Коле: «Спасибо вам, что помогли Марии с детьми, век не забуду, я заберу их домой, а завтра она придёт, а может, мы вместе придём, как начальство решит, так и будет».

Когда Мария и Владимир с детьми вошли в хату, Мария первая подошла к свекрови и сказала: «Мама, простите, если в чём-то я виновата перед вами, ради Христа, ради Володиного возвращения, простите и давайте будем жить мирно, по-божески». Свекровь хотела было, по своему обыкновению, что-то съязвить в ответ, но, удивив саму себя, произнесла: «Да что там вспоминать, и я виновата, что было, прошло, жить надо».

Мария принялась хлопотать, греть воду, купать всех, стирать одежду, убираться в хате, которая явно не видела давненько чистоты и порядка.

Выждав для приличия некоторое время, к хате потянулись соседи, родня, пришли и председатель колхоза, и председатель сельсовета. Такое чудо все видели впервые, чтобы после похоронки, после сообщения, что пропал без вести, солдат вернулся живым, пусть и намного позже других, пусть и

без наград, но живым и свободным. Начальники порасспросили немного солдата и, приказав завтра утром явиться в контору, ушли, а остальные, как и водится, остались. На столе появились неведомо откуда взявшиеся, самогонка, мамалыга, лук, несколько картофелин и два яйца; и начался пир на весь мир, с поздравлениями, слезами радости и горя вперемешку.

Наутро в конторе Владимиру ещё раз напомнили, что награды просто так не отбирают. И предупредили: чуть какое неподчинение или недовольство - выгонят из колхоза. Работать позволили конюхом, добро недалеко от дома, Марии было определено место в женском звене по прополке. «Но помни, солдат, за тобою глаз да глаз, до выяснения обстоятельств, а каких - неведомо. Налоги платить - первым, какую-то помощь из колхоза, скажем, телегу на базар съездить, сам понимаешь, в последнюю очередь получишь, пока не разъяснится, что да как с тобою быть; не обессудь, солдат, если когда и вызовем на правление или в сельсовет, время такое, строгость нужна. Особенно с такими, как ты».

Вскипел было Владимир, да и осёкся, вспомнив про жену с пацанами, про стариков, про отчима, доживающего последние дни. Нагнул солдат израненную седую голову пониже и шагнул за порог конторы.

Через неделю умер отчим, заменивший ему и Марии отца, а мальчишкам деда.

Владимир с детства очень любил лошадей, он - бывший кавалерист, лихой казак, не мог видеть, если кто бил лошадь. Недалеко от хаты Владимира, у одной из вдов, поселился неведомо откуда прибывший мужик по фамилии Цымбалюк, отличавшийся нелюдимостью и тем, что терпеть не мог детей и животных. Принимая во внимание бычью силу, его назначили помогать кузнецу. И когда у лошадей меняли подковы, Бирюк (так его прозвали бабы) буквально зверел и лупил лошадей почём зря. Это и стало причиной первой стычки Владимира и Бирюка. «Ты что, фашист? Чего над животным-то издеваешься? Ещё раз увижу, за себя не отвечаю». «Ты бы молчал, сам у фашистов был, меченый. Твоё место на Соловках вместе с твоей молельщицей святошей и выродками». После этих слов Владимир, не помня себя, ринулся на Бирюка и если бы не подоспевшие мужики, удушил бы. Цымбалюк не на шутку тогда испугался, несмотря на свою силу, он, явно, был трусоват.

К вечеру об их стычке знали все, благодаря длинному языку бабы Оксаны, которая в основном разносила по селу все сплетни и новости. Слывя дурочкой, она не работала, кормили её всем селом. Дошла новость и до Марии. И когда она с бабами возвратилась с прополки, то не помчалась, как обычно, домой, а направилась ко двору председателя сельсовета. Увидев бледную от волнения Марию, тот поспешно залепетал: « Ну что ты так волнуешься, на чужой роток не накинешь платок. Что тут обижаться, глас народа…» «Ах, это глас народа? Да я завтра пешком в район пойду, я добьюсь, откуда взялась эта гнида, и вам не сносить головы. Что, власти дур-

нее вас, посчитав, что Владимир не виноват, а иначе бы посадили. А вы тут его, контуженного, раненного, совсем затравили. Не дашь телегу, за ночь дойду, ты меня знаешь. Мне терять нечего».

Вернувшись домой и увидев, как муж стонет, держась за раненую голову, лёжа на кровати, лицом к стене, Мария бросила свекрови на ходу: «Вы тут, мам, глядите, я скоро». И метнулась из хаты. Вернулась Мария к обеду следующего дня на машине с двумя военными, которые через два часа уехали обратно, но уже с Цымбалюком. Через неделю они вновь приехали, но уже без Бирюка; собрали сельчан на сход и объявили, что Цымбалюк вовсе и не Цымбалюк, а полицай Гринь, которого давно уже разыскивали, чтобы судить.

С тех пор прекратились внезапные беспричинные обыски сараев и чердака, ущемления в оплате, накручивание налога со стороны рьяного председателя сельского совета, двоюродного брата вдовушки, приютившей пришлого, безродного Цымбалюка - Гриня. А через некоторое время, когда умер Сталин, рано утром ко двору подъехала машина и двое военных увезли Владимира, не объясняя Марии - куда и зачем. Целый день бедная женщина молилась на коленях, прося помощи у Бога. А вечером, распугивая коров, возвращающихся с пастбища, та же машина подъехала ко двору, и из неё вышел её любимый муж, бережно держа в руках красную картонную коробку с возвращёнными наградами.

На следующий день вновь приехала та же машина, собрали сход и объявили о реабилитации… Начальство рьяно начало чествовать Владимира и по поводу и без повода нахваливать Марию и их детей…

О МОЁМ ПОКОЛЕНИИ

Мы родились, когда уже
Война закончиться успела,
Когда вернувшихся мужей
Жизнь дома обогреть сумела.

Нас было мало, как и тех,
Кого с войны так долго ждали -
В посёлке четверо детей
Играли в папкины медали.

Полсотни тётенек чужих
На нас завистливо глядели.
«Ага, ага, мой папка жив!» -
Хвалились мы - они бледнели.

Но, слёзы сдерживая еле,
Ласкали все нас, как могли,
И все любили, как умели,
И всем посёлком берегли.

За шкоды нас порой бранили,
Но после, выйдя за порог,
Украдкой тихо вслед крестили,
Шептали нам: «Не дай-то Бог…»

***
Сидели бабы за столом, грустили
О тех, кто не вернулся с поля боя.
Печалясь о себе и о России,
О чём-то рассуждали меж собою.

Был день погожим, светлым, пахло счастьем,
И праздником, и свежею листвою…
Теперь хоть всеми красками раскрасьте -
Жизнь серую не сделаешь иною.

А вот тогда, в искрящемся задоре,
Смешлива, как на выданье невеста,

Артём Алмосов. Закуривающий

Вдруг жизнь прошлась по грустному подворью,
Не находя от возбужденья места.

То плечиком кого-нибудь заденет,
То словно вихрь, по комнатам промчится…
В станице не наличье благ и денег
Давало повод жизни веселиться.

А жизнь, мелькнув в соседском коридоре,
Пошла беспечно вглубь станичных улиц…
Тогда в любом дворе гостило горе -
С войны тогда немногие вернулись.

За жизнью потянулись следом люди,
То ль очередь занять, то ль в хороводе…
Кто этих горемык теперь осудит -
Поминки ведь совсем не праздник, вроде?..

А вот тогда, на улицах станицы,
Собрав народ, от горя обалделый,
Жизнь продолжала петь и веселиться,
Пока станица тоже не запела.

Кружилась жизнь, покачиваясь в танце,
Раздался круг - и жизнь пошла по кругу
И люди, перестав беды стесняться,
Кружили жизнь в объятиях друг друга.

Кружилось всё: и головы, и небо,
Переплетались судьбы, ноги, руки,
Перемешались в танце быль и небыль,
И радость встреч и чья-то боль разлуки…

Летело время, ввинчиваясь в вечность,
Часы казались долгими, как годы.
Забытое веселье, подбоченясь,
Кружилось в окружении народа…

Устала ль жизнь, а может, мы устали,
А, может, время сдвинулось в пространстве,
А, может быть, забытые печали,
Вернулись из своих недолгих странствий.

Но всё переменилось почему-то:
Примолкли песни и разнялись руки…
Так коротки беспечности минуты,
И так длинна с беспечностью разлука.
Я жду, когда опять пойдёт по кругу
Кружиться жизнь, весельем заражая…
А люди, сторонясь теперь друг друга,
Проблемы одиночества решают.

И тоже ждут, печалясь о России,
Но, всё же больше о себе любимых…
Вот, только всё - о чём бы ни просили -
И проходило, и проходит мимо.

***
Тропой, уже почти заросшей,
Давно не видевшей прохожих,
Петляю в зарослях лесных,
Почти совсем теряясь в них.

В кустах ручей неторопливый,
К ручью склонившаяся ива
И хлипкий мост через ручей…
Куда ведущий?.. И зачем?..

Там, за ручьём, в раздольях луга,
Тягучий запах медовухи…
И дальше берегом ведёт
Тропа за дальний поворот,

Где куст шикарный иван-чая
(Не всех прохожих так встречают),
Склонился в пояс у тропы
(Так просят милостей судьбы).

Но я, как большинство прохожих,
Шепнув привычно: «Бог поможет…» -
Шагаю дальше по тропе
К своей неведомой судьбе.

Ручей в кустах своё бормочет
И не понять, чего он хочет?..
Наверно, бедный, заскучал,
Давно прохожих не встречал…

Ну, что ж, присяду, поболтаем,
Глядишь, часок и скоротаем
И дальше, всяк своим путём,
Опять к концу пути пойдём.

***
Всё в жизни до примитивизма просто,
Здесь ценят: повезло, не повезло.
Слова, что однозначны с саблей острой,
Считаются расплатою за зло…

Так засоряя грязными словами
Источник, из которого мы пьём,
Живём всю жизнь с больными головами,
Кляня своё неладное житьё.

В больной душе недужные желанья.
Что было и что будет - всё равно.
По глупости, а может, по незнанью,
Мы что-то растеряли и давно.

Нас греет солнце, нас ласкает море,
А мы - то ищем истину в вине,
То меж собою, то с природой спорим,
Находим виноватых, но извне.

Взрослеем. Что-то в жизни получилось
И мы спешим успеть и преуспеть…
А счастье в буднях жизни растворилось
И плачет сердце, а хотело петь…

Огонь любви уже не жжёт, не греет,
Лишь множатся ошибки прошлых лет.
Мы, вроде бы, становимся мудрее,
Но ждём, когда нам Бог подаст совет.

Нам к Богу б стать хоть капельку поближе,
Покаяться в ошибках и грехах…
Но мы всё ропщем, что нас Бог не слышит,
Что жизнь, как ночь тревожна и глуха.

Бог терпелив и милостив, покамест.
Он многое прощал и вновь простит…
Опять весна, опять на ветках завязь,
Дай Бог, чтобы успела доцвести…

***

Вниз от разрушенного храма
Десяток черепичных крыш,
Как провалившиеся в яму
С мольбой последнею: «Услышь…»

Да нет, конечно, показалось,
Здесь тишь да гладь со всех сторон…
Руины только и остались,
Как явь беспамятных времён...

Мы здесь, чтобы купить картошки.
Картошки много, но цена…
«Ну, уступите ж хоть немножко», -
Чуть ли не плакала жена.

И я просил: «Побойся Бога,
Кого ж ты грабишь, посмотри…»
Хозяйка вскидывалась строго:
«Не хочешь кушать - не бери!»

Купил… А что мне оставалось…
И вышел, затворяя дверь.
Ну, что ж, наверно, показалось…
Не Бога молят здесь теперь.

И вспомнил год послевоенный:
Мы с бабушкой вошли в село,
Брели с надеждой откровенной,
Чтоб нам с ночёвкой повезло.

И нас зазвали, накормили
И предоставили ночлег…
Всё пополам тогда делили:
Беда была одна на всех.

А утром - завтрак, как награда,
Мол, это всё, что я смогла…
«Возьмите хлебца, Христа ради», -
Хозяйка свёрток подала.

И проводила до покосов,
«Бывайте с Богом» прошептав…
Сегодня, Христа ради просят,
А не дают ради Христа.

Что ж с нами сталось? Обнищали?..
Так ведь от голода не мрём…
Живём по правилам прощанья
Со всем, чем мы ещё живём.

А дальше что? И что в итоге,
Неужто деньги вместо душ
Теперь нужнее стали Богу?..
Недаром здесь такая глушь…

БЫЛО - НЕ БЫЛО...

(Отрывок из повести)

Чем дальше ухожу с возрастом от детства и юности, тем чаще тревожат милые сердцу воспоминания.

1963 год, мне скоро семнадцать лет. С нетерпением жду окончания десятого класса, чтобы без промедления подать документы на поступление в среднее-техническое Астраханское мореходное училище, на штурманское отделение. Пока море видел только во сне, начитавшись Жюль Верна, Новикова-Прибоя, Александра Грина и уж не помню, других, наших и не наших «моряков». Родители против моей моряцкой затеи. Мать, Прасковья Захаровна, протестует робко, мол, что за жизнь на воде, к тому же, моряки часто тонут. Сама также никогда не видела ни моря, ни моряков, разве что в кино.

- Утонуть, мам, можно и в нашем гнилом пруду, - резонно возражаю матери.

Пруд рядом, в ста метрах от нашего дома и в нем каждое лето тонули пьяные мужики и закупавшиеся дети.

- Ты мне, парень, выбрось из головы эту затею, - агрессивно наступал отчим Константин Андреевич. - Поступай в сельскохозяйственный техникум или даже в институт на зоотехника, а лучше на ветеринарного врача - сыт, пьян и нос в табаке. Глянь на нашего ветврача Семеныча…

Отчима я уже не боюсь как прежде, но предпочитаю отмалчиваться, жалеючи мать.

И вдруг, наверное, после зимних каникул, объявление - мы не выпускной класс и нам, десятиклассникам, предстоит учиться в одиннадцатом классе.

Помню, не очень огорчился. Что решено, то решено. Удивляюсь, но с годами стал робче в принятии того или иного, даже, казалось бы, пустякового решения.

- Вот тебе, парень, и юркни в дверь! - торжествовал мой батька, всегда желавший мне только добра, но на свой лад. Сам некогда едва одолевший три класса, он желал видеть меня образованным. - Ничего, вот поучишься еще годок, оно и пересохнет - твое море.

Я в душе лишь усмехался на его слова. Нет, оставаться дома я уже не мог и прохладные отношения с ним в последние годы утверждали мое решение. Может быть, год-два как он перестал меня пороть кнутом за всякую провинность. Теперь он клонился долу, я же набирался сил. Тягал во дворе гири, охаживал кулаками мешок с опилками, потом, у него же, отчима выпросил восемь рублей и купил настоящие боксерские перчатки, продававшиеся в нашем райцентре.

А, вообще-то, тогда батьки нас пороли ремнями поголовно, но мой - кнутом. Работал в колхозе табунщиком, конюхом, объезчиком и кнут всегда был под рукой.

Мой отчим очень сложный человек. Прежде всего пьяница с изломанной судьбой. В семнадцать лет попал на Великую Отечественную. Воевал недолго. В рукопашной немец проткнул штыком бок. Залечил в госпитале и снова на фронт. Следом перешибло-раздробило крупнокалиберной пулей левое предплечье - это было уже серьезно. Остался калекой на всю жизнь. После долгого пребывания в госпитале комиссовали. Домой, на Ставрополье, не поехал, решил свет повидать и пошел колесить по матушке России. Было ему восемнадцать с небольшим хвостиком. В сорок третьем здоровому жить было не просто, а калеке… Сам признавался, спасала только красивая морда да нахальство. Побирался. «Век не забуду сколько воды тогда выпил, - рассказывал мне с усмешкой, в изрядном подпитии. - Стучусь в первую попавшуюся дверь, молю бога, чтобы вышла старуха или тетка постарше. Нет, выходит девка. У девки просить кусок хлеба - стыдно. «Дай воды напиться», - говорю ей. И пить ту воду на голодный желудок приходилось часто…».

Рассказывал только в подпитии. Я любил его слушать.

Не раз приставал в примаки к истосковавшимся по мужикам вдовам-солдаткам. Благо, парень был видный, да с одной рукой не добытчик. Она, рука, была и вторая - левая, но способна разве что цигарки крутить в помощь правой.

На одном месте не задерживался. Наскучило, попросту убегал от очередной сожительницы и переезжал в другой город, то есть бродяжничал. Не один год прошел. Война кончилась победой, а Костя Ручка, дали такое прозвище в какой-то шайке, все кружился, словно щепка в половодье. Наконец прибило к саратовской зоне. Попался с подельниками на воровстве государственного имущества. В подробности не вдавался, не любил вспоминать подробности. Дали немного. Работой не маяли, как-никак фронтовик-инвалид, да к тому времени и тертый калач.

К нам, то есть на саратовский хутор Ивановский, Костя Ручка припожаловал в 1951 году. Сошел на нашей станции не случайно, а в гости к угрюмому бобылю Назарову, с которым сиживал на зоне. Пошумели мужики, обмыли встречу, повспоминали житье безрадостное, и задержался Костя у Назарова, даже в правление колхоза наведался на предмет работы. Устал бе-

Валерий Арзуманов. Август

гать или что другое, не знаю, чем ему понравился наш нищий невзрачный хутор. Правда, железка рядом и город Саратов в тридцати километрах.

Я первый познакомился с Костей, дядей Костей. Его определили конюхом к нашей немногочисленной конюшне, у которой целыми днями околачивалась деревенская пацанва. Любил и я лошадей до самозабвения. Дядя Костя позволял нам чистить у лошадей стойла, самому было тяжеловато управляться с этой работой, закладывать в колоды сено, редко овес. Главная награда - водопой, верховая езда охлюпкой до пруда и ночное бдение летом у костра со старшими ребятами.

Моя мама вместе с бабушкой Наташей, дебелой моложавой вдовой-солдаткой, работала дояркой на ферме. Мы с мамой жили отдельно от бабушки в небольшой хате, но рядом, одним двором.

Наша хата состояла из сеней, кухни и комнаты. Моя кровать стояла на кухне возле печи. Однажды, проснувшись, услышал за дверью в комнате разговор - голос мамы и чей-то знакомый мужской. Прошлепал босиком до

двери, приоткрыл и увидел в кровати рядом с маминой головой на подушке голову дяди Кости.

Мне в ту пору шел шестой год и я был смышленый малый. А дядя Костя стал жить у нас. Мама, как говорят, цвела и пахла, а бабушка отнеслась к новоиспеченному зятю настороженно. Он на год был моложе мамы. Ему стукнуло двадцать семь, маме двадцать восемь, а бабушке под шестьдесят. Папой дядю Костю я стал называть, наверное, в первый же год совместного сожительства.

Меня всегда тянуло к старшим. Но старшие пацаны часто пренебрегали мной из-за моего малолетства. Иногда брали, а то и не брали в ночное. Если случалось лезть в колхозный сад за яблоками и грушами, то меня ставили разве что на атасе и т.д. Теперь же мне завидовала вся пацанва Ивановки. Во-первых, приобрел батьку, далеко не у всех были батьки. Во-вторых, стал чуть ли ни владельцем целой конюшни лошадей, в которой преобладали клячи, надорвавшиеся на тяжких колхозных работах. Из колхозной техники в ту пору запомнилась разболтанная, дребезжащая на многочисленных ухабах полуторка, да два трактора-колесника - колеса железные на шипах.

Теперь я охлюпкой вволю катался на лошадях. Иногда так набивал задницу об острые хребты, что приходилось долго ходить раскорякой. Летом отчиму вменяли ездить на паре лошадей, запряженных в повозку с железной бочкой и заправлять горючкой трактора в поле. Были и другие поездки в соседние деревни. Нередко отчим брал меня с собой. Заходили с ним в сельские универсальные магазины, в которых продавали все - от керосина, немудреной одежки, до пряников. Себе он брал белоголовую или красноголовую чекушку водки, мне лежалых пряников или ком слипшихся конфет-подушечек. Какие-то деньги у него всегда водились. Транспортное средство на руках - это много значило на деревне.

Чекушку отчим выпивал из горлышка тут же у магазина, закусывал цигаркой и мы ехали дальше.

Подобрела к отчиму и бабушка Наташа. Она издавна гнала на «бытовые нужды» свекольный самогон. Угощала по праздникам товарок, таких же вдов-солдаток, коих было много на деревне, прикладывалась сама, наливала и Костюше, так стала звать бабушка зятя.

Узнав, что я могу бегло читать (мама научила по книжкам-раскладушкам), отчим очень удивился и в конце августа 1952 года повел меня к директору деревенской школы-четырехлетки Ивану Ивановичу Слотину. Перед нашим походом батька видно для храбрости употребил бабушкиного зелья. Крепок, но и вонюч был тот самогон.

Пришли мы прямо на дом к директору. Иван Иванович колол во дворе дрова. Был он, наверное, единственный интеллигент на всю нашу деревню. На люди выходил в костюме, при галстуке, со всеми был вежлив и на «вы». Он и дрова колол в чистой, как говорят, выходной рубахе и таких же брюках без заплаток.

Иван Иванович знал меня хорошо. Я еще прошлой зимой бегал в школу послушать, как учительница первых классов Надежда Дмитриевна читала ученикам русские сказки.

Поздоровавшись, мой батька сразу же взял быка за рога:

- Вот, Иван Иванович, грамотюку привел, можно сразу во второй класс записывать…

Батька, наверное, слишком близко подступил к директору. Тот невольно отшатнулся, опаленный славным запахом бабушкиного самогона.

- Знаю я вашего грамотюку…

- Так знаете, Иван Иванович, - бесцеремонно перебил батька Слотина, - газетку читает, как профессор, сам проверял, так что во второй класс…

- Дело в том, что лета не вышли вашему профессору, - сказал с улыбкой Иван Иванович, опять отстраняясь от неуемного батьки. - Вот на следующий год, пожалуйста…

- Так газетки читает, паразит!

- Хорошо и пусть читает, - соглашается Иван Иванович. - Дело в том, что наша маленькая школа перегружена ребятами из соседних деревень…

- Грамотюка же - газетки читает! - не унимался отчим. - А то, Иван Иванович, я вам, может, дровец хороших подкину…

- Ну это уж совсем лишнее, - худощавое, мало загорелое лицо директора слегка забурело. - Поверьте, мальчик ничего не теряет. Тропка в школу им уже натоптана, так сказать, вольным слушателем.

- Ну, вольным так вольным, - на вздохе согласился отчим. - Пошли, Вовка, не повезло тебе…

- Почему же не повезло? - улыбнулся Иван Иванович. - Думаю, что Володе придется учиться долго, пусть пока отдыхает.

Он был прав, Иван Иванович Слотин. Учился я долго и трудно. Одиннадцатый класс заканчивал в вечерней школе, будучи женатым.

Шесть лет учился заочно в Московском Литературном институте, уже имея двух сыновей. И всегда меня и мою семью материально поддерживал мой отчим Константин Андреевич Маляров. Он очень хотел видеть меня образованным.

На следующий 1953 год - год смерти Сталина я благополучно пошел в первый класс к моей любимой учительнице Надежде Дмитриевне.

А под новый 1954 год, в последних числах декабря, у меня родились сразу два братика Федор и Александр. Родились дома. Меня ночевать отправили к родне. Утром я пошел на школьную елку, потом с подарком прибежал домой и увидел измученную домашними родами маму в постели, хмельного отчима и в оцинкованном, застеленном ватным одеялом корыте двух крохотных существ. Потом я узнал, что мои братья родились инвалидами. Мама до последнего дня перед родами работала на ферме, боясь передать свою группу коров в чужие руки. А вообще-то, тяжкая доля бабы в деревне в те годы мне известна не понаслышке.

Однажды отчим получил письмо с родины от сестры Евдокии и тут же засобирался на таинственный для меня Северный Кавказ. Вскоре он уехал.

- Все, Паша, поминай как звали твоего кавказского орла! - с горечью сказала баба Наташа матери. - Напакостил и в кусты.

- Приедет, - просто ответила мать, - а не приедет, то бог ему судья.

- Жить-то как станешь с тремя - двое калек на руках?!

- Проживу.

Мама, едва оправившись после трудных родов, вышла на работу к своим Зорькам и Красоткам.

Бабушка Наташа из-за внуков вышла на пенсию. Теперь она нянчила моих несчастных братьев-инвалидов, а ее стадо коз - голов пять-шесть - полностью перешло на мое попечение, кроме дойки.

Отчима не было долго - больше месяца. И он о себе не подавал никакой весточки. Баба Наташа извела дочь попреками. Мама отмалчивалась, видно тоже засомневалась в Костюшиной верности.

Но однажды, ранним летним утром, на самой зорьке, когда бабушка поднимала меня на пастьбу ненавистных непослушных коз, мы услышали в сенцах возню и на пороге возник веселый отчим:

- Ну, здравствуйте вам!

- Здравствуй, Костюша! - несколько опешив, произнесла бабушка. - А мы уж думали, что тебя черти без соли съели…

Я бросился к отчиму на шею. Он поставил на пол чемодан, сбросил большой заплечный сидор, обнял меня. Мамы не было, она до света ушла на утреннюю дойку.

Отчим навез кучу гостинцев, в основном, продуктов: сала, домашних колбас, залитых свиным жиром, полную наволочку кураги и прочего, а еще большую бутыль красного виноградного вина:

- Тебе, старая, вез, - передал бутыль бабушке Наташе. - Ты небось, кроме своего буряка, ничего другого и не пробовала…

Южный поезд на Саратов и нынче проскакивает Ивановку на заре.

Спустя месяц мы всей семьей ехали на такой привлекательный и таинственный Северный Кавказ, где растут виноград и абрикосы, а еще пекут белые-пребелые огромные хлебы. В дороге родители намаялись с моими братьями - Федором и Александром. У обоих ножки были в гипсе, после недавних операций. О дальнейшем и долгом-предолгом лечении отчим и слышать не хотел:

- У нас в Ставрополе врачи не чета саратовским коновалам, - твердил он. - Там быстро хлопцев на ноги поставят.

Он очень ошибался, мой отчим. Лучше саратовских врачей в Ставрополе не оказалось. В саратовской клинике даже ему предлагали сделать левую руку рабочей. Отказался.

Лето. В переполненном общем вагоне невыносимая духота. Дети без умолку кричат. Соседи недовольны. Отчим бесстрашно посылает всех на

… И его боятся - боятся побелевших в ненависти и ярости глаз фронтовика-инвалида. Таких сумасшедших глаз я насмотрелся. Они были у всех фронтовиков-инвалидов, когда те распалялись по какому-то поводу. Отчим и драться умел - позже сам видел не раз, как возле колхозной чайной бывший зек Костя Ручка одной правой валил крепких мужиков.

На какой-то остановке отчим выскочил из вагона и вскоре вернулся с бутылкой желтого ликера в руках. По столовой ложке в рот каждому брату - и до самой Кавказской оба спали без просыпу, едва не прикончив бутылку. Начиналась новая жизнь.

Для чего я сделал такое длинное отступление? Для того, чтобы читатель и, в особенности, родные и близкие, носящие фамилию Маляровы, не подумали, что их не родной по крови потомок Константин Андреевич Маляров был тираном и самодуром. При всех своих недостатках, коих немало в каждом из нас, он был человеком.

А тогда я почувствовал себя взрослым, прочел множество книг, мне хотелось своими глазами посмотреть на мир, но для того надо было выйти из под жесткой, единственной крепкой длани отчима.

Но возвращаюсь, как говорят, к своим баранам. После окончания десятилетки я взял справку об образовании. Еще раньше отправил в Астрахань документы со справкой об окончании девятого класса. Школа, мама и божья на то воля позволили выхлопотать мне в райцентре паспорт. Тогда колхознику и даже его взрослым детям, желавшим покинуть село, было непросто получить паспорт. Юноши с нетерпением ждали призыва в армию, чтобы после службы с военным билетом на руках не возвращаться в «родной» колхоз, а ехать куда хочется и там получить паспорт.

О моем отъезде в Астрахань отчим узнал от почтальонки, которая принесла мне вызов на экзамены в Астраханское мореходное училище.

- Поезжай верхом на палочке! - злорадно воскликнул он. - Ни копейки не получишь!

Этот вариант я предвидел загодя. Летом я работал прицепщиком в тракторной бригаде и у меня были кое-какие собственные сбережения, коих хватило бы на билет до Астрахани, а там… как-нибудь выкручусь.

Запыхавшись, на автостанцию примчалась моя мама. Отчима она пока побаивалась. Вручила мне семьдесят рублей - по тем временам ее месячная зарплата.

- Храни тебя Бог, сынок! - она поцеловала меня в лоб и пошла прочь, прижав к глазам концы головного платка.

Я благополучно прибыл в Астрахань на улицу Богдана Хмельницкого, где и находилось мореходное училище. Три экзамена я сдал с двумя четверками и тройкой. Может быть, этих баллов и хватило бы на мое любимое штурманское отделение, но в тот далекий 1963 год, кажется, Никита Сергеевич производил сокращение в армии и в мореходное училище толпами

прибывали демобилизованные солдаты и матросы. Они все шли вне конкурса. Мне, школяру, с ними было не тягаться. Денег оставалось - кот наплакал. Наловчился. Покупал утром и вечером по банке сгущенки. Стоила копейки. Перочинным ножиком в банке делал две дырочки и с наслаждением высасывал липкое, сладкое содержимое. Газировки на запивку по копейке за стакан без морса было полно на улицах города. С тех пор сгущенку не терплю - наелся.

Возвращаться домой с позором и насмешливым прозвищем - Моряк - в мыслях не было. Уж не помню откуда прослышал о мореходной школе, куда принимали по документам, то есть без вступительных экзаменов.

Автобусом №10 прибыл в окраинный район Астрахани, тоже в народе - Десятку. Нашел мореходную школу. Кажется, закончились мои мучительные сомнения. Я был принят на годичное отделение по специальности матрос 1 класса-рулевой.

До начала занятий, то есть до 1 сентября, оставалось недели две.

На торжественной встрече моложавый, подтянутый, с богатой седой шевелюрой начальник школы Баканов поздравил нас с поступлением в школу и сделал объявление:

- До начала занятий можно поехать домой. Желающие могут поработать в одном из астраханских колхозов на уборке арбузов.

Судьба шла мне навстречу. Деньги кончились, да и возвращаться домой не было желания. В коротком письме маме сообщил о своем поступлении в школу, умолчав о провале в училище. Собственно, для нее школа - училище было все равно. Факт, что я домой уже не вернусь.

Нас, будущих матросов, мотористов и машинистов, набралось, наверное, человек тридцать. На дорогу нам дали сухой паек, ранним утром погрузили в большой автобус и повезли в пустынную выгоревшую степь, похлеще ставропольской, в которой мне, с легкой руки отчима, довелось ходить не одно лето за отарой овец, когда мои одноклассники отдыхали в пионерских лагерях.

В самый полуденный зной привезли в голое поле с немногочисленными камышовыми постройками. Под навесом, за длинными дощатыми столами сидели разновозрастные загорелые девчата в простеньких выгоревших платьях, в застиранных синих трениках, а то и просто в купальниках.

Они с любопытством разглядывали, в основном, желторотых будущих моряков. Были и среди нас недавние дембеля-солдаты. Уже послышался насмешливый переклик с той и другой стороны. Были и у нас острословы, к сожалению, я к ним не относился.

Девчата вскоре ушли в поле, а нас пригласил за стол бригадир - пожилой, коренастый, загорелый до черноты, а может от роду такой, то ли калмык, то ли татарин.

Чудной был обед. Вареные огурцы, среди которых редко попадалась картошка, на мясо и намека не было. Черный липкий, что пластилин, хлеб.

На второе ком пшенной каши и стакан полусладкого жидкого чая. Разве так кормили на наших ставропольских полевых станах? Наваристый красный борщ, кусок жирной баранины. На второе гречневая каша или тушеная картошка опять же с мясом и компот от пуза. А хлеб - огромная паляница с ноздреватой белой мякотью, выпеченная в колхозной пекарне.

После обеда мы выбирали из железной груды персональные койки. Выдали нам тюфяки, подушки без белья и еще марлевые пологи от комаров. У камышовых построек уже стоял ряд девчачьих кроватей под пологами. Мы выстроили свой ряд напротив.

Потом бригадир повел нас на бахчу, собственно, она находилась сразу за постройками. Это было арбузное поле, казалось, без конца и краю. Тогда я впервые увидел знаменитые астраханские арбузы. У нас, на Ставрополье, арбузы тоже неплохи, но здесь… Отдельные экземпляры можно поднять от земли, но подать на машину сможет не любой «моряк» из нашей компании.

Арбузы предстояло сносить в кучи, а потом грузить на машины и отправлять на волжские пристани, а оттуда их развезут на огромных баржах по городам и весям России. Главное направление - прожорливая Москва.

В тот же день, до захода солнца, мы успели погрузить несколько грузовиков и понять, что работенка предстоит не из легких.

Нашими соседями оказались девчата - маляры, штукатуры, в общем, строители из областного центра Астрахани и районов области. В тот же вечер наиболее отчаянные парни из нашей компании принялись знакомиться с девушками поближе, а некоторые уже после скудного ужина ушли подальше от стана парами. Но гуляли они недолго. Под стать арбузам оказались и астраханские комары. Поблизости распростерлось большое, но мелководное озеро, поросшее по берегам ивняком и камышовыми куртинами, оттуда и налетали гудящие несметные вражьи эскадрильи комаров. В первый же вечер многие из нас расчесались до крови, потом попривыкли.

Подъем в шесть, после очень легкого завтрака жиденькой пшенной или перловой кашей с крохотным кусочком масла шли в поле. Часто работали вперемешку с девушками. Да, не раз пришлось мне краснеть и бледнеть от соленых шуточек и анекдотов астраханок. Наши ставропольские девчата-колхозницы, казались скромнее, хотя тоже палец в рот не клади.

Многие девчата курили и материться были горазды. Мне то было в новинку. Нет, наши ставропольские девчата лучше. А, вообще-то, много ли я их видел, девчат, за пределами нашего колхоза.

Но были среди астраханок и скромные, милые девушки, которые не курили и не матерились. С одной из них я и познакомился, когда мы в ожидании транспорта сносили арбузы в кучи. Инициатива была ее.

- Что, комары доняли? - спросила она, с сочувствием глядя на мое лицо в заметных расчесах.

- Звери, а не комары у вас...

- Придем на стан, я дам тебе мазь - помогает…

Ее звали Люда, Людмила. Примерно моя ровесница. Невелика росточком и статью тонка, большеглазая, несмотря на загар, вокруг курносого носика проступают веснушки. Обыкновенная девушка.

Не забыла. Вечером на стане передала мне початый тюбик антикомарина. Люда, как и все девчата, вечером преобразилась. Днем большинство из них плотно обязывали головы светлыми косынками и мазали лица белой мазью от загара.

После работы девчата толпой шли на озеро мыться. Показали и нам дорогу на озеро, но в другое место. Многие из них мылись нагишом, что было видно даже с нашего, удаленного метров на двести места.

Люда была в легком сиреневом платье, слегка подкрашена, мило причесана. Благодаря антикомарину, мы погуляли. Она меня здорово выручила тем, что не ждала моих вымученных фраз. Сама много и охотно говорила, чем помогла мне преодолеть робость и косноязычье на первых свиданиях.

Оказалось, она очень хорошо знала Десятку. Там у нее, совсем рядом с нашей мореходной школой, живет родная сестра Тамара. Она замужем за шкипером с наливной баржи «Нара». Люда пошла работать, окончив семилетку. У нее очень больна мама. Отец, израненный на войне, рано помер. Она училась в школе рабочей молодежи и в сентябре пойдет в десятый. Потом поступит в строительный техникум, а может даже в институт. Работала Люда штукатуром-маляром в СМУ, которое рядом с их приволжским селом Сергиевкой что-то строило.

Она любит с берега смотреть на корабли, проплывающие по Волге мимо их села. Фарватер так близко проложен, что можно прочитать название каждого судна.

Люда говорила с легкой картавинкой, что очень шло к ее милому незатейливому образу. Нет, она не была болтлива, просто доверчива и чиста душой, что читалось в ее светло-серых глазах.

- А ты чего молчишь? - вдруг спохватилась девушка. - Расскажи о себе, а то все я да я…

Рассказал и я немного о себе, но очень немного. На второй ли третий вечер мы поцеловались. Люда любила и умела целоваться взасос и с язычком.

- А ты с опытом, - как-то грубовато заметил я с нотками ревности.

- Меня еще девчонкой сестра Тамара научила, - без всякой заминки и смущения сказала Люда. - Она очень красивая и у нее рано появились женихи, и муж у нее красивый, но большой выпивоха…

У Люды была старшая подруга Маринка - вальяжная, с пышными формами, черноокая красавица лет двадцати пяти. Маринка курила и материлась, но Люда была влюблена в подругу.

- Вы такие разные - и подруги? - с недоумением спросил я Люду.

- Она кажется такой грубой, - с улыбкой ответила Люда. - Маринка хорошая и несчастная. Ее еще школьницей изнасиловали два взрослых парня. Ты гляди, не проболтайся кому…

- Могила.

- Маринка дважды выходила замуж и оба раза разводилась, потому что бездетна. Она меня с первого дня моей работы взяла под свое крыло, а то бы затюкали. Есть у нас в бригаде такие девки вредины-оторвы…

Койки-полуторки Люды и Маринки были плотно сдвинуты, с новыми тюфяками, подушками и под двойным пологом от комаров. Все благодаря Маринке. Сама она редко ночевала с Людой. Приходила на самой заре или вовсе не приходила ночевать на стан.

На озере была моторная водокачка и при ней небольшая камышовая хижина, обмазанная глиной. Всем хозяйством здесь заведовал моторист Андрей - рослый красавец лет тридцати, черноусый и черноглазый, этакий избалованный девками кот, избравший на нынешний сезон Маринку. В недавнем прошлом Андрей был старшиной бронетанковых войск. Парень он был развеселый, всегда с рыбой и водкой.

Наши пологи над ржавыми односпалками вскоре превратились в лохмотья, местами прожженные сигаретами, или порванные постоянной ребячьей возней. Ночью долго слышались шлепки, пока сон не перебарывал комариные укусы.

Однажды после ночной прогулки Люда молча потянула меня за руку к своему ряду коек. Я самонадеянно истолковал этот порыв девушки по-своему. Удары вдруг зачастившего моего сердца трудно было бы сосчитать, когда я вслед за Людой быстро проскользнул под девичий полог. Были счастливчики и до меня, спали с девчатами, но таких набиралось немного.

Мы взапой целовались и обнимались так, что обоим стало жарко. Но стоило моей руке опуститься на ее голое колено и подняться выше по бедру, как Люда тут же решительно отводила мою нетерпеливую руку. Так мы и промаялись до рассвета, потом нечаянно уснули. Разбудил насмешливый голос Маринки:

- А вы завтракать собираетесь, голубки?

Я вскочил как ошпаренный.

- Ладно, не пугайся, - в том же тоне продолжала Маринка. - Ты, по-моему, парень скромный и я разрешаю тебе дружить с моей подружкой. Как, Люд, он скромный парень? - обратилась Маринка к проснувшейся подруге.

- Очень даже, - не замедлила подтвердить с улыбкой Люда.

С тех пор я ночевал под девичьим пологом, на зависть совсем уж робким парням, хотя девчонок было гораздо больше, чем нашего брата.

Однажды Маринка вернулась, когда мы еще не спали. Я порывался выбраться из под уютного полога, но Маринка остановила:

- Спи уж, перекатывайся поближе к Людке и спи.

- Марин, поругалась со своим? - спросила Люда подругу.

- Да ну его на…! - грубо ответила Маринка. - Больно мнит о себе.

И неожиданно толкнула меня в бок:

- Что, не дает Людка?

Меня так и окатило жаром, но я, собравшись с силами, ответил честно:

- Не дает.

- Не расстраивайся - она никому не дает. Говорит, вот замуж выйду, тогда наверстаю…

- Будет тебе, балаболка, - Люда смущенно смеялась в подушку.

- Ладно, спокойной ночи, молокососы, - пожелала нам Маринка.

Так я и проспал между двух жарких девичьих тел. На дотошные расспросы товарищей я лишь двусмысленно улыбался. Не скажешь же, что лишь натурально сплю с двумя девушками, правда, с одной целуюсь.

Подошло время нашего отъезда. Девушки-строители оставались до конца уборки. Маринка помирилась со своим Андреем, так что нам с Людой никто не мешал целоваться в последнюю ночь. И я уже почти овладел ею, но, к сожалению, она расплакалась, и я малодушно сдался. Мне было семнадцать лет.

В школе нас остригли наголо, помыли в бане и переодели в матросскую синюю робу и везде, как в армии, - строем, строем… В комнате-кубрике жили по пять-шесть человек. Учеба началась, но то, как говорят, из другой оперы.

С Людой мы переписывались. Она несколько раз приезжала в Астрахань. Познакомила меня с сестрой Тамарой и ее мужем, толстопузым, лысеющим шкипером Петром, далеко не красавцем, как говорила Люда. Может быть, таким стал потом, после женитьбы. Петр оказался малоразговорчивым и в собеседниках не нуждался. Он любил пиво и телевизор. Отказался даже от стола ради гостей.

Сестры были очень не похожи, словно не родные. Тамара - роскошная, полнотелая брюнетка, чем-то напоминавшая мне подругу Люды Маринку. Но от красоты Тамары веяло каким-то холодом, хотя она была ко мне расположена. Однажды, когда я ей помогал на кухне, Тамара неожиданно обвила мою шею полными голыми руками и крепко поцеловала в губы. Люде о том не сказал. Не сказал и о том, что Тамара приглашала меня в гости, когда Петра не будет дома. Не сказал, что ее старшая сестра обыкновенная шлюха и давно изменяет шкиперу, если, едва познакомившись, набрасывается на ничем непримечательного парня. А в Люду я, кажется, влюбился.

Константин Ходунков

МАМА

Такая уж моя звезда,
Таков мой крест, такая доля.
Я слишком рано в никуда
Порхнул, как птенчик из гнезда.
И словно лист в открытом поле,
По злой или же доброй воле,
Лечу неведомо куда.

Мотаюсь, будто бы челнок,
Уже который год по счёту,
Качусь, как в сказке колобок -
На юг, на север, на восток,
Ища приюта и работы,
Не веря в то, что где-то кто-то
Меня приветит и поймёт.

Лишь ты одна и в снег, и в дождь
Под нашей старенькою крышей
Слезу украдкою смахнёшь,
Забудешься и вновь всплакнёшь,
И в мыслях мне письмо напишешь.
Лишь ты скитальца-сына слышишь,
Лишь ты надеешься и ждёшь.

НА УЛИЦЕ ДЕТСТВА

Сжав ботинки подмышкой,
Чтоб сберечь от дождя,
Шёл когда-то мальчишкой
Этой улицей я.

А теперь на колёсах
Мчусь подобно стреле.
Только чувствую, босым
Был я ближе к земле.

РОДНЫЕ СТЕПИ

Родные степи, старенькая хата,
Которых ныне и в помине нет,
Откуда в жизнь впервые я шагнул когда-то,
Мне душу греют и на склоне лет.

Бывал я в Праге, Кракове и Сочи,
В Варшаве, в стольном Киеве бывал,
Но край родной и милый угол отчий
Я даже там на миг не забывал.

Мне кажется, не стал бы я поэтом,
Точнее, мне бы не хватило сил,
Когда бы я утратил святость эту -
Свой отчий край до боли не любил.

СТАРАЯ БЕРЁЗА

Я помню нашу старую берёзу,
Что в землю, словно жилами, вросла.
Я вижу, как она, роняя слёзы,
Согнулась у околицы села.

Её сечёт безжалостная осень,
Ей всё труднее стать свою хранить,
И хочется мне всё на свете бросить
И перед нею голову склонить.

БЕРЁЗКА НА ЮГЕ

Где пыльные бури бушуют
И южное солнце палит,
Где ветры горячие дуют -
В безмолвье берёзка стоит.

Ей слышатся ливни и грозы,
Ей снится некошеный луг,
Высокие стройные лозы
И косы зелёных подруг.

Ей снятся глаза голубые
Широких прозрачных озёр,
Шумящие рощи России
И русский бескрайний простор.

Но явь навевает тревогу,
Палит раскалённая даль.
И смотрит она на дорогу,
Одна - как седая печаль.

Василий Поляков. Яблонька

ПЛЯСКА МОЛНИИ

Рваной нитью извиваясь,
Всё сметая на лету,
Взбеленилась, разыгралась,
Мечет стрелы в пустоту.

Распоров седые тучи
Взрывом радужных огней,
Расщепила дуб могучий
От верхушки до корней.

Тут и там рисуя дуги,
Громыхая и треща,
Хлещет, рубит по округе,
Как гигантская праща.

***
Последний листок сорван чёрною бурей,
вершины курганов белы,
холодные льдинки печалью лазури
покрыли берёзок стволы.

Гусей караваны в далёкие страны
проплыли, неся седину,
на смену туманам явились бураны,
а я всё рисую весну.

ПОСЛЕ ЛИВНЯ

Вылив запас могучий,
Нити дождя слабеют.
Тают, светлеют тучи,
Будто туман, редеют.

Солнце горячим диском
В каплях дождя блеснуло.
Радуга коромыслом
Небо перечеркнула.

Млеют поля и нивы,
Словно испили браги.
Наперебой, игриво,
Мчатся ручьи в овраге.

Сник, растворился ливень,
Вымыв леса и долы.
И на ресницах лилий
Вновь появились пчёлы…

ТЫ МНЕ КАЗАЛАСЬ ВЫШИТОЙ ИЗ ШЁЛКА

Речную гладь оберегая,
боясь спугнуть ночную тишину,
мы плыли молча, звёзды раздвигая,
качая светлоликую луну.
За нами шли по берегу берёзы,
а чудо-речка не имела дна,
в неё гляделись бархатные лозы,
не нарушая сказочного сна.
Трещала где-то сбоку перепёлка,
заря застыла бледной полосой...
Ты мне казалась вышитой из шёлка,
волшебной, первозданною красой.

***
Меня пока что со счетов не сбросили,
и я ещё как будто на коне.
Однако же, всё чаще краски осени
печальной песней душу режут мне.
Я пострадать за правду не боюсь -
боюсь, дельцы сожрут мою Россию,
и то, что я уже не достучусь
на склоне лет в сердца людские.

ТЫ ОСТАЁШЬСЯ, Я УЙДУ

Лишь ты, мой стих, мой друг крылатый,
мне никогда не изменял.
Ты был мне за родного брата,
что я так рано потерял.

Мы долго, искренне дружили,
мы были больше, чем друзья,
нас били вместе и хвалили,
где рвался ты, срывался я.

Мы вместе делали немало,
болезнь ломали и беду,
но чую - времечко настало -
ты остаёшься, я уйду.

РОЗЫ ГЕРЕНЧЕРА

Невластны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даём поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.
Евгений Баратынский

1

Оранжевый шар солнца, мелькавший в окне вагона между низкими домами предместья, уже опустился за горизонт, когда Глебов вышел на привокзальную площадь города, в котором прожил бесконечно долгое, полное чудесных открытий детство и чистую, безгрешную юность, и куда он, сначала курсант, а потом морской офицер, не раз приезжал повидаться с матерью и отдохнуть от докучных тягот флотской службы под целительной крышею отчего дома.

На дымно-розовом небосклоне в восточной стороне призрачным бледно-жёлтым диском стояла полная луна; на западе же слепящим рубиновым пламенем пылали густо разбросанные перья облаков; багровый отсвет ложился от них на стены зданий, на асфальт и на лица людей, и даже сам воздух вечерний, густой и горячий, казался окрашенным в розовый цвет.

Странное чувство владело в дороге Глебовым. Четыре года не виделся он с матерью, четыре бесконечно долгих года; однако, чем ближе грохочущий поезд, километр за километром пожиравший пространство плоской безлесной равнины, подъезжал к зеленой окраине города, тем тяжелее и безотраднее становилось на сердце.

Как мечтал он зелёным безусым юнцом уехать далеко-далеко из этого сонного городка, где, казалось, жизнь замерла раз и навсегда, где никогда ничего не происходило, - уехать туда, где в гавани качаются стройные мачты кораблей и коренастые моряки с опаленными южным солнцем лицами неторопливо-шаткой походкой расхаживают по булыжным мостовым среди белоснежных домиков, увитых виноградными лозами. Лисс, Зурбаган - звонкие имена выдуманных Грином

Наталия Литосова. Ангажемент

городов сладкой музыкой звучали в его ушах. Он был твёрдо уверен в том, что мечта его непременно осуществится и однажды вернётся он в город родной торжествующим победителем, увенчанным славой героем, волком морским с обожжённым ветрами лицом, с серебром седины на висках.

До чего же молод и простодушен был он тогда, в те далекие, в те беспечные чудные годы! Но нет в мире ничего эфемернее молодости с ее наивными мечтами и сладостным ожиданием неувядаемой славы и вечной любви неземной. Неостановим железный ход времени, меняющий все вокруг нас и преображающий нас самих. Всё, что так манило Глебова прежде, оказалось при столкновении с реальной жизнью не более чем миражем. Растворились в тусклом тумане прошлого, поблекли, потеряли свою первозданную чистоту и свежесть самые обольстительные мечты его пылкой юности. И теперь не триумфатором гордым въезжает он в город, не покорителем миров и морей ощущает себя, а скорее незадачливым Одиссеем, потерпевшим кораблекрушение и лишь по счастливой случайности выброшенным на мокрый песок пустынного острова. И что толку от серебряных седин и обветренного штормами лица, когда в сердце прочно угнездилось горькое чувство одиночества, когда ни днем, ни ночью не дает покоя мысль о так и не состоявшемся счастье!

Привокзальная площадь неузнаваемо изменилась за годы его отсутствия. Теперь фасады домов обвешаны были огромными рекламными плакатами, сияли огнями красочные витрины магазинов и многочисленных торговых киосков.

В прошлые приезды ему подолгу приходилось стоять в очереди, дожидаясь такси, теперь же к нему со всех сторон набежали шоферы, предлагая свои услуги.

- Садитесь ко мне, товарищ капитан первого ранга, - сказал загорелый мужчина средних лет с энергичным худым лицом бывалого человека. - Как моряк моряка, прокачу с ветерком куда пожелаете!

- А вы что, на флоте служили? - поинтересовался Глебов, усаживаясь рядом с ним.

- Так точно! Старшина второй статьи Пономаренко! - по-военному четко представился таксист. - Так куда едем?

Глебов назвал адрес.

Выехали на проспект Мира. Сегодня Глебов не узнавал родного города. Там, где раньше стояли однообразные коробки старых, вконец обветшавших «хрущёвок», теперь возвышались особняки из красного кирпича под синими, зелеными, лиловыми крышами. По обе стороны дороги тянулись клумбы с кустами цветущих роз.

- Это «новые русские» хижин себе понастроили, - сказал шофёр.

- А жильцы прежних домов где?

- Да их на окраину выселили. В новые девятиэтажки.

- Там тоже много роз? - спросил Глебов.

- Ну что вы! - усмехнулся Пономаренко. - Они только на главной улице теперь растут, где буржуи да вожди городские поселились. Вот при Юле Соловьёвой…

Глебов невольно вздрогнул, услышав это имя, а шофёр, не заметив этого, продолжал:

- Тогда чуть ли не весь город в розах утопал. Такого специалиста, как Юля, у нас больше никогда не было. Что за девушка была! Красивая, умная, весёлая! Я школьником ещё был, в десятом классе учился, а она уже техникум окончила. Вам, как моряк моряку, могу признаться: ох, и любил же я её! Просто с ума по ней сходил!

«Знал бы ты, как любил её я! - подумал Глебов. - Тебе такая любовь и во сне не приснится!»

Быстро темнело. Зажглись голубые фонари, и белые розы засветились каким-то призрачным светом. Глебов смотрел на их мелькание за окном такси, и невольно вспомнилась ему грустная венгерская песня, которую он часто слушал в те годы, когда был молод и влюблен:

Мимо Геренчера
Еду в час вечерний.
Всюду розы, розы, розы, -
Розы Геренчера.

Много лет минуло с тех пор, но где бы ни увидел он цветущие розы, перед мысленным взором его возникала Юля, девушка, будто насквозь просвеченная солнцем, тонкая, нежная, не похожая ни на одну из тех, что встречались впоследствии на его жизненной дороге.

- А как она на мотоцикле гоняла! - продолжал шофер. - Любой нынешний байкер (или как их там?) - перед ней просто жалкий сморчок!

Он ещё что-то говорил, но Глебов больше не слушал его, он думал о своём, и на сердце его, словно густая холодная тень, наползала беспредельная тоска.

Была молодость, была любовь, да такая, какую не всякому человеку в жизни довелось испытать, была надежда на вечное, ничем не омрачённое счастье, но он собственными руками погубил всё, погубил по глупости, по слабоволию, по необоримому желанию любой ценой сделать карьеру. А что в итоге? Близкая старость, тоскливое одиночество и нескончаемая сосущая пустота в сердце…

- А ты постарел, сынок, - с грустью сказала мать. - Вон сколько седины в волосах! Что же ты так долго не приезжал? Думала: уже и не дождусь тебя.

- Дела, мама, дела. Я ведь человек военный, не хозяин сам себе.

- Гляжу: у тебя уже три звёздочки на погоне. Это полковник, кажется?

- Мама, на флоте нет полковников. Я капитан первого ранга. Но ты права: это всё равно, что полковник в армии.

С детства любимая комната, со старым диваном, раздвижным столом, большим платяным шкафом с антресолью, нисколько не изменилась за эти годы. Мать готовилась к его приезду, потому что он заранее известил её телеграммой: скатертью льняной накрыла стол, нажарила котлет, сделала его любимый салат «оливье». Даже букет из трёх красных гвоздик на стол поставила.

Выпили за встречу.

- Боюсь я за тебя, Толя, - сказала мать. - Сколько ты плаваешь, столько и боюсь: не потонул бы! Вон с «Курском» какая беда приключилась, сколько народу погибло!

- Я же тебе писал, мама: я теперь не на море, я в министерстве обороны служу. А в Москве, как ты знаешь, моря нет. На флот я теперь только инспектировать езжу. Вот и сейчас из Севастополя возвращаюсь. Хочу несколько дней у тебя побыть, отдохнуть от суеты московской хоть немного.

- Как я рада, что ты приехал! - сказала мать, утирая слезы. - Это ж надо - четыре года не виделись! А письма… Ну что из письма узнаешь? Жив, здоров - вот и все новости. А матери хочется всё про тебя знать, всё - до мелочи…

Глебов посмотрел на мать, и у него тоскливо сжалось сердце. Как она постарела за эти четыре года! Волосы красить перестала - совсем седая теперь. А он так невнимателен был к ней в последнее время. Служба, личные неурядицы - всё это, конечно, со счетов не сбросишь, но разве это оправдание? Опустился, очерствел сердцем, даже писать ей стал редко.

- Ты, мама, расскажи лучше, как живёшь. Болеешь часто?

- Часто, сынок. Возраст у меня теперь такой, что здоровьем особо не похвастаешься. Проснусь утром и радуюсь: слава Богу, жива! А вот подруга моя, Анастасия Павловна, померла весной. Я тебе не писала? Помнишь Анастасию Павловну, тетю Юли Соловьёвой?

Глебов опять вздрогнул, услышав имя Юли. Правда, известие о смерти её тети его не особенно огорчило. В прошлые свои приезды, особенно в

молодые годы, он старался избегать встреч с нею. Анастасия Павловна ни разу ни в чем его не упрекнула, но ему всегда казалось, что он читает в её глазах безмолвный укор, что она считает его виновником Юлиной гибели.

- От чего же она умерла? - спросил он.

- От инфаркта. Плохо мне без неё: и поговорить теперь не с кем. Мы часто с нею по вечерам друг к дружке в гости ходили. Попьём чаю, вволю наговоримся. О тебе разговаривали, о Юле. Как вы любили друг друга!

- Не надо об этом, мама! - резко оборвал ее Глебов. - Зачем ворошить прошлое?

А про себя подумал: «За свои ошибки я уже заплатил - и заплатил дорого! Вся жизнь, в конце концов, под откос пошла! Я только вид делаю, что у меня все нормально».

Когда кончили ужинать и вволю наговорились, мать предложила:

- Ты, сынок, иди отдыхать. Устал ведь с дороги. Твою комнатку я приготовила, постель постелила. Не захочется спать - радио можешь послушать. А я пока со стола уберу.

В его комнате уже почти три десятка лет стояла радиола «Иоланта» - длинный тёмно-фиолетовый ящик на тонких высоких ножках. Глебов включил её - проигрыватель по-прежнему работал.

- Мама, а пластинки где? - спросил он, выглянув из своей комнаты.

- Да всё там же, в антресолях. Как ты поставил, так они и стоят. Я только пыль с них вытираю.

Он перебрал их несколько десятков, пока, наконец, нашёл то, что искал - небольшую гибкую пластинку в пожелтевшем самодельном конверте с полустёршейся карандашной надписью «Розы Геренчера». Поставив её на диск проигрывателя, Глебов сел у открытого окна, неторопливо потягивая коньяк из большого бокала.

Сквозь слабое шипение и треск зазвучал чистый тенор певца, имя которого он уже успел забыть за долгие годы, а может, и вовсе не знал никогда. В песне неведомый седок просил кучера сорвать ему розу и спрашивал:

- Где ты, кучер, видел лучше
Розы Геренчера?
Возница отвечал ему с горечью в голосе:
- Нет уж! Прошлым летом
Был я в месте этом.
Сердце парня погубили
Розы Геренчера.

Какая сила таилась в этой бесхитростной песенке, почему такою грустью откликнулось на неё сердце? Много лет не слышал он её - и до сего дня, кажется, ни разу не вспомнил о её существовании, а вот сейчас, едва лишь раздались первые ее звуки, нахлынули вдруг грустные воспоминания.

2

«Это было, это было в те года, от которых не осталось и следа». Эти стихи Николая Гумилёва, недавно слышанные в каком-то сериале, пришли Глебову на память, едва только смолк голос певца. Нет, всё-таки не прав поэт: след тех давних лет остался, и не просто остался, а глубоко врезался в память сердца.

Он лёг на диван и уставился в потолок, по которому то и дело скользил свет фар проезжавших по улице автомобилей.

Вспомнилось ему жаркое лето - со слепящим солнцем, с высокими белыми башнями облаков на густо-синем небе, влажный запах политых рано утром клумб, и на фоне черной мокрой земли - яркие бутоны роз, алые, тёмно-малиновые, кремовые и шафранные, со сверкающими каплями росы на нежных лепестках.

В те годы ещё не принято было стыдиться или бояться своей принадлежности к армии или флоту, и Глебов во время летних каникул гулял по родному городу в своей белоснежной форме. Он ходил по улицам, любуясь собственным отражением в зеркальных витринах магазинов, высокий, стройный, красивый курсант, гордый своей принадлежностью к «скитальцам морей, альбатросам», как назвал моряков поэт. При этом он с тайной радостью отмечал внимательные взгляды и нежные улыбки встречных девушек.

В то лето он перешёл уже на предпоследний курс и был полон самых радужных надежд. Мечталось о дальних экзотических странах, о морских приключениях, в которых он непременно покажет себя отчаянно храбрым офицером, но больше всего хотелось ему испытать большую и красивую любовь, о которой пишут в романах.

- Не будешь, сынок, возражать, если я к ужину подругу свою приглашу, Анастасию Павловну? - спросила мать на второй день после его приезда. - Она с племянницей-сироткой придет. Посидим, поговорим о том о сем, ты нам про учёбу свою, про море расскажешь. Одним словом, твой приезд отметим. Я вина купила, кое-чего вкусненького приготовлю.

Разумеется, Глебов возражать не стал: Анастасия Павловна была лучшей подругой матери, они вместе работали в универмаге и жили по соседству. Да и сиротка не помешает, пусть посидит, разговоры взрослых послушает. Каково же было его удивление, когда племянница маминой подруги оказалась не ребёнком, а взрослой девушкой, стройной, красивой, с большими серыми глазами и длинными волосами цвета соломы.

- Юля, - представилась она, протянув загорелую руку. Он пожал её тонкую ладонь, ощутив сухость и шероховатость кожи. Видно было, что руки этой девушки не чуждались никакой работы.

Поначалу он опасался, что не найдет с нею общего языка (с девушками до этого мало приходилось общаться), однако разговор совершенно неожиданно для него получился непринуждённый и интересный. Особенно понравилось Глебову то, что Юля свободно ориентировалась во всем, что связано было с морем. Оказалось, что детские годы её прошли в Новорос-

сийске, где отец её рыбачил на сейнере; кроме того, она запоем читала книги о море - Станюковича, Стивенсона, Джозефа Конрада, Грина - и мечтала, как и Глебов, о дальних путешествиях.

Он пригласил её на следующий вечер в кино - она сразу согласилась. А потом они стали встречаться каждый день.

Жила Юля как раз напротив двухэтажки, в которой была квартира Глебовых. У её тёти был одноэтажный домик с небольшим садом и хозяйственными постройками. По утрам он смотрел из своего окна на то, как Юля выводит из двора ярко-красную «Яву», надевает на голову оранжевый шлем, заводит мотоцикл и, помахав Глебову рукой, уносится к центру города, оставляя за собой быстро тающий голубоватый дымный след.

Она работала в «Горзеленстрое» и училась после техникума на заочном отделении сельскохозяйственного института. Розы, высаженные под её руководством в парке, у железнодорожного вокзала, на многих улицах, были предметом её гордости, о них она могла говорить часами, будто о своих хороших знакомых. От неё самой исходил тонкий, волнующий аромат роз.

Уже через несколько дней Глебов обнаружил, что с самого своего пробуждения начинает думать о Юле и томиться в ожидании вечера, когда можно будет снова увидеться с нею. Они часами гуляли по парку, ходили в кино и на концерты в филармонию, а по выходным дням с утра шли на речной пляж загорать и купаться.

Это были дни неизъяснимого счастья. Как сладко, как радостно было лежать на горячем песке в упоительно-блаженной истоме, доверчиво подставляя тело жгучим лучам июльского солнца, пламенем оранжевым насквозь прожигающим опущенные веки; лежать, зная, чувствуя, что рядом на белом махровом полотенце лежит девушка, красивей которой не найти во всей вселенной; девушка, чье стройное тело будто из звонкой бронзы изваяно руками великого скульптора; девушка, чьи золотые пряди волос разметались по мелкому белому песку, а розовые губы, изумительно тонко очерченные, тронуты лёгкой счастливой улыбкой.

Чувство, неведомое до той поры, наполняло сердце юноши. Оно подобно было музыке, чей таинственный, необоримый поток вдруг подхватывает ставшее невесомым тело и несёт на стремительных струях своих в неведомую даль, нежной прохладой омывая душу.

Не было больше сомнений: это пришла любовь, настоящая, большая, всепобеждающая, о которой так долго, так томительно мечтал он в последние годы.

Пляж был заполнен людьми до отказа; верещали дети, лениво переговаривались взрослые, но весь этот гам перекрывал рёв неутомимого репродуктора, орущего с утра до вечера песню за песней. Одну из них, про розы Геренчера, парень, сидевший в радиоузле, видно, любил больше других, потому что передавал её едва ли не каждые четверть часа.

Потом в каком-то киоске Глебов купил гибкую прозрачную пластику с этой песней, и ему вдруг почему-то захотелось узнать, где, в какой части Вен-

грии находится город с таким звучным названием - «Геренчер». Однако ни в атласе мира, ни в двухтомном энциклопедическом словаре обнаружить этот город ему так и не удалось, и он решил, что либо это какой-то незначительный посёлок, либо чья-то досужая выдумка, вроде гриновского Зурбагана.

Вечером они с Юлей устраивались на узкой лавочке в дальнем углу маленького садика её тёти, у высокого забора, и до головокружения и боли в губах целовались и всё не могли насытиться горячими, яростными поцелуями.

Домой он возвращался, когда на востоке начинало голубеть небо, усталый и возбуждённый, и долго потом не мог уснуть, перебирая в памяти каждое мгновение этой сумасшедшей ночи.

Но уже август был на исходе и маячила впереди скорая разлука. С тоской и отчаянием оба они ждали этот день: им казалось, что друг без друга они уже не могут прожить ни минуты.

И вот день расставания настал. Тепловоз дал протяжный гудок, проводница крикнула Глебову, что ему пора войти в вагон, если он не собирается остаться, и тогда он, в последний раз поцеловав Юлю в губы, вскочил на подножку плавно движущегося вагона. Юля шла по перрону, всё ускоряя шаг и горестно восклицая:

- Не забывай меня, Толя, пиши почаще!

А поезд всё набирал и набирал ход, её фигурка на самом краю перрона становилась всё меньше и меньше, и у Глебова от любви и печали больно сжалось сердце.

Они писали друг другу каждую неделю, и письма их полны были самых горячих признаний в любви и мечтаний о будущей счастливой жизни в маленьком уютном домике, из окон которого видно море.

Зимою, когда он приехал на каникулы, встретиться им не удалось: Юля была в институте, на сессии.

Зато следующее лето подарило им полтора месяца безоблачного счастья. Опять был пляж (только песня о розах Геренчера не звучала больше: у заведующего радиоузлом появились новые пристрастия), были вечерние прогулки по парку и поцелуи в саду, всё на той же узкой некрашеной скамейке.

Однажды Юля предложила:

- Давай завтра поедем за город. Я там островок на реке знаю, где никто не помешает нам побыть наедине. Я приготовлю все, что нужно для пикника.

День выдался безоблачный и жаркий. Мотоцикл мчался вдоль железнодорожного полотна по проселку, оставляя за собою длинный хвост пыли, пахло полынью, чабрецом и шалфеем, в лесополосе трещали тысячи цикад, и даже гул мотора не в силах был заглушить эти жесткие металлические звуки. Встречный ветер развевал длинные Юлины волосы, выбившиеся из-под шлема, и они щекотали лицо и шею Глебова, сидевшего позади девушки с корзиной в руке.

Километрах в пятнадцати от города, у дома путевого обходчика, где вдоль дороги густой стеною стояли огромные тополя, Юля остановила мотоцикл и уверенно ввела его в калитку. Пёстрая дворняга, разморенная жарой, лениво тявкнула несколько раз и спряталась в конуру.

- Степан Макарыч! - крикнула Юля.

Из дома вышел пожилой мужчина в полосатой рубахе.

- Кого я вижу! - обрадованно воскликнул он. - Юлечка к нам приехала! А мы с Нюрой совсем было решили, что ты про нас и думать забыла. О, да я вижу, ты уже кавалера себе нашла! Ну, здравствуй, парень! - и он пожал Глебову руку своей грубой, с твёрдыми мозолями, ладонью.

Хозяйка, весёлая гостеприимная женщина лет сорока, пригласила их к столу, но Юля сказала:

- Не беспокойтесь, тетя Нюра, мы с Толей на острове пообедаем: я захватила из дому всё, что нужно. Вы, Степан Макарыч, не будете возражать, если мы вашу лодку умыкнём на несколько часов?

На маленькой смолёной плоскодонке, гребя одним-единственным веслом, добрались до островка и там, за зелёной стеной камыша, под тополем, высоким и развесистым, почувствовали вдруг себя счастливыми робинзонами, затерянными в беспредельном океане, где можно не опасаться чужих глаз и злых людских пересудов.

Сейчас им никто не был нужен, им достаточно было общества друг друга, взаимных нежных взглядов, лёгких касаний, поцелуев, ласковых слов.

Всё здесь было иное, чем в городе. Дивной музыкой казалось им сухое шуршание камышей, и раскатистое кваканье лягушек, и жёсткий перестук колёс далекого поезда, и резкий голос птицы-камышевки на противоположном берегу. Золотые пятна света, пробившись сквозь колеблемую ветром листву тополя, трепетали на Юлиных волосах, на её загорелой коже.

В каком-то исступлении целовал Глебов эти длинные волосы, перепутавшиеся с травами, и взгляд его тонул в глубинах бездонных тёмно-серых Юлиных глаз. Он впивался губами в её розовые упругие губы, с замиранием сердца ощущая их восхитительный влажный жар; он целовал её гибкое тело, стройные ноги, покрытые светлым пушком, и сходил с ума от жгучего нестерпимого желания.

Проходили часы, но они не замечали времени и всё никак не могли разжать объятий.

- Если б ты только знала, как я люблю тебя! - горячо говорил он. - Если б ты только знала! Мы никогда не расстанемся, мы всегда, до самой смерти будем вместе. Когда я буду уходить в море, ты будешь ждать меня с зажжённой лампой на окне, чтобы я узнал, что меня любят и ждут. Пройдёт всего каких-то семь-восемь месяцев, и мы поженимся, а потом я получу офицерские погоны и мы с тобой поедем туда, куда меня направят: на Север, на Дальний Восток, куда угодно, лишь бы только ты была со мной!

- Боже мой, ждать целых восемь месяцев! - воскликнула она с отчаянием. - Как долго! Целую вечность! Но я подожду. Я буду жить ожиданием. Только ты помни: не дай Бог что-нибудь с тобою случится, - я и дня без тебя не проживу!

- Я без тебя тоже, - горячо заверил он её. - Теперь мы - единое целое, и никому нас не разлучить вовеки!

Тогда он ещё не знал, что нельзя давать подобных клятв и нельзя быть счастливым вечно, что иногда люди совершают непоправимые ошибки, в которых потом приходится раскаиваться всю жизнь. Сам себе он казался человеком железной воли, которого никакая сила не может столкнуть с раз и навсегда выбранной дороги.

Этот день, проведённый на зелёном острове под сонный шелест камыша, под звонкие птичьи голоса, навсегда врезался в его память, как самый счастливый день, и теперь, через много-много лет вспомнился ему весь, до мельчайших подробностей, будто он только что пережил те чудные часы; неведомая костлявая рука сжала горло, и он, вскочив с дивана, стал мерить шагами комнату.

«Дёрнула же меня нелёгкая пластинку эту найти! - ругал он себя. - Только душу растравил!.. Да при чём тут пластинка? Просто здесь всё напоминает о Юле, и, как бы я ни гнал мысли о ней, никуда от них не деться… Как я клялся тогда, что через несколько месяцев, весной, мы сыграем свадьбу! Но ведь я не обманывал её, я сам искренне верил, что так оно и будет!».

Мог ли он подумать тогда, в то чудное лето, что через восемь месяцев неожиданно женится на другой - на Элине, дочери вице-адмирала, красивой, умной, энергичной девушке. Он не разлюбил Юлю, нет, просто время и расстояние несколько ослабили его чувство к ней, и он не смог устоять перед решительной, наступательной любовью Элины. Она была из тех, кто добивается своей цели любыми средствами, не считаясь ни с чужими чувствами, ни с общественным мнением. Но это он понял гораздо позже, когда уже ничего нельзя было исправить.

Отец Элины, несмотря на свою занятость, живо интересовавшийся жизнью дочери и заботившийся о её будущем, сказал им однажды, когда она привела Глебова к себе, чтобы познакомить его с родителями:

- Ну что ж, дети мои, раз вы так любите друг друга, я не возражаю. Поженитесь - всё сделаю, чтобы вы ни в чём не нуждались и были счастливы. Я доволен, что зятем моим будет моряк. У меня отец и дед моряками были, и мне хотелось бы, чтобы и сыновья ваши с морем жизнь свою связали.

Закончив училище, Глебов получил, к зависти товарищей, хорошую должность и трёхкомнатную квартиру, так что ехать куда-нибудь на Север или на Дальний Восток ему не пришлось. Пользуясь влиянием тестя, он успешно продвигался по служебной лестнице. Они с Элиной и в самом деле ни в чём не нуждались. Но были в его жизни моменты, когда находили на него приступы мучительной, отравляющей душу тоски. Он сознавал, что совершил предательство, отказался от любви, какую человек, да и то

далеко не всякий, может испытать только раз в жизни, обменял её на карьеру и материальное благополучие.

И лишь осенью узнал он из письма матери о гибели Юли.

«Не хотелось мне тебя расстраивать, сынок, - писала мать, - потому так долго не решалась сообщить тебе о том, что у нас случилось. Когда Юля узнала, что ты женился, она целую неделю ни с кем не разговаривала и долго ходила как в воду опущенная. Потом вроде ожила. А перед майскими праздниками поехала на мотоцикле в соседний совхоз, где розы выращивают, а по дороге не справилась с управлением и врезалась в дерево как раз возле дома путевого обходчика. Этот обходчик, Степан Макарович, дальним родственником им с Анастасией Павловной приходится. Он привёз её на своей машине в больницу, но во время операции она умерла. Степан Макарович, говорят, плакал, как ребёнок: он её, как родную дочь, любил. А Анастасия Павловна слегла с горя. Вот такая беда у нас случилась, сынок. Жалко Юлю, хорошая девочка была. И что вы с ней не поделили, что тебе на другой жениться пришлось?»

Прочитав письмо, Глебов впервые напился. Несколько дней подряд он был угрюм и неразговорчив. Однако человек всегда склонен оправдывать себя, и в конце концов он решил, что это был просто несчастный случай, злое вмешательство Судьбы, и он, Глебов, тут совсем ни при чём. Правда, спокойнее на душе у него от этого не стало; где-то внутри колючей льдинкой застряло презрение к самому себе, предателю, клятвопреступнику, ради карьеры погубившему своё счастье и жизнь любимой девушки.

Оказалось, что карьера и материальное благополучие не означают счастья. Радости или просто душевного спокойствия он не знал едва ли не с самого начала семейной жизни. У Элины был один существенный недостаток - ей быстро надоело однообразие, постоянно нужны были новые впечатления и новые кумиры. Глебов вскоре почувствовал, что её любовь к нему остыла, превратилась в обыкновенную привычку. Он был уверен, что у неё есть любовник. А однажды, когда они в офицерском кругу отмечали присвоение Глебову звания капитан-лейтенанта, один из его товарищей, старший лейтенант Курилов, известный сплетник и циник, уже изрядно захмелевший, сказал, что, похоже, одному ему, Глебову, неизвестно то, что на корабле знает каждый, - а именно, что его Элина - дама любвеобильная и за последние годы сменила уже трёх молодых хахалей.

В комнате повисла тяжёлая предгрозовая тишина. Товарищи Глебова настороженно смотрели на него, ожидая взрыва, но ни один мускул не дрогнул на его лице, только побелели костяшки пальцев, сжавших подлокотники кресла.

- Спасибо за информацию, старлей, - сказал он, усмехнувшись, - но для меня это давно уже не новость.

Окружающие облегчённо вздохнули: ожидаемая буря не разразилась.

Вернувшись домой, он заперся у себя в кабинете и до рассвета просидел за столом в мрачном раздумье, выкурив целую пачку сигарет.

Разговор с женой получился наутро тяжёлый. Она плакала, клялась ему в верности, но он только усмехнулся в ответ. Потом, когда настало время уходить на службу, сказал жестко:

- Услышу ещё раз о твоих похождениях - застрелю, как собаку!

Расстались они, когда он был уже капитаном третьего ранга. Однажды ночью он вернулся из командировки на два дня раньше срока. Было уже около двух часов ночи. Он открыл дверь своим ключом и вошёл в спальню тихо, чтобы не потревожить Элину. Комната была слабо освещена уличным фонарём, однако он сразу увидел, что в постели лежат двое. Он включил верхний свет и сдернул одеяло. В голом мужчине, лежавшем в обнимку с его женой, Глебов узнал лейтенанта Рудакова, только недавно пришедшего из училища на его корабль. Любовники до того растерялись, что даже не догадались опять натянуть на себя одеяло.

- Ого, вижу, ты неплохую замену мне нашла! - сказал Глебов. - Это уже какой по счету мальчик, которого ты невинности лишила? - И, не дожидаясь ответа, приказал: - Одевайтесь, я жду вас в гостиной.

Когда они вышли к нему, лейтенант был бледен и дрожал, как осиновый лист, Элина же держалась так, будто ничего и не произошло.

- Ну что, лейтенант, тебе тоже захотелось карьеру сделать с помощью её папаши? Я вот думаю, как мне с тобою поступить. На дуэль вызывать сейчас не принято, да я бы последним дураком себя выставил, если бы стал стреляться из-за этой бабёнки, которая любит мальчиков совращать. Разве что морду тебе набить? Ну, будь я истопником или ночным сторожем на какой-нибудь автобазе, я бы наверняка так и сделал. Но я офицер, рукоприкладством заниматься мне как-то не с руки. А знаешь что? А подарю я тебе, пожалуй, эту потаскушку вместе со всеми её нарядами, косметикой и с квартирой в придачу! Детей иметь она не захотела: не нагулялась ещё вволю, так что делить мне с нею особенно нечего. А тебя я завтра же... впрочем, это уже сегодня, с корабля своего спишу на какой-нибудь сторожевик. Не думаю, что её папа поможет тебе карьеру сделать, а она с тобой недолго будет тешиться: быстро тебе замену найдет.

Глебов собрал свои вещи и на рассвете ушёл на корабль. Судьба Элины больше его не интересовала. Через полгода они развелись.

Он так и не женился больше, хотя немало было женщин, желавших связать с ним свою судьбу.

Потом столичные друзья добились его перевода в министерство обороны. В Москве ждала его приличная квартира, высокое жалование, разнообразные удовольствия столичной жизни. Пока он привыкал к новой службе, ему казалось, что теперь всё наладится и он будет жить пусть не совсем счастливо, но, по крайней мере, хотя бы спокойно, однако вскоре обнаружилось, что от прошлого не так-то просто избавиться, что оно слишком большую власть имеет над ним. Казалось, что-то надломилось в нём, и ни старые друзья, ни внимание женщин, ни размеренная служба на суше со всеми её удобствами не способны избавить его от глубокой постоянной

грусти, въевшейся в душу, как въедается в одежду горький запах дыма. Он брёл по жизни одинокий и замкнутый, с отчаянием человека, заблудившегося в пустыне и уже потерявшего всякую надежду когда-нибудь выйти к людям. Он непрестанно ощущал на своих губах едкую горечь сиротства и нередко, пробудившись среди ночи, подолгу лежал без сна, размышляя о том, что жизнь не удалась, что неумолимо приближается старость, и иногда казалось ему даже, будто он слышит её тяжелые гулкие шаги, звучащие всё ближе, всё отчетливее, всё неотвратимее.

А счастье было так возможно,
Так близко! -

часто вспоминались ему пушкинские слова.

Но он оказался недостоин счастья, недостоин любви такой девушки, как Юля, он предал её, погнавшись за химерой. Погнался по легкомыслию - и что же получил взамен? Он предал, и его предали. Этого и следовало ожидать: ни одна подлость не проходит для нас безнаказанно, за всё в жизни приходится платить.

3

Опять жёстко громыхают на стыках рельсов колёса поезда, уносящего Глебова из родного города, что сверкает в ночи цепочками и гирляндами огней, - города, где осталась старенькая мама, отказавшаяся, как он ни уговаривал её, переехать к нему в Москву; осталась вдали, где-то там, среди тысяч крестов, жестяных пирамидок и бетонных обелисков, могила Юли, за два дня до отъезда приведённая им в порядок; остались клумбы с кустами роз, по-прежнему украшающими город, хотя девушки, с чьей лёгкой руки они получили здесь распространение, давным-давно уже нет на свете.

Поезд мчится среди полей, освещённых светом луны, в бездне неба дрожат колючие огоньки звёзд, тёплый ветер шевелит волосы Глебова, стоящего у открытого окна в коридоре вагона, а цепочки фонарей уплывают всё дальше и дальше, постепенно сливаясь в тонкие сверкающие нити.

И где-то - то ли в голове, то ли в сердце - звучит пронзительно-грустная песня:

Едем лучше дальше:
В сердце боль всё жарче,
Сердце парня будут мучить
Розы Геренчера.

Впереди блеснуло широкое озеро. Луна серебристой монетой неслась по воде вдоль берега, то проблескивая сквозь камыши, то выкатываясь на открытое пространство. Глебов загляделся на её стремительный бег, а когда озеро кончилось, он оглянулся назад, туда, где недавно сверкал огнями город, но тот уже растворился в ночи, будто никогда и не существовал на свете.

ВСЁ, ЧТО МОГУ

Вспоминаю, встречая людей
с разноцветными планками,
Я тот фильм о минувшей войне,
где в неравном бою
С накатившими стройной армадой
фашистскими танками
Горстка русских солдат одержала победу свою.
Где любому бойцу, от сознанья величия гордому,
Что застыли в строю на горячем от боя снегу,
Говорил генерал, раздавая смущённо по ордену:
- Это всё, что могу... от себя... Это всё, что могу...

Я в автобусе ехал в преддверии праздничной даты.
Хлопотливый народ, суетясь, выходил и входил...
И вошли ветераны - бывалые в прошлом солдаты
(Я по орденским планкам, конечно, об этом судил).
На бортах пиджаков, что ещё Бонапарта видали
(Пусть простят старики,
если слишком уж грубо «загнул»),
Золотились у каждого по юбилейной медали,
Где-то чуточку вкривь...
ну, кто как второпях пристегнул.

Потоптавшись у двери, былые защитники Бреста,
Сталинграда и Минска, Кавказа, Москвы и Орла
То ли просто с прохода уйти,
то ли в поисках места,
Как-то очень уж робко они разбрелись по углам.
Их нетрудно узнать: вон они - голова,
будто снег, бела,
Люди! Дайте им сесть!
Заклинаю вас, как божество!
С торжества возвращались они,
только радости не было.
Может, просто забыли, какое оно - торжество?

Николай Бондаренко

Может, Родина-мать, за какую они воевали,
За которую выжили, «горло ломая врагу»,
Им сказала сегодня, вручая цветы и медали:
- Это всё, что могу... От себя... Это всё, что могу...
Нет, конечно, не всё...Ещё будет отмечен помпезно День Победы.
В столице. На славной Поклонной горе,
Где, прогнав тишину на задворки и лязгнув железно,
Будет праздник гулять в обновлённой своей мишуре.

Но закончится праздник, и лягут в комоды медали.
И появится грусть у вчера ликовавших людей,
Оттого что поймут они: главного им недодали -
Права жить без забот и тревоги за завтрашний день.

Выходили они, унося боевые награды
Да, наверно, обиду под грузом опущенных век...
И белел отпечатком тех памятных дней Сталинграда
На седых головах тот, горячий, нетающий снег...
Мне бы выйти вослед и, не чувствуя капли смущенья,
Их догнать и сказать, задыхаясь от слёз на бегу:
- Дорогие мои! Я прошу принародно прощенья...
Это всё, что могу... От себя... Это всё, что могу...

МОЙ ГОРОД

Не беда, что за все пролетевшие годы
Я немногим богаче, чем нищий с дырявой сумой...
Есть на юге страны городок Минеральные Воды.
Он живёт и не знает покуда, насколько он МОЙ!

Там в своих повседневных заботах мои горожане
Строят, учатся, пишут, слесарят, торгуют и шьют,
Обзаводятся мебелью, книгами и гаражами,
Любят, верят, надеются, ищут, грустят, устают...

А когда по весне городок задохнётся сиренью
И душистых акаций вберёт в себя пряный дурман,
Зазвенят его улицы строчками стихотворений,
И Весну пригласит он продолжить их старый роман.

Он оденется в зелень деревьев немыслимым франтом,
А она впустит в кудри его гребешок-ветерок
И подвесит на грудь площадей его, как аксельбанты,
Отражение радуг на мокром асфальте дорог...

Я вернусь, прилечу, свято веря в его бесконечность,
И без тени позёрства, к нему обращаясь, скажу:
- Здравствуй, город! Я не был здесь, кажется, целую вечность.
Я скучал по тебе. Дай-ка я на тебя погляжу!..

Чтоб тебя разглядеть, мне достаточно беглого взгляда.
Ты подрос этажами... Раздался на юг и восток...
Не старайся казаться огромным... Не пыжься... Не надо!
Я видал города... Ты пока что ещё - городок...

Но всегда утверждал я (и дальше настаивать буду),
Если средним тебя назовут, это просто враньё.
Как огромен ты сказочно, если с тобой я повсюду!
Как ты сказочно мал, если в сердце вместился моё!

ДИССОНАНСЫ

Я хотел нарисовать Осень
В ярких красках… И чтоб было их в меру -
Семь цветов. А я использовал - восемь,
Потому что был ещё один - серый.
Этот серый был как ложечка дёгтя
В бочке мёда… И тут спорьте, не спорьте,
Но картина вся не стоила ногтя,
Этот серый всю картину испортил…

Написать хотел я песню про Осень,
Слова с музыкою - связь нерушимая...
Текст хороший, только нот было восемь:
Семь обычных, а восьмая - фальшивая.
Звук фальшивый - словно «ляп» поэтический,
Не введёт в восторг от музыки нас он,
Если в песне, даже очень лирической,
Режет слух фальшивый звук диссонансом.

Диссонансы… Их у Осени много.
Диссонансом - серый цвет на картине…
Даже смотрится картина убого
С серым небом, вместо сказочной сини.
Звук фальшивый, вкравшись с хитростью лисьей
В песни Осени, - как визг бормашины…
В мелодичность опадающих листьев
Грусть привносит переклик журавлиный…

Даже в жизни у меня - диссонансы,
Если Осень править балом воссела:
То «семь бед» пошлёт (и это авансом),
То «семь нянек», чтоб дитя «окосело».
Я решил, что в этом сонме сумятиц
Цифра «семь» виновна очень… И - Осень…
Кто сказал, что на неделе «семь пятниц»?
У меня их обязательно - восемь.

СЕЗОН ТВОИХ ВОЛОС

А ты в тот вечер так была красива!
(Ну как я раньше мог не замечать?)
Душистым, светлым, тёплым летним ливнем
Спадали твои волосы с плеча.

А я ловил их в сильные ладони,
Касался кожей пересохших губ.
И целый мир в твоём сомкнулся доме.
Я ликовал... Я был от счастья глуп.

Январь последним воскресением кончался,
И в снежной шубе за окном потел мороз,
А для меня в тот вечер начинался
Сезон дождей... Сезон твоих волос...

Пусть мне в разлуке иногда взгрустнётся,
Но сколько бы разлук ни привелось,
Я знаю: с возвращеньем вновь начнётся
Сезон дождей - сезон твоих волос.

Какое б ни случилось время года,
Мне в руки тёплым ливнем упадут
Твоих волос струящиеся воды,
К которым я губами припаду.

Пускай покажется кому-то вздором это,
Но для меня так в жизни повелось,
Что даже самое засушливое лето -
Сезон дождей... Сезон твоих волос...

СЕДОЙ КАВКАЗ

…Седой Кавказ! Хранишь ты с давних пор
И бурных рек напор и непокорность,
И мудрое молчанье снежных гор,
И звёзд высоких мирную спокойность.

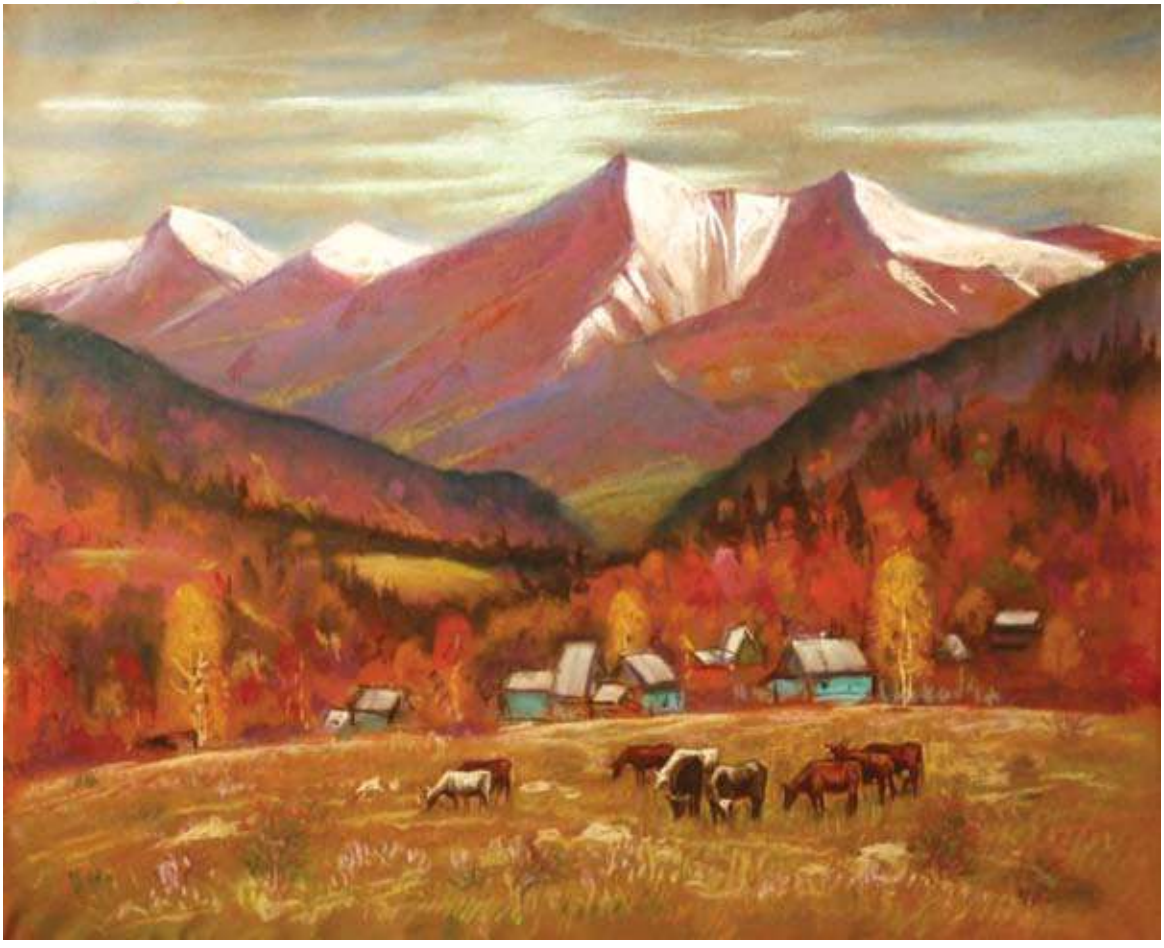
И может, потому под стать тебе
Ковала и лепила мать-природа
Достойным приложением к судьбе
Ум и характер твоего народа.

Он был многоязычным, твой народ,
Многоплеменным… Но на первом месте
У каждого народа был вопрос
Свободы, независимости, чести.

И потому случалось много раз -
В кровавых схватках бились в одночасье…
И горько с высоты взирал Кавказ
На все межплеменные разногласья.

Но здравый смысл восторжествовал,
Когда пришло великое прозренье,
И понял тот, кто прежде воевал,
Что только в мире верное спасенье.

Что карачаевец, войдя к черкесу в дом
С визитом дружбы, а не с чувством мести,
Не злым противником, а добрым кунаком
Посажен будет на почётном месте.



Николай Авсаджанов. Осень в Загедане

Что грек-понтиец, чей народ, Кавказ,
Тобою принят был и не унижен,
Который ты от притеснений турок спас,
Не будет в доме ингуша обижен.

А если за торжественным столом
Свой рог до дна осушит абазинец,
За дружбу, за гостеприимный дом
Алаверды подхватит кабардинец.

Уйдёт из жизни множество проблем,
Когда и в праздник, и средь многотрудных будней
Звучит армянское: «Цавет танем»
Иль русское: «Храни Господь вас, люди!»

КОГДА Я ВЕРНУСЬ

В потертой красной папке я обнаружил листочки, исписанные разными почерками. Это записки из моего, пусть будет так, архива. Письма наброски, записочки. Обыкновенные клочки бумаги, на которых нередко написана глупость. А может быть, это сейчас кажется глупостью. Тогда очень многому из того, что выражали эти слова, я придавал совсем другое значение. И даже надеялся на их действие.

Некоторые записки я сразу не выбросил, складывал в карман, а потом было жалко. Выбросить, значит, уже никогда не найти. Что, зачем? Не знаю. Во всем, уже ставшим прошлым, не подлежащим изменению, я вижу тайну, знак. Мы всегда ищем то, что прочнее нас. Но нет ничего прочнее того, что было нашим началом.

На записке моей рукой написано: «Остаться на вечер не могу. Я на праздники еду домой». Я торопился домой, спокойный и беспечальный. Еще, видимо, не пришла пора сожалеть о том, чего не было и что вообще могло случиться. Я думал, что нет ничего крепче меня.

Это был первый и последний случай, в самом начале первого курса, когда я действительно ни о чем не сожалел и уезжал домой спокойным и уверенным.

Мое студенчество только начиналось, и не было незавершенных разговоров, выпрошенных поцелуев в жесткие, как жесть, губы, не было глаз, не скрывающих презрения, и жалкой улыбки, которой ты хотел бы прикрыть смиренную ревность. Много чего еще не было.

Расставшись с другом, я сразу забывал о нем и не оглядывался, чтобы с тяжелым предчувствием проводить его удалявшуюся спину, не вглядывался в знакомую походку, набившийся над правым виском седой волосок - такое все близкое и мое, что вот-вот исчезнет за углом, в толпе, там…

Тогда я еще мог уходить первым. Не стоял на ветру, подняв воротник плаща, ожидая, - не оглянется ли? - как бы сопротивляясь тому, что разводило нас.

Все, что было в этом мире мое, согретое моим дыханием, было еще сосредоточено во мне, и, озираясь по

сторонам, вглядываясь в окружающие меня предметы, я еще ни в чем не узнавал себя. Для меня еще было тайной, что расстояния не только разлучают, но и сближают, и я упрямо старался преодолевать дистанции, сокращал километры, навязывался, вязал и вязал узелки на нитях связей, не отдыхал сам и не давал покоя другим, и обманывал себя и других: «это не трещина». Да, это были не трещины, а очень часто это были световые годы между чужими галактиками.

И позже мне открылось, что не понимаю, как могу жить я, как могут жить люди, что помогает нам выносить то, что на наших глазах творится ежесекундное разрушение. Одного мгновения хватает, чтобы очароваться, остановиться и ждать, а солнце идет по своему кругу и разводит, разводит нас, и это мгновение уколом входит в тебя. Укол, другой укол, миллион уколов - вот и все, что в конце концов остается. Потери, которых не сосчитать, не остановить, не избежать. И некуда крикнуть - а-а-а! - никто не услышит, не откликнется, и так же отчужденно будут мерцать фиолетовые звезды, и так же бесследно будет скользить в пространстве луч света.

…А в родительском доме меня ждал покой. Без лишних слов и объяснений я открывал двери, и мама, и отец, ненадолго отрывались от своих дел, чтобы встретить меня, как будто я никуда не уходил. И мне казалось, что я действительно не разлучался с домом.

Книжная полка. Я просматривал корешки и печально сжималось сердце - сколько жизней, сколько тайн - и я откладывал один, два, пять томиков, которые обязательно прочитаю, пока гощу. И не прочитывал ни одного.

В нашей с братом комнате прежние шторы затеняют и стол и лица Хемингуэя, Герцена, Лермонтова. Я вглядывался в портреты, и они молча приветствовали меня: ну, как ты?

Фотография брата: печатает на «Эрике». Он гордо заглядывает в объектив, длинноволосый, тонкий, красивый, и для него, восемнадцатилетнего, еще нет остановок на пути к вершинам. А я ощущаю потребность выразить свое двухлетнее превосходство в возрасте грустной улыбкой - я знаю, что она грустная, и мне это нравится - и желаю ему мудрости. Не талантливости, как некогда, потому что талантливость бывает жестокой, и не доброты, как вчера еще, потому что доброта бывает слабой. А мудрости…

Нет, о детстве, пожалуй, вещи в комнате не напоминают. Детство слишком уж далеко, а, может быть, надо очень долго вглядываться. Оно отдых и забава, когда рвешься из него, а теперь оно труд и еще зависть.

Легко я уже не вспомню. А если и увижу солнечный день, белую пыль под босыми ногами, полулитровую баночку, наполненную мутной водой, и три бычка величиной с палец - мой первый улов, - то все равно не вспомню того запаха вывернутого лопатой суглинка в конце огорода, и не на моих пальцах зашелушится, подсыхая, земля, и не я буду смачивать их слюной, и не мою ладонь остренько пощекочет затвердевший носик вьющегося червяка и, когда весь мир от неба до земли заполнит дождь, редкий, крупный, и речка Славянка закипит и покроется молочными зонтиками пузырьков,

не у меня сведет под лопатками и во рту появится горьковатый привкус стебелька кувшинки, когда поплавок провалится в воду…

Все, что я пытаюсь разглядеть, дастся нелегко. Не сразу очертания приобретут размер, а размер наполнится глубиной, цветом, звуком. И поэтому нельзя торопиться, чтобы не примешалось ничего позднего, сегодняшнего, чтобы не обманывать себя и не выдавать сон за то, что было.

Комната больше навевает мне память юности, из которой я никак не вырасту. И это болезненно - задерживаться в юности, опираясь на порыв, когда пришло время жить привычкой. Той юности, которая состоит из устремлений и надежды. В юности есть что-то языческое, похожее на ритуальные пляски вокруг священного костра в пещере. Великанские тени мечутся вдоль каменного потолка - это твое увеличенное будущее. И греет тебя не сокровенный земной огонь, а эти бесплотные тени, до которых не дотянуться.

Я подхожу к столику, выдвигаю ящички - два нижних мои, два верхних - брата. Письма, остатки бумаги, наброски: все та же грусть по уходящему скрывается в многословии. Откуда у молодости такая боязнь тлена? И неоправданная вера в слово: уж оно-то согреет, сохранит. Не сохранит…

И я опять раскаиваюсь: многое потеряно, и я мог прочитать, узнать, сделать больше, и теперь уже не наверстать. И хочется верить: нет, годы еще мои, и я, понявший и себя и мир, как никогда готов к труду и преодолению. Вот сейчас…

Какое это счастье, дом. И начинаешь понимать, что дом - это ты, и все с ним связанное - это ты, и все имеет значение, что когда-либо было или могло быть, что ты говорил или думал о доме, или мог говорить и думать.

Ты представляешь смутное утро, и лужайку, и маленький домик, и тропинку, убегающую в лес, и кустарник, и за кустами - человек, и он вот-вот выйдет, и ты вглядываешься в него и узнаешь в нем себя.

Ты осторожно разведешь ветви куста руками и …

Было рано, но было светло и тихо. И еще кругом все спало, и не спал только ты один, потому что еще не ложился. Ты сдержанно ликовал и наслаждался воспоминаниями дороги, которая представлялась такой долгой и оказалась такой короткой. Как будто ее и не было, и ты никогда не уходил.

Перед тобой был дом, построенный твоим отцом. Здесь тебе дали имя.

Мы рано пробуем крылья. Дом для нас - трамплин, от которого надо хорошенько оттолкнуться и полететь. И мы выходим на крыльцо и летим дальше и дальше, и гордимся собой и полетом, и еще не знаем, что когда-нибудь возвращение в родной дом станет для нас смыслом жизни. И окажется оно совсем нелегким, порою почти невозможным.

Потом, насладившись ожиданием и тишиной, ты поднимаешься по дрогнувшим ступеням и, освободив руки, откроешь дверь. Мать поцелует тебя, и отец пожмет руку, и тебе покажется, что все по-прежнему, как будто вы только вчера расстались. Потому что любовь и доброта, которыми тебя встретят, не имеют меры и не иссякают с годами. И книги на полочке,

и чистый письменный стол, и круглые часы на стене, - все будет как вчера, как было всегда. И младший брат, проснувшийся и все понявший, босиком, без майки, стоит рядом, улыбается без слов, и он уже ростом с тебя, но по-прежнему младший, как тогда, как было.

И ты подумаешь, что никогда не уходил, всегда был здесь, а если это и не так, то все равно, все, что здесь было, было в тебе.

Во мне больше смысла и человеческого запаса, чем заложено в моих генах. Поколения и поколения предков за моей спиной. Я их не вижу, не знаю, не чувствую. Но временами набегающая беспричинная тоска или пьянящая радость, из которых ничто не может меня вывести, - это ли не напоминание об их жизни; самый близкий узел на побеге моего рода - мой деде - так же далек от меня, как и безымянный дружинник из войска князя Святослава.

Я четко помню выцветшую фотокарточку, круглое, желтое лицо деда с прищуренными глазами и босые ноги, выглядывающие из-под лавки. И еще помню тесемочки от солдатских кальсон, они тоже были желтыми. Это я помню лучше, чем живого деда, которого видел несколько раз в детстве, когда не замечаешь ничего из уходящего. Что было в его сердце и памяти? Нет ответа, это знал только он, но никогда не узнаю я. И не буду знать до тех пор, пока темная земля не сомкнется надо мной и не исчезнет и моя весть. Но даже если я и вынырну там, где свет и тень меняются местами, в моих руках вспыхнет иной огонь, он сожжет мою память, и я не узнаю деда. Мы разошлись навеки.

Я это знаю и ничего не могу изменить. Томятся в пластах веков тени, крик которых о воле я как будто явственно слышу, и этот крик больно во мне отзывается. Если бы мог, если бы люди додумались до такого, я бы отдал свою живую кровь деду и неизвестным мне пращурам - в их могилах погребена и моя тайна. Я хочу, чтобы пропавшая бесследно среди чужих далеких солнц нить моего рода на мгновение заалелась на выдутом ветрами времени циферблате вечности, и в поднявшихся тенях я узнал бы и себя и увидел начало своего пути. Нет для меня дороже во всем вечном безмолвии их безвестного молчания.

СЕРГЕЙ ОВСЯННИКОВ

ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЙ
Народного поэта Карачаево-Черкесской Республики, члена СП РФ
Хизира Яхьяевича Абитова

...ШКОЛА РОДНЫХ ПОЛЕЙ

В детстве не раз пришлось мне
В поле метать стога
И собирать колосья.
Пахарь был я - плугарь,
Сеятель был и понял
То, что в судьбе моей
Главной была мне школой -
Школа родных полей.

В поле встречал я часто
Те родники - ключи,
Что утоляли жажду
И подсказать могли, -
Что ко всему,
Кто здравствует,
Тянется к солнцесвету,
Надо быть нежным, ласковым.
О! Как прекрасно это!

В здешних заветных далях,
В час пробужденья степи,
Вечно меня пленяли
Дивные птичьи песни.
Магией звуков смолоду
Я переполнен весь.
Милой земли восходы
Славить - большая честь.

Видел я много раз
Пчёлок, чей трудный взяток
И горьковато - сладок
И восхищает нас.
Рад, что их рано встретив,
Понял я навсегда:
Благословенней труда
Нет ничего на свете.

Часто орла встречал.
Кружит в глубинах горних
И из-за туч он взорлит
Холодом «стрел» зайчат.
Множество лет прошло
С давнего детства светлого…
Тех, кто чинит слабым зло,
Сердце моё отвергло.

В замети дней суровых,
И благодатных дней
Главной была мне школой -
Школа родных полей.

…ЛАСТОЧКА

Хозяин дома ласточки гнездо
С карниза сбил.
Ему - ну хоть бы что…
А ласточка - певунья -
Вот беда! -
Металась у разбитого гнезда,
Пронзительно и долго щебетала,
Окидывая взором дом вандала,
Куда - то исчезала,
Возвращалась,
Но,
Видно,
В людях разочаровалась
И на закате дня умчалась прочь.
О, пташка милая!
Не знаю, как помочь,
Как рассказать тебе о том,
Что люди
Свою любовь к тебе хранят повсюду;
Они не виноваты в том,
Что «коршун»
Разрушил вдруг твой мезонин роскошный.
Касаточка!
Пойми скорей,
Хорошая,
Есть и среди людей злодеи - коршуны.

…ЧЁРНАЯ ЗЕМЛЯ

Земля родных полей черна,
Но щедрости полна и света.
Когда мы бросим горсть зерна,
Воздаст сторицею она.
Не позже середины лета
Колосьев золотых стена
Восстанет доброю приметой:
Черкессия и Карачай
Печь будут славный каравай.

Александр Гайденко. Горный аул

...Я ВОЛЕЮ СУДЬБЫ СВОЕЙ - ПОЭТ

Я волею судьбы своей -
Поэт.
Но безгранично было б моё счастье,
Когда б мог в птиц я перевоплощаться,
Чтоб песней звучной пробуждать рассвет.

Будь я рождён бесхитростным цветком
На пажитном просторе вековом,
С природою родной навечно связан,
Себя б на небе чувствовал седьмом.
Цветы живые!
Ваш удел прекрасен:
Мир содержать в изысканном убранстве.

АЛЕКСАНДР КУПРИН

ПОЭТЫ

Поэты - странники Вселенной.
Над ними Божья благодать.
Они в житейском мире тленны,
Но им дано предугадать

Подчас судьбу всего народа,
Воспеть историю страны…
Ещё зимой в лучах восхода
Увидеть признаки весны.

Стихи, как солнечные блики,
Тревожат душу, вдаль зовут…
Поэтов праведные лики
В народной памяти живут.

ЛЕЙЛЕ БЕКИЗОВОЙ

В ту пору вблизи от Черкесска
В ауле Псаучье-Дахе,
Весна расцвела, как невеста,
И пели восторженно птахи.

И, радость весны принимая,
Где вольная жизнь разлилась,
В день 29-го мая
Черкешенка там родилась.

И девочку Лейлой назвали,
На счастье, на все времена.
Родители словно бы знали -
Профессором станет она!

Филфак, Ленинград - сладкой песней
Для Лейлы звучат до сих пор.
Но в мире ведь нету чудесней
Кавказских задумчивых гор.

Здесь помнят седые утесы -
Звезда молодая взошла!
То Лейла, как женщина в космос,
В науку впервые вошла!

Знаток многогранной культуры!
Оратор - каких поискать!
В её благородной натуре
Таится сама благодать.

Всем сердцем Союз защищает:
Писатель - духовности свет!
И голосу Лейлы внимает
С почтением - сам президент!

Сияют, как грани алмаза,
Слова, что на душу легли:
Бекизова - гордость Кавказа
И слава российской земли!

АЛИМУ КЕШОКОВУ

И Млечный Путь провёл бы по земле
А. Кешоков

Внук кузнеца, сын председателя ревкома,
С народом был ты в жизни каждый час.
О, как мне боль души твоей знакома,
Когда гляжу на землю я сейчас.

Вокруг опять во мгле «не спят Вершины»,
И над землёю «Грушевый» пылает «цвет».
«Восход луны» в просторах Палестины…
От книг твоих исходит чудный свет.

От берегов приветливойШалушки
Ты в мир шагнул с тетрадкою в руке, -
Звучат поныне Лермонтов и Пушкин
На кабардинском милом языке.

Как фронтовик, ты всей душой поэта
Народы мира к миру призывал.
Как депутат Верховного Совета
Стране любимой силы отдавал.

Вобрал ты мудрость песенных истоков.
Держался крепко в жизненном седле.
АлимПшемаховичКешоков,
Свой Млечный Путь провёл ты по земле!

КАЙСЫНУ КУЛИЕВУ

Певец Кавказа и России,
Ни с кем твой голос несравним.
Поклон тебе, Кайсын Кулиев,
Горжусь я именем твоим.

Как будто горные потоки
Мне освежают душу вновь,
Когда в неё вдруг льются строки
Твоих негаснущих стихов.

В них даль небес и запах поля,
В них стон разящего клинка.
В них радость, боль, людская доля
И дружбы верная рука.

Покуда горы вековые
Лелеют небо на хребтах,
Здесь будет жить Кайсын Кулиев
У всех народов на устах.

ГАЛИНА ШЕВЧЕНКО

ЧЕЧЕНЕЦ ИЗ АУЛА ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Посвящено художнику Петру Захаровичу
Захарову-Дадаюртскому (1816-1846),
в 27 лет удостоенному звания российского академика живописи.
Карл Брюллов назвал его вторым после себя портретистом.

Символ Времени, эпохи глыба,
Дерзкий, независимый собрат,
Русский академик, Вам спасибо
Люди за портреты говорят.

Пётр Захаров стал моим кумиром
С тусклого пейзажа - на стене.
От тоски умолкли звуки мира,
Стихли даже шорохи извне.

Мёртвый штиль, уныние заката
Сдержанной экспрессии полны…
Всадник удаляется куда-то -
Посторонним раны не видны.

Отчего ж в моей душе тревога
С неземною силой поднялась?
Оттого, что кисть сказала много -
Шевельнулась истинная страсть.

Жёсткий, независимый художник
Никому в угоду не служил.
В Гения уверовал безбожник,
Верующий дружбой дорожил.

Из республиканского музея
Акварели унесла война…
Имя же с веками не стареет.
Жаль, нет стелы памяти пока.

Сергей Маценко. Легенда

На Ваганьковском напрасно ищут
Праха позабытого оплот…
Значит, Пётр живёт и рядом дышит,
Прославляя собственный народ.

Я горжусь, что с ним мы оба - терцы,
Что ковал характеры Кавказ,
Не ожесточили распри сердце,
Что Россия - общая у нас.

ПОСТУПЬ ВЕКА

Неслыхан века посвист и замах.
Какие лица, помыслы и речи!...
...Вот и идёшь, не размеряя шаг,
последнее спасая - человечье.

С. Подольский

БОДРЯЩИЙ ВОЗДУХ ГРУЗИИ

ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА

- Май на дворе! Теперь работа попрет, только успевай поворачиваться! А ты две недели без содержания просишь! - бурчал отрывисто и резко, точно ломал сухие сучья, мастер службы сжиженного газа. - Что за блажь?

Сам того не подозревая, он неожиданно точно обозначил мое клиническое состояние. Но я лишь твердил:

- Надо мне, надо! Написал же, что по семейным обстоятельствам...

Мастер недавно вышел из нашей среды и еще не привык пользоваться властью. Он взволнованно и раздраженно ходил туда-сюда под навесом из горбатого белого шифера, под которым ставились на ночь машины. Злился и вертел в руках листок с заявлением.

Я слегка усилил нажим:

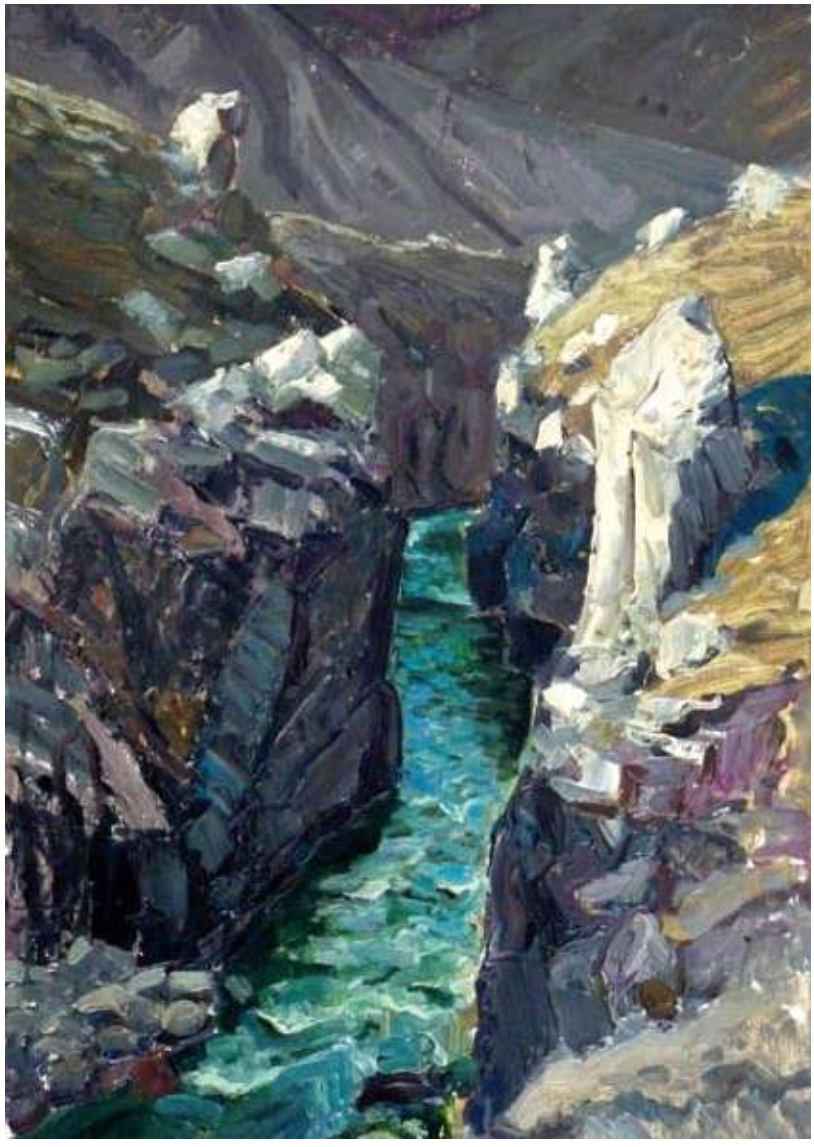
- Можно подумать, без меня «Моздокгоргаз» за две недели развалится! Тем более, что дела пошли лучше, чем раньше. Значительно лучше! - подпустил я, прозрачно намекая на его недавнее возвышение.

До этого он был шофером, и мы с ним развозили баллоны с пропаном по станице Луковской. А когда нам удавалось продать несколько баллонов на сторону, то он, пусть не всегда справедливо, но все же делился со мной.

- Ладно, - сдался мастер, подписывая заявление. - Счастливо тебе!

Я помчался в кассу предварительной продажи, приобрел билет на автобус. Дома тщательно уложил в просторный зеленый рюкзак самое необходимое для себя и подарки для родственников. С этим рюкзаком мой отец, отслуживший четверть века в Советской Армии, еще не так давно выезжал на очередные военные учения.

На рассвете полупустой автобус Моздок - Тбилиси осторожно вырулил с маленькой автостанции. Я лег на заднее сидение и в полусне доехал до Орджоникидзе. Отсюда в наше время начиналась Военно-Грузинская



Георгий Авсаджанов. Верховья Терека

дорога, а вот в начале XIX века ее первая верста шла от ворот Моздокской крепости.

Стоило въехать в сырое и сумрачное жерло Дарьяльского ущелья, небо ушло высоко вверх, будто отброшенное грохотом Терека. А сам он был стремителен, как опрокинутый на спину, горизонтальный, водопад. Мысль о временах хаоса, начале мира, сражении титанов не казалась здесь преувеличенной или возникшей не к месту. И даже большие отары овец, запрудившие дорогу, могли быть предстоящей жертвой языческому божеству.

Овец неторопливо гнали по шоссе небритые чабаны в кудлатых папахах, изредка, с неохотой, покрикивая. Чабанам помогали матерые, скупые на голос овчарки и волкодавы. Овцы были голодные, бестолковые, пыльные; они однозвучно блеяли, наполняя ущелье бесполезными жалобами.

Пассажиры по пояс высовывались в окна и, надсаживаясь, кричали: «Гэй! Гэй!». Маленький потный толстяк выскакивал на дорогу и, освобождая проезд, бежал впереди автобуса, задыхаясь и размахивая фетровой

шляпой. Это был коренной тбилисец, командированный в Орджоникидзе. Там он получил от соседей телеграмму о сбежавшей жене. Он уже два раза с горечью показывал шоферу синеватый бланк, разрушивший всю его прежнюю жизнь.

- Бывает! - кивал шофер, не отвлекаясь от дороги.

Оставив позади, в мрачной теснине Дарьяла, голодных овец, мы прибыли в село Казбеги. На площади - памятник грузинскому писателю Александру Казбеги. Его предки были феодальными правителями этих мест. Теперь здесь размещается музей, где среди прочих экспонатов хранятся шашка и курительная трубка А. С. Пушкина. Разглядывая отсюда на обратном пути из Арзрума вершину Казбека и купольную церковь Святой Троицы, стоящую вместе с колокольней на горном отроге, поэт оставил подробную и точную картину:

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами,
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный над горами.

Далее путь автобуса пролегает по сравнительно широкому пространству Хевского ущелья. Александр Казбеги, приобщаясь к жизни земляков, пас на окрестных альпийских лугах своих овец. Однажды к нему подошли два невесть откуда взявшихся француза и заговорили на ломаном русском языке. Можете представить их удивление, вспоминал позднее писатель, когда в ответ они услышали родную речь.

После ряда бетонных коридоров и галерей начался головокружительный подъем к Крестовому перевалу. Движок мотора стойко и упорно работает на хриплой монотонной ноте. Наивысшую точку Военно-Грузинской дороги отмечает каменный крест. Все машины останавливаются возле крошечного целебного озерца, расположенного в выемке скалы, и путешествующие пробуют холодный нарзан на высоте 2395 метров над уровнем моря.

Девочка лет четырех в пушистой вязаной кофточке, отпив глоток минералки из походной алюминиевой кружки, начала бойко прыгать на месте, чтобы согреться и размять затекшие ножки.

- Восторг над бездной! - по-своему объясняет ее поступок улыбающийся отец.

А потом опять влажный колодезный сумрак в тоннелях с маленькими бойницами, осторожный серпантин спуска в глубинном просторе прозрачного небосвода, пока не выезжаем наконец в долину Арагви.

В селе Пасанаури, которое Дюма-отец запомнил как простой казачий пост из сорока человек, можно сытно пообедать в придорожной харчевне.

Отобедав, едем вдоль правого берега реки Арагви. Толстяк указывает свернутой телеграммой, которую он упорно называет «дэпэшой», на непри-

метный среди горного пейзажа газопровод Ставрополь - Тбилиси. Теперь понятно, зачем он был в командировке: скорее всего, по поводу поставки газа.

ВОТ ОНО, СЕЛО ШАВШВЕБИ!

Не доезжая Мцхета, древней столицы Грузии, сошел у бензоколонки. Там, где направо уходит широкая магистраль в сторону Гори.

Было жарко. На маслянисто-глянцевом асфальте, дымясь, тонули солнечные блики, придавая асфальтовой реке мнимое движение.

Я остановил красный, как спелый помидор, «Москвич». В нем сидел обаятельный на вид парень, с гладким плутовским лицом, и загорелая пожилая женщина.

До самого Шавшвеби они говорили о чем-то веселом, заполняя паузы звучным продолжительным смехом. «Москвич» неутомимо, на большой скорости, шел по липкому асфальту, шелестя и присвистывая шинами.

Обнаружив, что я не говорю по-грузински, они больше не обращались ко мне, подчеркнуто потеряв интерес. Однако я кожей чувствовал легкое снисходительное презрение, исходящее от них. Они никак не могли взять в толк, откуда на краю дороги, посреди Грузии, появился человек, не говорящий на их языке.

Въехав в Шавшвеби, «Москвич» остановился напротив колхозного правления, похожего на районный Дом культуры где-нибудь в центре России.

Я вышел из машины, вытащил рюкзак.

Парень тоже вылез и, лениво потягиваясь, приблизился ко мне. Я спросил:

- Сколько?

Он назвал.

Цена, несоразмерная расстоянию: на эти деньги можно купить двадцать литров бензина. Но мне не хотелось спорить или ругаться с ним. Он взял деньги и уехал довольный.

Я же остался в раздумье. В детстве мне приходилось бывать здесь с отцом, но расположения села я не запомнил, и напрягать память не имело смысла. Мимоходом пожалел о том, что отец несколько лет назад оставил нашу семью и живет теперь на Украине, а иначе наша поездка была бы совместной.

От правления отъехала грузовая машина. Она притормозила, поравнявшись со мной.

- Кто тебе нужен? - выглянул из кабины шофер.

- Арчил Миделашвили, - сказал я и предупредил, что по-грузински не говорю, знаю лишь наиболее расхожие выражения.

- Садись, - пригласил тот. И когда я втиснулся со своим громоздким рюкзаком в кабину, он спросил: - А кем тебе Арчил приходится?

- Родственник.

- Какой же он тебе родственник, если ты русский, а он - грузин?

Я досадливо хмыкнул.

- Самый настоящий. Арчил женат на сестре моего отца.

Шофер недоверчиво качнул головой. Мы проехали около километра или чуть больше в сторону Гори. Остановив грузовик, он указал на необъятный солнечный косогор, далеко и полого устремившийся вверх. По-над самой дорогой росли высоченные тополя, чинары и грушевые деревья, в беспорядке переплелись ветви кустарников. Это буйство вздымалось из густой высокой травы, и я не сразу разглядел проем улицы.

Шофер объяснил, как пройти к дому Арчила.

Я перешел дорогу и стал подниматься по узкой разбитой улочке. Кое-где возле просторных домов из крупного светлого булыжника сидели на лавочках скорбные старые женщины в поношенной черной одежде. Они прекращали разговоры и провожали меня внимательными взглядами. Я вспомнил, что многие женщины Грузии носят траур по умершим всю жизнь.

А вот и нужный мне забор из металлической сетки, покосившаяся дощатая калитка. Двор перевит виноградом. Под навесом - большая глиняная печь, наполовину врытая в землю. Тетя Маня и ее дочь Тина по очереди наклонялись в рдеющий проем и гулкими пришлепами лепили к горячим стенам тонкие овальные листы лаваша.

- Мамида, - позвал я тетю. Дословно - «сестра отца».

Она повернула голову, вытирая лоб тылом ладони, и почти тут же удивление в ее глазах сменилось радостью и недоверием.

- Колиа! - вскрикнула она, узнавая. - Бичико, мальчик мой, как вырос!

И заторопилась, расцеловала в щеки, стараясь не вымазать меня тестом.

Тинико - миниатюрная восьмиклассница - по-детски радовалась приезду кузена. Она улыбалась так шаловливо, так нежно, так искренне, что смущалась своей улыбки и прикрывала лицо ладонями, но тут же отбрасывала их и смотрела лукаво, радостно. Я улыбнулся в ответ.

Вскоре пришли с работы Арчил с сыном. Сын на три года старше меня и по паспорту зовется широко распространенным в Грузии английским именем Робинзон, хотя с детства все называют его просто Лери.

- Здравствуйте! - на «вы», невероятно этим смущая меня, обратился Арчил - невысокий, лысеющий, прокаленный солнцем крепыш, суровый и неухоженный на вид. - Здравствуйте, Колиа!

Глаза его увлажнились. Он не спеша вытер их указательным пальцем, повернулся к жене и распорядился:

- Маниа, готовь на стол. Быстро!

В грузинском алфавите нет буквы «я» или «ю». Фамилия автора «Трех мушкетеров» пишется, например, так: Диума.

ПРИТЧА О ДВУХ БРАТЬЯХ

- Пошли наберем вина, пока накроют на стол, - пригласил Лери.

Он хорошо и правильно говорит по-русски, потому что учился в Тбилиси в строительном техникуме. Но так и не стал прорабом. Познакомился с

сомнительной компанией, научился играть в карты и колесил на электричке до Рустави и обратно, обыгрывая попутчиков. За ним стали охотиться конкуренты. Арчил приехал и увез сына в село. Два года назад Лери вернулся из армии, но пока еще ни разу не рискнул съездить в столицу. Об этом я узнал во время нашего пребывания в подвале. Мы спустились сюда по шаткой деревянной лестнице из четырех ступенек.

- Один кувшин остался, - с ноткой легкого сожаления произнес Лери. - В остальных давно дно показалось. Немного раньше приехал бы, лучше было.

Он присел на корточки перед земляным бугорком и очень бережно стал сгребать его в сторону.

Я огляделся. Подвал длинный, сумрачный, с паутиной по углам. У стенки - старый кухонный стол с раскрытыми ржавыми тисками. Вверху идет толстая, как шпала, деревянная балка. В балку вделаны железные крючья, на одном из них гирлянда крупного чеснока, на другом - чистые резиновые сапоги. Осенью Арчил с сыном по очереди обуваются в них и давят собранный виноград в самодельном деревянном ящике, откуда сок, который даже в начале этого процесса называют молодым вином, сбегает по приготовленному желобу в зарытые здесь кувшины.

- Попробуй, - предложил Лери.

Он уже открыл кувшин, убрал слой виноградных листьев, собрал в кружку плесень и с короткой молитвой вылил в угол. Кувшин огромный - горлышко у него как колесо телеги. Запах вина ароматной волной распространился по подвалу.

- Пей первым, - сказал я.

- Хорошо, - брат помолчал, взгляд его сосредоточился. - Я хочу, чтобы ты не забывал дорогу к нам. А то видишь, как нехорошо получилось: ты приехал, а я не сразу узнал тебя. Ведь мы могли столкнуться в трамвае или автобусе и не узнать друг друга. Мы могли даже подраться...

Сокрушенно покачал головой и рассказал такую историю:

«Давно, еще в старое время, когда отец Арчила был маленьким, жили в нашей деревне два брата. Старший с женой, детьми и родителями, а младший - отдельно, и сам вел свое хозяйство.

Оба брата работали много, но не сумели одолеть нужду. Как на грех, выдался неурожайный год, и каждый из них собрал всего по двадцать снопов.

Старший решил: женщины из одежды что-то свяжут, я с отцом что-нибудь на продажу сделаю, тем и перебьемся; а вот младший, он один, ох и трудно ему придется!

Когда стемнело, положил два снопа на спину и тайком понес брату.

Вернулся, смотрит, а снопов у него не убавилось.

Удивился, взвалил еще четыре, пошел. По дороге столкнулся с человеком, который тоже нес снопы.

В это время вышла луна, и он узнал младшего брата. Тот, оказывается, тоже подумал: живу один, мне много не надо, а у него жена с детьми, родители - все на нем. Как не помочь?

Рассказали братья друг другу об этом и со слезами обнялись...»

- За такую вот братскую любовь! - заключил Лери и медленно выпил.

Признаться, я привык пить недорогой портвейн с бывшими одноклассниками без всяких здравиц. И теперь не знал, надо ли подтверждать данный тост какими-то словами или это совсем необязательно.

К счастью, вверху, в проеме распахнутых створок двери, возникла звонкоголосая Тина, бойко отругала нас и исчезла столь же искрометно, как и появилась.

- Чем она недовольна? - спросил я.

- Говорит, все готово. Арчил ругается (и Лери, и Тина называют отца по имени). Арчил считает, что мы тут напьемся и за столом поговорить достойно не сможем.

- Тогда поторопимся, чтобы успокоить его, - сказал я. - Пусть не думает о нас так плохо.

Наполнив вином два высоких глиняных кувшинчика, Лери прикрыл деревянной крышкой разверстое горло кувшина, врытого в землю. Навалил на крышку булыжник.

«КТО ВЫ, КОЛИА? КТО ВЫ?!»

Мы сидели за столом.

Раньше это была открытая веранда, где гонялись друг за другом шаловливые сквозняки; а сам дом состоял из одной сумрачной, по причине невероятных размеров, комнаты. Когда на веранде установили ажурный оконный переплет и застеклили его соты, то вышла еще одна комната, тоже большая, но очень светлая.

Здесь стояли три железных кровати, стол, стулья, телевизор и потемневший от времени самодельный шифоньер. На свежевыбеленной стене висели большие, как плакаты, портреты Ленина и Сталина в цвете.

Гостям частенько не хватало места, в таком изобилии являлись они по праздникам к гостеприимному Арчилу и занимали весь дом, все кровати. А Арчил с семьей переселялся в полуподвальное кухонное помещение, и они спали на твердых деревянных топчанах, один вид которых напоминал камеру предварительного заключения.

В молодости Арчил был силен и ловок - жгут мускулов. Если считал, что ему нанесена обида, а односельчане старались удержать его от немедленной дуэли, мог перескочить через головы и ударить обидчика пятками в лицо. Он всегда умел постоять за себя, таким же воспитал Лери.

Итак, мы сидим на веранде - Арчил, тетя Маня, Лери, Тинико и баба Эва, мать Арчила. Она живет в соседнем дворе - тучная, молчаливая, отяжелевшая от прожитых лет женщина с темно-коричневыми руками.

Арчил уже дважды произносил тосты, а я смущенно отмалчивался в ответ.

- Сердцами говорить надо, - с некоторой долей досады вырывается у Арчила. - Если я захочу напиться, то пойду в подвал. Буду пить, пока смотреть на вино не смогу. Но так нельзя! Раз мы сидим с вами, Колиа, за столом, значит, любим друг друга, значит, уважаем, и сердца наши должны быть на ладони. Тогда я буду смотреть ваше сердце, что ему надо, буду смотреть, а вы мое - тоже смотри.

Он берется правой рукой за грудь, замирает на мгновение, а потом протягивает вперед сжатый кулак и раскрывает, чтобы я мог видеть его хлебосольное сердце.

- Вино нужно, чтобы хорошие слова услышать. За столом говорить надо. Нельзя за столом рот и сердце на замке держать. Зачем я буду пить с человеком, если он мне сказать ничего не может, а я ему сказать ничего не могу? Сейчас надо выпить за то, чтобы мы с вами, Колиа, сердцами говорили. Чтобы всегда друг о друге все знали и никогда друг друга не забывали.

Мы выпили по стаканчику ароматного густого вина. Закусили. На тарелочках - зелень, сыр, лаваш, кукурузная каша, жареная рыба и курятина.

Темнеет. Над горами, в той стороне, где расположена Южная Осетия, чиркают далекие молнии. Тут темнеет как-то сразу, гораздо быстрее, чем в Моздоке, и Тина зажигает свет.

Баба Эва желает всем спокойной ночи, благосклонно улыбается мне и уходит на свой двор. Арчил провожает мать задумчивым взглядом. Какая-то мысль не дает ему покоя. Она зреет и набухает в нем, как прорастающая фасоль.

- Что думал большой Колиа - ваш отец, когда бросал Грузию? - морщась, как от боли, вскрикивает он. - Зачем? Скажите мне, что он думал?!

- Не понимаю вас, дядя Арчил.

- Эх, Колиа... - вздыхает он так глубоко, что я начинаю нервничать. - Разве там, в России, среди русских, вы - русский? Нет! Разве здесь, среди грузинов, вы - грузин? Нет! Кто вы, Колиа? Кто вы?!

И Арчил вдруг заплакал.

Кровь кинулась мне в лицо, и сердце захлебывалось и спотыкалось в ее убыстряющемся токе. Как же так? В то время мне была незнакома короткая и горькая исповедь Сергея Параджанова: «Я - армянин, родившийся в Грузии, коренной тбилисец, отбывал срок в русской ссылке за украинский национализм». Национальная политика империи казалась мне правильной и удачной.

Этому способствовала размеренная жизнь в разноплеменном Моздоке с его временем выпестованной национальной и религиозной терпимостью. Здесь без драм и эксцессов обитали русские, армяне, осетины, кабардинцы, корейцы, кумыки, евреи... Всех их хоронили на кладбище за железнодорожным вокзалом - и христиан, и мусульман, и корейцев, а в левом углу погоста, впритык к мебельной фабрике, обретали покой моздокские евреи.

И вот после слов Арчила прорастало сомнение, которое раньше никакими доводами не могли поселить во мне сокурсники из союзных рес-

публик: ни эстонец Юри Пярни, ни туркмен Бабанияз Каюмов, ни поэт-харьковчанин Виталий Полищук. Все мы заочно учились на втором курсе литературного института имени Горького.

Я вспомнил, что суеверный Полищук называл людей, не помнящих Родину, перевертышами; он по возможности избегал общения с ними. До сих пор ваш покорный слуга не относил это унизительное слово к себе, а теперь впервые робко примерил.

ВИЗИТ ПАТРИАРХА

Фланирующим шагом курортника я возвращался из сельмага, с интересом поглядывая по сторонам. На подоконнике распахнутого окна стоял проигрыватель: болгарский певец Эмил Димитров роскошным рыдающим голосом пел песню «Я пьян от любви». Крупная полная девушка в глухом бархатном платье старательно выплясывала перед трюмо в прохладной глубине комнаты.

А навстречу бежала тетя Маня в затрапезном кухонном халате, в котором никогда раньше не выходила на улицу.

- Ах, Колиа! - еще издали закричала она. - Пойди посмотри, чтобы Арчил не зарезал корову! Пожалуйста, пусть он не делает этого! Поторопись!

Мы побежали в их двор.

Я метнулся к низкому строению из самана, где жили теленок и корова. Но Арчил уже шел навстречу. В одной руке он держал широкий сверкающий нож, а в другой - черно-фиолетовую индюшку, похожую на распушившийся шарообразный куст. Индюшка слабо подрагивала, роняя с оголенной шеи гранатовые зерна крови.

- О, Колиа, вы уже пришли, - сказал он, смущенно пряча глаза и слегка улыбаясь. - Это хорошо. К нам приехал наш родственник. Я не совсем знаю, кто он для нас и как это по-русски... Но пусть будет чужой человек, разве мы не должны накормить его, если он голоден, и уложить спать, если он хочет отдохнуть?

- Должны... - я неопределенно пожал плечами.

Арчилу совсем не понравилось движение моих плеч.

- Должны! Конечно, должны!!! - вскричал Арчил, вздымая тушку индюшки, как праздничный рог с вином. - А эта женщина говорит, что у нас нет ничего... Что я за хозяин, что за человек, если не могу накормить гостя? Пусть в доме мяса не будет, я себя зарежу, но мой гость будет сыт...

Вошли на кухню. Здесь чинно сидел небольшой сухонький старичок в габардиновом костюме и белой войлочной шапочке. Обычно эту шапочку, любимый головной убор сванов, за пределами Грузии принимают за еврейскую ермолку.

Скрытое внутреннее напряжение исходило от этого человека.

- Давай приготовлю, Арчил, - предложила тетя Маня, отрывая руки от груди и робко протягивая их к индюшке.

- Н-не надо, - выразительно отказался Арчил. - Мы сами. Правда, Колиа? У нас тоже есть руки. Если женщина не хочет заниматься своим делом и накормить нас, то, слава Богу, руки-ноги есть, руки-ноги на месте, мы сами можем накормить всех, - и швырнул индюшку в большой медный таз. Таз юлой крутнулся на утоптанном земляном полу.

Сели на корточки, стали дергать жесткие перья. Тетя Маня, вздыхая, ушла в дом. Старик наблюдал за нами, потом спросил что-то тонким забавным голосом. Арчил представил нас друг другу.

Старика звали Лео. Узнав, что я почти не говорю по-грузински, он сожалел об этом так горько, точно встретился с глухонемым.

- Я же говорил вам, Колиа, что нельзя быть никто! - в очередной раз посетовал Арчил и, сокрушаясь, прижал ладонь к уху. Когда опять занялся делом, на полуседом виске, выделяясь, чернел прилипший птичий пух.

Обдергав и выпотрошив индюшку, мы осмолили ее на керогазе и поставили вариться в огромной кастрюле. Арчил принес из подвала вино.

Лери не было дома, и мы сели за стол втроем.

Оказывается, Лео заехал к Арчилу, возвращаясь от внучки. Внучка в прошлом году получила диплом в столичном институте и вернулась в деревню. Председатель колхоза, чтобы проверить знания колхозной стипендиатки, спросил ее о Ейске, в котором нес в свое время воинскую службу. Маквала ничего не знала об этом городе.

Тогда недовольный председатель сказал, что лучше бы они послали учиться сторожевую собаку главного механика: та пусть ничего не делает, зато, по крайней мере, стыдится этого и постоянно прячется от людей, пока не проголодается.

На это замечание Маквала язвительно ответила, что ее учили в институте грузинскому языку, а не географии. И если уважаемому председателю нужны рассказы о Ейске, то пусть бы и посылал ее туда, а не в Тбилиси. И потом, что это он привязался к ней, как следователь прокуратуры? Высокая должность еще не дает права унижать достоинство другого человека.

Осрамив таким образом председателя, Маквала покинула кабинет с видом, будто это она, а не председатель, стала в Ейске доблестным сержантом.

Лео явно гордился внучкой. Арчил тоже охотно и одобрительно смеялся, поясняя мне время от времени оживленный рассказ старика.

И все-таки на уме у Лео было совсем другое. В свои 73 года он, прожив после смерти жены десять лет бобылем, решил снова жениться и заехал к Арчилу, чтобы узнать, нет ли здесь, в Шавшвеби, подходящей кандидатуры.

Арчилу желание Лео показалось комичным. Он хохотал, как сумасшедший. Сгибал крючком указательный палец и кричал по-русски:

- Лео! Лео! У нас уже так. Вы ничего не сможете.

Старик разгорячился, голос его стал еще тоньше и пронзительнее:

- Нет, Арчил. Нет! У нас все в порядке. Женщина будет довольна. Клянусь прахом отца!

- Не могу, - вытирая слезы, отказывался верить Арчил. - Нет, Лео, не могу. Не проси. Вдруг подведу человека. Нехорошо. Обижаться будет.

Старик перестал спорить, окинул собеседника гордым и презрительным взглядом:

- Ну ладно. До свидания. Мы поехали.

Лео обиделся сразу и сильно, как избалованный подросток. Как будто Арчил исказил и обессмыслил его дальнейшее существование.

- Ва! Лео! - удивился Арчил. - Не обижай. Ночь здесь переспишь, потом поедешь.

Старик покачал головой.

Арчил хмуро морщился.

- Ночь скоро, - не уступал Арчил. - Беспокоиться буду.

- Не надо, - улыбка тронула и озарило личико Лео, как луч нарастающего света. - Зачем беспокоиться? Мой дом - Грузия, и в Грузии я всегда дома. Разве нет?

- Ки, батоно, - подтвердил Арчил. - Правильно... Подожди, подожди немного. Вина налью.

Лео сел.

Арчил принес деревянный бочонок литров на восемь, полный ароматного сухого вина цвета зрелой вишни. Потом вытащил из кастрюли индюшку и со словами «Горячее сырым не бывает» разорвал пополам. Лео неторопливо уложился, взял бочонок, крякнул.

- Тяжело, да? - посочувствовал Арчил. - Может, отлить?

- Слушай, Арчил, - разозлился старик, - ты меня совсем за мужчину не считаешь. Какой бессовестный стал!

- Извини, Лео, я пошутил, - сказал Арчил.

Мы пошли провожать Лео.

«ОТЕЦ СОЛДАТА»

Утром пошел град.

Он был такой крупный, что убило двух индюшат, прежде чем их загнали под навес и обложили дровами.

- Какое горе! - твердил Арчил. - Какое горе! - и свирепым полушепотом матерился по-русски и по-грузински.

- Почему горе? - совсем некстати поинтересовался я у Лери.

- Виноград, помидоры - все побьет! Как ты не понимаешь?! - рассерженно закричал брат.

Вообще-то я представляю последствия разгула стихии, но меня поражает масштаб страданий. Ни разу в жизни не видел, чтобы кто-то переживал так из-за погоды.

- Нехорошо, - говорит тетя Маня. - Ах, как нехорошо получилось! Сейчас в деревне двойной праздник празднуют - день основания и чтобы град не пошел. А он... Вот он, град!

Мы сидим в сумрачном полуподвальном помещении кухни. Дверь открыта. Мы сидим и смотрим, как прыгают на сухой темной земле крупные светлые градины. Наиболее резвые заскакивают к нам в гости.

- Нет! - говорил Арчил, растирая подошвой матовые шарики. - Нет. Не могу смотреть. Не мо-гу!

Достает из ящика комода тоненькую, почти как виноградный усик, церковную свечку из желтого воска, зажигает и крепит робкий огонек к углу низкого темного комода, капнув туда воском. Потом ложится на топчан и с головой накрывается тонким латаным шерстяным одеялом.

Над топчаном висит карта Грузии. Старая, потертая.

Время как бы остановилось, замерло, пока не появился брат Арчила - Сосо. Он пришел со всей своей большой семьей. Никто не пошевелился. Арчил, накрытый с головой одеялом, лежит неподвижно. Семья Сосо молча расселась кто где. И вот все мы сидим и смотрим, как скачут, устилая землю, разыгравшиеся градины, а земля начинает медленно темнеть, будто набухая кровью.

- Арчил, пора идти на работу, - говорит Лери.

Сосо решительно поднимается с деревянного ящика из-под пива. Арчил откидывает одеяло и встает с топчана.

Мужчины уходят из дома, не позавтракав.

Вечером Тина, чтобы отвлечь от горестных мыслей, объявила поход в кино. Она выглядела юной феей, пожелавшей наделить всех счастьем, но еще не вполне уверенной в правильности заученных заклинаний.

Арчил повел вокруг безумным взглядом. Как можно в такой день вспоминать о кино?

- Правильно говорит Тинико, пойдем, - поддержал сестру Лери. - Хороший фильм. Называется «Три мушкетера», - и, лихо протыкая воздух, изобразил перед Арчилом выпад шпагой.

У сельского клуба неспешно и важно собирались люди в чистых праздничных одеждах. Были дышащие здоровьем и силой молодые пары, крепкие пожилые люди, сухие жилистые старики. Носились между ними дети, верткие, крикливые, радостные.

Пришел молоденький худой киномеханик с редкими усиками, открыл узкую дверь. У двери равнодушная, небрежно одетая женщина стала продавать билеты. Зал был низкий, сырой, почти квадратный. Все вошли и расселись. Киномеханик поднялся на крохотную сцену и сказал:

- Нет «Трех мушкетеров». Не привезли.

- Как не привезли? - заволновались люди. - А что привезли?

- «Отец солдата».

- Аферист! - пронзительно и почему-то по-русски закричал седой воинственный старичок. - Аферист! Аферист!

Он был сморщенный, как вишенка, не замеченная во время сбора и до сентября провисевшая на дереве. Он беспрерывно выкрикивал это слово, наверное, самое оскорбительное в его лексиконе: «Аферист!» - и стучал

крепкой кизиловой палкой о деревянный, чисто вымытый пол с широкими щелями. Иногда из щели высовывалась крысиная мордочка и, подрагивая острым треугольным носом, с любопытством поглядывала по сторонам.

Лери крикнул:

- Ты знал, что не привезут «Трех мушкетеров»! Ты специально написал так. Чтобы людей собрать, шен мама дзагло!

«Шен мама дзагло» - самое распространенное в Грузии ругательство. Оно относительно безобидно, в переводе на русский означает: «Твой отец - собака!» - и им охотно пользуются женщины и дети.

Все шумели, кричали, стучали ногами.

- Нет! Честное слово, нет! - взвизгнул киномеханик. - Правда не привезли! Правда! - и стучал в грудь кулаком.

Зрители угомонились не скоро. Киномеханик был потный. Арчил смотрел на него с досадой.

- Это люди, да? - презрительно сказал Арчил. - Зачем обманывать?

- Он знал? - спросил я.

- Знал. Конечно, знал. Его отец в пятьдесят третьем году уже делал так. Написал «Тарзан», а стал показывать другое. Его чуть не убили.

Фильм «Отец солдата» в это село попал впервые. Сюжет его прост: пожилой крестьянин из Кахетии в поисках сына-танкиста на дорогах войны. Но главный герой в исполнении Серго Закариадзе обладал таким феноменом достоверности, что в зале не осталось ни одного равнодушного зрителя.

...Наши солдаты заняли немецкий город. На окраине города виноградник. Георгий Махарашвили, взволнованный неожиданной встречей, идет меж рядов и разговаривает с виноградом, как с живым, близким существом. Он останавливается, бережно, словно собрался понянчить ее, берет виноградную лозу.

В зале, как по команде, установилась настолько оглушительная тишина, что в ней рождались и тлели, мнимо потрескивая, слуховые галлюцинации. Я взглянул на Арчила. Глаза его округлились, блестели, ноздри подрагивали. Это он, Арчил, беседовал сейчас там, на экране, в Пруссии, с виноградом. Он, а не Махарашвили. Это его движения были так бережны и так нежны.

Потом танкисты, молодые ребята, чинили танк и, исправив, пустили его по винограднику. И тяжелое железное чудовище с грохотом подминало под себя легкие трепетные кусты.

- А-а! - раздался высокий нарастающий крик, и темная, с поднятыми руками, фигура метнулась к экрану. - Что делаешь, проклятый? Что? Что делаешь?! Сука!!!

Это был Арчил.

Почти тут же появился на экране Махарашвили, не менее страшный, не менее потрясенный.

Арчил стоял посреди прохода, с благодарностью смотрел на киногероя и плакал. Потом вернулся на место - какой-то маленький, опустошенный. Слезы он размазал рукавом по лицу, и мокрое лицо блестело.

Когда вернулись домой, у калитки стояла корова.

- Ну вот, - сказал Арчил, - забыли про бедное животное. Как могли?

И он виновато провел корову в стойло, поглаживая по гладкому крутому боку.

ПРОЩАНИЕ С ГРУЗИЕЙ

Я проснулся среди ночи и понял, что пора уезжать.

Необходимый ритуал поездки был выполнен: отдохнул, повидался с родственниками, пора и честь знать. Зыбкая же надежда, которая грела на уровне подсознания, растворилась, как таблетка от кашля. Грузия никогда не станет моей родиной.

Нелегко было убедить Арчила в том, что пришел момент расставания. Ему нравились мгновения встречи, и он люто ненавидел процесс прощания.

Мы стояли на обочине.

Мимо стремительно неслись машины. У многих на лобовом стекле красовался портрет И.В. Сталина. Так Грузия утверждала свое право на развенчанного «отца народов».

Вряд ли еще хотя бы один грузин достигнет такой известности и такой власти. Досадно, конечно, что его слава масштабнее славы Руставели, но тут уж ничего не попишешь. Хвалиться приходится тем, что есть, а не тем, чем хотелось бы.

Показался автобус. Лери проголосовал, но автобус не остановился. Еще один промчался мимо, а третий, наконец притормозил. Шипя воздухом в шлангах, открылась задняя дверь.

Я торопливо перецеловался со всеми. Вскочил на ступеньку. Арчил подал рюкзак.

- Колиа, - сказал он. - Извините, если было не так. Приезжайте. Осенью хорошо - урожай убираем. Другой раз лучше будет.

- Больше никто не едет? - крикнул шофер.

Пассажиры, оглянувшиеся на русскую речь, промолчали, наблюдая наше прощание.

- Мы поедем одно место, - торопясь говорил Арчил. - Там мой друг. Там хорошо. Лучше, чем Шавшвеби. Красивее. Там есть это... Как сказать по-русски?.. Лери! Как это будет по-русски?..

Автобус тронулся.

- Водопад! - закричал Арчил. - Водопад, Колиа! Очень красиво! Там вам будет хорошо писать! Слышите?!

Я кивал и смотрел сквозь обширное заднее стекло на их удаляющиеся фигурки.

Арчил, тетя Маня, Лери и Тинико!

Они что-то бодро кричали вслед.

Вдруг откуда-то выбежал и стал носиться взад-вперед черный, сверкающий, как антрацит, жеребенок. Внимание провожающих моментально

переключилось, они взмахами рук заботливо отгоняли его от дороги. А малыш думал, что с ним играют, и энергично взбрыкивал, пиная и утаптывая задними ножками бодрящий воздух Грузии.

На какой-то миг мне с такой силой захотелось очутиться среди них, в их безмятежной раскованной суете, что, поддавшись порыву, едва не остановил автобус. Но плавный поворот милосердно скрыл, спрятал их от меня с той неотвратимостью, деликатностью и благородством, с какой крадет и прячет пейзажи первый обильный снег. Мне не оставалось ничего другого, как, виновато помедлив, усесться на свободное место.

Дорога сама по себе награда, - утверждают жители Индии.

Справа, возле глубокого обрыва, мелькнула органично вписанная в пейзаж средневековая сторожевая башня, которую я не заметил, когда ехал в Шавшвеби. И тут же, безо всякой видимой связи, вспомнился недавний и незначительный на первый взгляд эпизод.

Дня три-четыре назад, ближе к вечеру, Арчил вошел на веранду. Я лежал на кровати, поверх покрывала, и знакомился с учебником грузинского языка для начальных классов. Арчил направился в комнату, но вдруг остановился. Похоже, его задела моя праздность.

- Хватит лежать, Колиа, - обеспокоенно сказал Арчил. - Не надо читать. Надо жить.

Подошел, отобрал книгу и, заменяя ненайденные русские слова эмоциональной грузинской речью, рассказал занятную историю, которую, судя по всему, уже долгие годы хранила и передавала из поколения в поколение народная память.

Жил когда-то в селе великий печальник. Стоило этому горе-крестьянину услышать грустную весть, и он уже не мог думать ни о чем другом. А только тяжело вздыхал, как больная корова, отказываясь от веселья, работы, вина и пищи.

Однажды проснулся он в хорошем настроении и, напевая что-то под нос, сел завтракать. Было летнее утро, легкий ветерок беспечно шуршал виноградными листьями. Живи и радуйся, человек!

В это время по улице бежал мальчик и кричал: «Эй, люди, слышали новость? В соседнем селе корова отелилась бесхвостым теленком!»

- Вай ме! (Горе мне!) - сказал печальник и отодвинул миску с едой.

- Что случилось? - испугалась жена.

- Ох, как подумаю, что настанет лето, а несчастному животному нечем будет гонять мух, так просто жить не хочется

Если все мы будем только печалиться о мире, то некому станет работать и любоваться им. Примерно таким простодушным нравоучением завершил свой рассказ Арчил и дружелюбно, но настойчиво пригласил меня на прополку кукурузы.

Позади оставались Грузия, Арчил, впереди меня ждала моя жизнь, заботы, и я понимал, что память ушедших дней надолго, если не навсегда, останется со мной...

Я - НЕ ЗАМОРЫШ!

(Отрывки из повести)
При участии Дениса Логинова, моего внука

1. Мама первый день на работе, я - первый день в школе

Мы перебрались в комнату Владимира Сергеевича, нашего земляка-мебельщика. Мать пошла работать санитаркой в медсанчасть. Двое суток по двенадцать часов, двое суток - дома.

Свой первый рабочий день она начала с уборки не в палате у отца. Всё должно быть по очереди. На этаже 20 палат, надо помыть полы во всех да ещё в коридоре. К отцу решили пока не заходить - сначала работа. Я маме, конечно, помогал - носил ей ведра с водой. Мне, честно говоря, было не по кайфу - пацан занимается мытьем полов. В палатах, где мама убирала, к моему присутствию отнеслись спокойно. Точнее, не обратили внимания. Только одна бабулька сказала: «Молодец, мальчик. Маме помогает». Мне ещё больше стало не по себе, к тому же - какой я мальчик? У меня рост метр восемьдесят. Мама правильно поняла моё смущение и сказала:

- Константинович, не царское это дело - полы мыть. Оставь, я сама.

- Я не полы мою, а тебе помогаю. Чувствуешь разницу?

- Чувствую, - улыбнется мама.

Мы, как сговорившись, не заводили речи об отце. Но работа шла своим чередом и приближала нас к его палате.

- Ну вот и батя твой, - нарочито торжественно сказала мама.

Я почему-то разволновался и оттягивал очередную встречу с отцом. Главное, чтоб он опять не напился. Может, Жанка и не уехала из Перми и снова принесла ему бухла, то есть пива, а может, что покрепче.

Я первым шагнул в палату:

- Привет, пап!

- О, кого я вижу! - сказал батя бодро и, как мне показалось, с нежностью посмотрел на маму.

- Пока я буду убирать, ты покорми отца, - распорядилась мать.

К папиной казенной каше прибавились орехи, которые мы с мамой ещё вечером накололи. Некстати вспомнится дядька Мишка - он же эти орехи и мёд передал для отца.

Мама быстро управилась с работой:

- У меня - всё! Влажная уборка завершена, - как бы доложила она больному и улыбнулась. - Ну, я пошла. Мне другие палаты мыть. Кирилка, ты тоже не задерживайся, тебе в школу.

Я вдруг понял, что с отцом мне не о чем говорить. Чтобы заполнить паузу, я предложил делать бате зарядку. Стал потихоньку разминать ему стопу, свободную от гипса. Потом начал сгибать и разгибать его руки, которые были будто плети. Мне очень хотелось, чтобы у него уже нарастала мускулатура.

- Сынок, ты не опоздаешь в школу? - спросил отец.

- Да, пап, мне пора, - сказал я с некоторым облегчением. - До завтра! Мама к тебе ещё зайдёт.

Я благополучно добрался до вечерней школы. Нашёл Людмилу Васильевну:

- Здравствуйте, я пришёл.

- Вот и славно, - сказала она.

Я невольно сравнил её с нашей классной, из Лесостепновской школы. Конечно, Людмила Васильевна была милее и симпатичнее. Но тут я себя поймал на очередном предательстве: Наталья Анатольевна всё сделала, чтобы меня отправить к отцу, а я как бы от неё отрекся в пользу городской Людмилы Васильевны.

- Так, куда тебя посадим? - Она обвела взглядом класс, где сидели человек пятнадцать учеников - разномастная компашка. На последней парте, пряталась от учительских глаз упитанная девица, явно старше четырнадцати лет.

- Кирилл, у тебя рост соответствующий, ты прекрасно будешь смотреться рядом с Валей.

- Привет, - я присел возле девицы.

- Что ты вытаращился? - прошипела соседка по парте. - Беременная я. Ещё вопросы есть?

- А у меня их и не было, - стушевался я от такого приёма и от самого факта беременности моей соседки.

- Вот и правильно, а то скажу, что ребёнок от тебя, тогда попляшешь, - прошипела она угрожающе. - Знаешь, что за изнасилование бывает?

- Знаю… Но я тут при чём? - Честно говоря, не рассчитывал на такой приём. Знал, что тут всякой братии насобирали, но чтобы вот так - изнасилование и всё такое… Я вспомнил про Звёздную Звезду и Амбала, там какая-то непонятка с Ленкиной беременностью.

- Валя, вы уже познакомились с Кириллом? Вот и славненько, - обратилась в нашу сторону Людмила Васильевна. - Да, все собрались? Я вам сейчас представлю вашего одноклассника.

Владимир Грибачёв.
Наследник

Я встал.

- Это Кирилл, он буквально три дня назад приехал к нам в Пермь из неоднозначного региона. Папа его после аварии в медсанчасти лежит. Прошу любить и жаловать.

Я сел и исподволь начал рассматривать Валю, её внешние признаки беременности. При этом меня не покидала мысль о Звёздной Звезде. Неужели правда, что она залетела от Амбала? Действительно ли его закрыли? М-да…

Людмила Васильевна артистично рассказывала о проблемах нравственной памяти в каком-то там рассказе. Я, если честно, ни фига не старался вникнуть. У меня своя «нравственная память»: вот Ленка - как она там, беременная? Кошмар, Завмаг, наверное, её со свету сживёт! Про Маришку у меня «нравственная память»: пишет эсэмэски только про орехи, а может, она в меня влюбилась? Но мне теперь нравится консультант Ксения, которая похожа на Маленькую Эротику. Но и Ленку беременную жалко. Блин, с этими бабами я запутался!

А что там рыжий Дениска? Как бы в моё отсутствие у них с Маришкой любовь-морковь не случилась, подумал я с ревностью. Может, у Дениски спросить про адрес его деда из Соликамска? Земляк все-таки.

Зазвенел звонок, все высыпали в коридор, я тоже. Подошёл первым к пацанам, хотя мне это стоило усилий. Я приказал себе не показывать свою несмелость перед ними. Пацану быть трусом нельзя никак.

Познакомились, тут же подошли боксеры - мой тёзка Кирилл и разрядник Славик. Оказывается, они учились в 9-м классе - на год старше.

- О, какие люди и без охраны!

- Ну что, приколола тебя Валюха?

- В каком смысле?

- Ну, она, видишь, толстая. Каждому пацану говорит, что от него беременная.

- А, ну да, - признался я. - Ещё и за изнасилование грозилась.

- Ха-ха-ха, - ржали пацаны. - Оба-на, не успел приехать, сразу папашей стал!

- А ты, правда, из неоднозначного региона?

- Он однозначный, - это боксер Славик сказал свое слово. - Мы вчера даже паспорт смотрели у него. Все по-русски написано.

Короче, первое знакомство состоялось, угрозы я не увидел. Мне повезло, что вчера задружил с боксерами. Правда, пришлось в качестве вступительного взноса купить на все деньги чипсов. Новые однокашники остались довольны.

После уроков, которые заканчивались в восемь вечера, вспомнил, что у меня на проезд денег не осталось.

- Пацаны, кто займет на билет?

Дружно скинулись по мелочи. Оказалось, даже больше чем на проезд. Я отправился сразу к отцу в больницу.

2. У мамы и отца - «вечер воспоминаний»

А в это время мама и отец вспоминали лучшие дни своей совместной жизни. Их оказалось не так много, как хотелось. Но вышло, что самыми счастливыми были: день их свадьбы и день моего рождения.

- Костя, скоро мы с сыном уедем, прошу тебя, уделяй ему внимание, пока есть время. Сколько можешь.

- Иринка, я понимаю… Держать вас не могу, - виновато улыбнулся отец. - Я и в молодости не смог тебя удержать, не смог дать того, что ты заслужила. А сейчас тем более: ни здоровья, ни кола, ни двора… Последний участок с дачей отожмут, козлы.

- Да дело не в этом, если ли у тебя за душой что-то или нет. Сын, знаешь, как переживает за тебя! Ведь он сам хотел к тебе через полстраны ехать - автостопом.

- Перед сыном я виноват. У него сердце слишком доброе. Трудно ему будет в жизни…

- Да, он мягкосердечный… Это, наверное, плохо. Таких считают бесхарактерными, - вздохнула мать. - Ты же помнишь, он у нас кесаренок. Галина, подружка моя из амбулатории говорила, что кесарята не приспособлены к преодолению трудностей.

- То, что он кесаренок, я, конечно, помню… За тебя тогда я сильно переживал, веришь?

- Хотелось бы верить, - вздохнула мать. - Как он на тебя похож, наш Кирилка… Не только внешне. Твой характер, твои движения, даже в голосе твои интонации.

- Да, сын - мой. Он на меня похож не только худобой…

- Думаю, твои родственники, когда увидят Кирилла, признают, что он с ними одной крови, - грустно улыбнулась мама.

Отец промолчал, только положил свою руку на мамину, она осторожно высвободила свою.

- Знаешь, Костя, ещё раз тебя прошу: за это время постарайся дать ему хоть что-то, что не смог в своё время. Главное, сам не раскисай. Прояви характер.

- Ты собираешься выходить замуж?

- Костя, мы от главной темы отошли. У нас есть общий сын, но у каждого своя жизнь. Прошло ведь больше десяти лет…

- Я понял. Ты выходишь замуж за этого, как его… Зоотехником работал ещё на ферме.

- Михаил…

- Да, Михаил. Я знаю, ну, желаю счастья. Тем более, он теперь у вас председатель.

- Стоп! Ты сейчас о чём? Кто тебе это сказал?

- Это он по всему Лесостепному говорит. Мне вчера звонил Артём. Он рассказал.

- Какая самоуверенность... Ну председатель, ну великий начальник, - хмурилась мама. - А Завмагу зачем надо было все это распространять? Зачем вы, мужчины, всякую фигню перемалываете? У него что, своих проблем нет?

- Да Артем нормальный мужик. Просто предупредил по-товарищески, - отец попробовал защитить Завмага. - Он, кстати, меня звал обратно. Станцию техобслуживания открывает, нужен мастер.

- Подумай… Может, и правда вернешься. У тебя золотые руки.

- Надо оклематься, там будет видно…

- Вот именно. Пока нужно тебя вытаскивать. Я и батюшке из нашей церкви слово дала, и перед сыном у меня есть обязательства вытащить тебя. А тему моего замужества закрыли. Я же не говорю о твоей жене…

- Ну какая она мне жена?

- Не знаю какая, но скандалы закатывает как самая законная.

- Ну, ладно, тоже проехали… Вы уже перебрались на новую квартиру?

- Да, я же говорила.

- Там отвёртки не найдётся?

- Отвёртки? Зачем? - удивилась мама.

- Отремонтировать надо розетку.

- Ну, здесь же есть дежурный электрик. Давай, скажу заведующему?

- Да нет, хочу вместе с сыном отремонтировать розетку. Я буду говорить как, а он делать.

- Ну, ты слишком буквально отцовское воспитание понимаешь. Там ток, опасно…

- Да что ты! Мы же обесточим.

В это время в палату вошёл я.

- Всем привет!

- Сын, здоров! - Отец приподнялся на локтях, попыталася протянуть мне руку, но как-то неловко откинулся на подушку. Но мы всё-таки пожали друг другу руки. Я почувствовал, что отец хоть и слабый ещё, но о нём уже можно сказать, как и прежде: худой, но жилистый.

- Как дела в школе?

- Нормально, - почти небрежно бросил я, хотя хотелось рассказать отцу (без мамы) о том, что задружил с боксерами. Но, конечно, не о ложной беременности новой одноклассницы Вали. Опять вспомнил по Звёздную Звезду Ленку - ей сейчас несладко. Если, конечно, правда, что она залетела. Может, позвонить? Хотя, конечно, не при родителях.

- Ну, вы тут поговорите, а я пошла дежурство сдавать, - сказала мама и вышла из палаты.

- Пап, как твои старые кости? - попытался я пошутить.

- Нормально, - уверенно ответил мне отец. И я понял по тону, что у него действительно дела идут на поправку. Мы молчали. Вот так всегда, я заметил, когда есть, о чём поговорить с отцом, кто-то присутствует, например, мама. Когда остаемся наедине, вроде не о чем говорить. Вот мы и молчали. Я решил заполнить паузу:

- Пап, а что ты маме говорил про розетку?

- Ты слышал, что ли? Да починить надо бы, а я вот, сам понимаешь, не могу.

- Давай! А что для этого надо?

- Ну, сначала отключить щиток энергоснабжения. Нужно с дежурным электриком договориться. Это надо делать днём. Давай завтра, а то ведь придётся отключать свет.

Я вкратце рассказал отцу о новых школьных товарищах, немного изобразив из себя крутыша. Отец слушал внимательно.

- Это хорошо, что ты задружил с пацанами и сразу заявил о себе.

- Конечно, - согласился я и предложил сделать бате зарядку.

- С удовольствием! - согласился отец.

Мы долго манипулировали с его доступными суставами. Устали оба.

Мама зашла за мной и с улыбкой сказала:

- О, размахались крыльями!..

- Пошли на взлет, - попытался пошутить отец.

- Ну, и мы, Кирилка, наверное, пойдём на взлёт? Вечер воспоминаний завершен, - грустно улыбнулась она.

- До завтра? - спросил отец.

- Завтра не моя смена, - сказала мама. - Кирилл сам придёт. А я, наверное, какую-то подработку поищу.

- Ну пока, пап, Я обязательно буду…

3. Отцовское воспитание: меня долбануло током, я ждал сверхспособностей

На следующий день я пришёл в медсанчасть с утра. Сделали упражнения с папиными тугоподвижными суставами. Потом разработали план ремонта розетки. Дело нехитрое, но я побаивался - мне не приходилось иметь дело с током.

Сбегал к больничному гаражу, где располагался электроучасток, объяснил дежурному электрику, что надо. Он, удивительно похожий на грузчика дядьку Сергея из Лесостепного, согласился пойти к бате в палату (я уже который раз ловил себя на мысли, что здесь встречаются люди, очень похожие на наших, лесостепновских. Или я сам себе это придумывал?). Короче, пошли с электриком, похожим на грузчика, в палату к бате.

Отец попросил отремонтировать розетку.

- Главное, чтобы сын своими руками это сделал, понимаешь?

- Понимаю, - сказал электрик. - Я, например, своих пацанов гоняю по дому. Они что-то должны делать своими руками, ну и уважать отцовский труд.

- Вот и мой сын хочет сам починить розетку, - батя глянул на меня.

- Ясно. Но по технике безопасности положено отключить электричество. А это целая канитель. Сейчас процедуры и всё такое, - электрик с шумом водрузил на прикроватную тумбочку свой «ядерный чемоданчик». - Это надо писать заявку, согласовывать с замом главврача…

- Я понял. С тобой каши не сваришь.

- Кашу, может, и сваришь, только пустая ложка горло дерёт.

- Конкретно говори, мужик.

- По пивасику…

- Вопрос решаемый, - сказал отец. - Открой тумбочку, подними дно.

Электрик поднял фанерку на дне тумбочки. Там лежала целая батарея пивных бутылок.

- О-о-о!.. - воодушевился электрик. - Правильный ход. - Он ловко извлек из тайника один пивасик.

- Постой, мужик… Сначала дела сделаем.

Мы встретились с отцом взглядами: откуда дровишки? Он ответил на мой немой вопрос:

- Это с прошлого раза осталось, когда Жанна приносила.

- Так! Моё дело давать команды, - заявил электрик, - а твой короед будет всё исполнять. Так?

- Ну так, но мой сын не короед…

- Как же, не короед! В школу денежку дай, на чипсы - дай, на телефон - дай. А потом скутер захочет, а потом - девки. Что, твой, скажешь, не такой? Все они, пацаны, одинаковые.

- Мужик, мы сейчас не о том говорим, - мрачно ответил отец, вдруг, как мне показалось, устыдившийся, что он как раз «денежку» не давал мне ни в школу, ни на чипсы, ни на телефон. - Короче, если хочешь помочь, давай. Нет, значит, нет.

- Так! - торжественно сказал электрик. - Работаем под напряжением. Сам понимаешь, я отключить целый этаж не могу. Гарантирую, всё будет нормаль! - Он распахнул свой «ядерный чемоданчик», сунул мне отвертку:

- Откручивай болтик, снимай крышку.

Я вспомнил почему-то Завмаговское «решил - действуй» и с волнением открутил крышку. Внутри, мне показалось, был клубок змеёнышей, а не провода. Микрофильм фэнтези…

- Дай, гляну, - отодвинул меня электрик. - М-да… Просто нет контакта. Видишь, провод подгорел, изоляция оплавилась.

Глотнув пива, скомандовал:

- Откручивай распирающие лапки…

- Чего? - я про лапки не понял.

- Там болтики, сынок, держат распорки, - подсказывал отец.

- Смелее! - подбодрил электрик.

Я волновался, аж пальцы онемели, но болтики поддались.

- Откручивай силовые контакты, - дал указания электрик. - Освобождай провод.

Я напрягся, из-под отвёртки высунулось алюминиевое жало.

- Молодец, Кирилл, - подбодрил отец.

- Пошёл второй, - давал команду электрик.

Я смело приступил к другому болту, чтобы освободить силовой контакт. С удовлетворением отметил про себя, что думаю уже на «электрическим языке». Тут отвертка соскочила внутрь розетки, туда, где клубились змеёныши проводов. Сноп искр! Страшный треск!.. Меня так долбануло током, что я отлетел, опрокинув спиной папину тумбочку с пивным тайником.

- Сын!.. - заорал отец, дернулся и свалился с кровати, повиснув загипсованной ногой на растяжном механизме. - А-а-а…

У меня перед глазами плыли круги. Свозь радужную сетку увидел отца, который корячился на «виселице», но я не мог пошевелиться. Электрик, придурок, стал спешно собирать раскатившиеся по палате «пивасики». На шум сбежалось всё отделение. Первой возле меня оказалась медсе-

стра Катя, которая мне тайно нравилась. Она была испугана и ещё красивее прежнего. Даже красивее Звёздной Звезды.

- Что с тобой? - она поддержала мою голову своими теплыми ладошками, нежно провела по щекам. Мы встретились взглядами, потом мои глаза опустились к скромному вырезу халата, где колыхнулась очень даже немаленькая эротика, я невольно положил руку на торчащее передо мной её колено и… потерял сознание. Это произошло не от удара током, а от божественных прикосновений медсестры.

В нос мне шибанул нашатырный спирт, я очнулся. Теперь, к моему разочарованию, надо мной колдовал Виктор Ильич и ещё какие-то медсестры. А Катя склонилась над моим отцом. Вместе с электриком, санитаром и ещё каким-то врачом они умащивали батю на его распотрошённом ложе, поправляли растяжной механизм. Катя в своих движениях была восхитительна. Я именно такими, непривычными для меня словами думал про неё: «божественна», «восхитительна»!

- Очнулся… Всё нормально, - констатировал Виктор Ильич. - Давай, осторожно его на носилки.

Он и ещё какая-то медсестра помогли мне приподняться и перевалиться на носилки-каталки.

- Сынок, ты как? - подал голос отец.

- Нормалёк. А ты как, пап?

- Всё хорошо, - бодрился отец.

Мне, однако, было фигово. Хотя ныл у меня только палец, куда ударило током. Меня не тошнило, голова не болела, но было фигово. Во-первых, отец, наверное, покалечился, во-вторых, мама ещё не знает о происшествии. И потом, эти бутылки с пивом… И медсестра Катя не появляется. И Звёздная Звезда Ленка беременна от Амбала. И Ксения из салона сотовой связи, которая похожа на Маленькую Эротику, вообще ко мне не имеет отношения. И Маришка не пишет эсэмэски, и Денис молчит. Всё - в кучу! Я чувствовал себя конченым заморышем.

Но хорошо вот что: врач Виктор Ильич, когда меня несли в палату, сказал:

- У многих людей после удара током открываются сверхспособности.

Через какое время, интересно? Надо ждать. С этой мыслью, а также с удовлетворением, что не надо идти в школу, я уснул. И снился мне всё тот же сон: я взбираюсь по лестницу без перил - на балкон, где теперь стоит медсестра Катя. А внизу отец и мать - обнявшись, и я, маленький.

Сон прервала мама:

- Кирилка, ты спишь?

- Уже нет.

- Господи, горюшко ты моё, - заплакала она. - И этот взрослый дурень нашёл время для отцовского воспитания.

- Мам, не плачь. Врач сказал, что у меня откроются сверхспособности.

4. Я влюбился в медсестру Катю и совершил ещё один подвиг Геракла - с газонокосилкой

Случай с коротким замыканием и с пивными бутылками, но без жертв, быстро замяли. Кому нужен лишний шум? Все живы-здоровы, даже батины срастающиеся кости не нарушились. Злополучную розетку вообще обесточили.

Я худо-бедно закончил учёбу в вечерней школе - без применения сверхспособностей. Они, эти способности, которые у многих проявляются после удара током, у меня пока не открылись. Но я надеялся на них и возобновил мечту стать офицером. В Перми, на Гайве, есть военный институт, там со всей страны учатся. Почему бы и мне не поступить туда?

Этой заветной мечте не мешало то, что я каждый день бывал у бати. Мы с ним продолжали разрабатывать его тугоподвижные суставы. Отцовское тело вроде бы восстанавливалось.

Врач Виктор Ильич показал ещё специальные упражнения, полезные отцу. Конечно, мама нас поддерживала не только своим присутствием. А ещё нам помогала со всякими физиотерапевтическими процедурами медсестра Катя.

Если честно, после удара током я в неё влюбился окончательно - какая-то химия мне в голову стукнула вместо сверхспособностей. Ну старше она на пять лет меня, и что? Понятно, что я спешил в медсанчасть не только к отцу, но и чтобы увидеть её, Катю. Она чем-то неуловимо напоминала и Маришку из Лесостепного, и Маленькую Эротику, и Ксению из салона связи и даже Звёздную Звезду Ленку - дочку Завмага. У меня закрутилось в голове:

Девочки и мальчики,
Дуры и обманщики…

Кстати, Артём Артёмович увёз Ленку из Лесостепного в областной центр к своим родственникам, чтобы рожала в какой-то частной суперклинике. Это тётя Галя маме писала на электронку. Мать поделилась с отцом - я слышал. Говорят, избавляться от ребенка было поздно. В дело вмешался батюшка Артемий из нашей Троицкой церкви, сказал Завмагу: «Не бери на душу грех детоубийства». Амбала отпустили из ментовки. Это и рыжий Дениска в эсэмэсках писал.

Амбал, впрочем, для меня уже не был авторитетом. Я начал заниматься боксом. У меня отличный размах руки, я легко передвигаюсь по рингу - гиперактивный же! Это мне тренер Иван Иванович сказал. Понятно, я же длинный и худой. Но поскольку у меня дефицит веса, как у папы в свое время, тренер меня определил к мелким, которые на 2 года младше меня. В основном я занимался общефизической подготовкой, работал с грушей. Ну, попробовал с мелкими пацанами на ринге. Честно говоря, напропускал ударов. Губы были как вареники. Но, кажется, я победил страх.

Я стал жестче, потому что помню: с мягким сердцем пацану никак, тем более будущему офицеру! Жесткость я даже к отцу проявил:

- Пап, надо уже вставать!

- Я встану обязательно, - ответил он мне также твердо.

И он встал, ну, не совсем, конечно. Под присмотром врача Виктора Ильича и с помощью меня и мамы отец взгромождался на инвалидную коляску. Мы её называли каракатицей. А то «инвалидная коляска» звучит как-то уж совсем тоскливо, по-стариковски. Спускались во двор. Любили тусоваться возле блока вспомогательных служб больницы. Там котельная, гараж, мастерские. Электрик нас привечал.

- Ну твой короед молодец, всё-таки. Помогает отцу, значит, уважает, - говорил он бате про меня.

- Уважает, - с гордостью соглашался отец.

- А мой балбес всё боксом занимается, школу забросил. Жена его в вечернюю сдала. Тоже Кирилл зовут.

- Мой тоже в вечерней. Звёзд, конечно, не хватает, но восьмой класс закончил. Тоже на бокс записался.

Оказалось, мой тёзка Кирилл из школы бокса - это его сын. Ну нормально!

- Я Кирилла знаю! Это мой друг.

- Друг? - с недоверием посмотрел на меня электрик. - Ну-ну… А пацанам надо не звёзды хватать, а руками работать, ну и головой, - важно говорил электрик. - Вот, например, я в электричестве…

- Папа тоже головой работает, будь здоров, - не удержался я.

- Батя твой - да! Знаю, он и механик, и строитель. А вот ты…

- И он научится, - вступился за меня отец.

- А вот в газонокосилке вдвоем разберетесь? - как бы подначивал электрик. Ему завхоз сказал отремонтировать этот нехитрый агрегат, а он, хитрец, хочет, чтобы батя это сделал.

- Легко, - сказал отец. Он же ещё в Лесостепном в «Зеленстрое» был спецом по газонокосилкам. Потому я и люблю запах скошенной травы и бензина - с генами впитал.

Короче, целый день мы провозились с газонокосилкой. Отец говорил, что мне делать, я выполнял его советы. Только кажется, что всё просто, а на самом деле... Батя пропустил процедуры, я - обед (меня, признаюсь, подкармливали на кухне - придумали типа «меню подростка». Мама договорилась, ну чтоб йододефицита не было.)

- Всё-таки сделали газонокосилку? Ну нормально, - одобрил работу электрик. - А теперь надо обкатать машину. Давай, Кирилл!

Это оказалось сложно. Во-первых, газонокосилка, которую надо надевать на себя, как рюкзак, тяжелая. Во-вторых, она меня начала кидать из стороны в сторону, как мелкого. Ну конечно, у меня же дефицит веса. Но я хоть худой, но жилистый. Как батя.

Короче, я приноровился. Мне даже понравилось. Рулишь вроде как дельтопланом, ну или мотоциклом. А после тебя буквально ковер стелется. Тут, в Перми, такая сочная зелёная трава! Вот бы кроликов, например, раз-

вести. Я помню, на старом дворе у деда Кирилла и после его смерти стояли пустые клетки. Я туда ещё как-то залез, когда был мелким. Потом меня долго искали. Ну так вот. Как я рулил газонокосилской, заметил завхоз. Подошёл:

- Это ты сын санитарки Ирины?

- Ну да, - настороженно ответил я.

- Хочешь заработать? - Он это сказал прямо с интонациями дядьки Мишки, зоотехника из Лесостепного. Вспомнилось же…

- А кто не хочет!

- Можешь прямо сейчас приступать. Тебе, наверное, уже лет 16 стукнуло, паспорт есть?

- Да, есть паспорт, - про возраст я промолчал.

- Мне тоже пришлось пацаном начать работать, - сказал завхоз. - А зачем я буду Среднюю Азию нанимать, если есть свои неоднозначные регионы, - обратился он к электрику и отцу.

- Правильно, начальник, - одобрил электрик. - Пусть пацан работает. Трудотерапия, понимаешь, от раздолбайства хорошо помогает.

Так я начал работать. У меня получалось, я не чувствовал себя заморышем, а скорее наоборот. Мне казалось, мои бицепсы прямо наливаются. Я так хотел, чтобы меня, сильного, видела медсестра Катя. Но её, к сожалению, не было. Я вспомнил свой трудовой подвиг Геракла - «авгиевы конюшни» у дядь Мишки-зоотехника.

5. Мама уезжает - они с зоотехником решили жениться, я остаюсь с отцом

Новоиспеченный председатель сельхозкооператива «Лесостепновский» Михаил Иванович, как его теперь там… внезапно дал о себе знать.

Зазвонил мой телефон:

- Привет, Кирилл! Это дядь Миша-зоотехник.

- Здрасьте, - удивился я.

- Скажу коротко, Кирилл, без лишних церемоний. Мы с твоей матерью решили сойтись.

- Как сойтись? Пожениться, что ли?

- Сойтись, приглядеться друг к другу, а там, даст бог, поженимся.

- Как это? А как же я, как мой отец?

- Кирилл, ты уже взрослый парень. У отца твоего своя жизнь, он же женат. Жанна у него там, что ли?

- Причём тут Жанка? И вообще…- я не знал, что сказать. Вдруг почувствовал себя скукоженным заморышем, обманутым и преданным.

- Мать боится тебе сказать, что мы хотим сойтись, - продолжал дядька Мишка. - Но надо обрезать пуповину. Нельзя тебе всё время возле мамкиной юбки.

Про пуповину - это он зря. Скотовод же не знает, что меня она, пуповина, чуть не удушила ещё до рождения.

- Это не ваше дело, возле чьей я юбки! Это моя мать!

- Вот-вот… Мать у тебя как собственность. Потому-то она тебе сама и боялась сказать. Ты подумай, сколько матери в одиночку горе мыкать?

- Она же инженер, у нее высшее образование! - у меня не оказалось более веского аргумента.

- Вот и хорошо. Найдётся ей работа в кооперативе. Сейчас-то она работает уборщицей.

- Санитаркой, - уточнил я. - Это временно. Пока папа в больнице. Она 1С в бухгалтерии осваивает.

- Бухгалтеры везде нужны. Не будь эгоистом, Кирилл. Ты скоро вырастишь, а мать одна.

- А вам-то что: одна она или нет?

- Кирилл, понимаешь, взрослые люди имеют право на личную жизнь. Она тебя уже вырастила…

- А теперь будет выращивать ваших баранов? Навоз за ними убирать?

- Знаешь, Кирилл, не надо так. Подсобное хозяйство, оно людям помогает выжить. А животные ухода требуют. Все же любят мясо, молоко? А как это достается? Через труд!

- Так вы возьмите себе домработницу или гастарбайтеров наймите. Вы же теперь великий начальник!

- Кирилл, не груби. Председателем меня народ выбрал, я не сам себя назначил. А с матерью твоей мы сами разберемся, кто и что по хозяйству будет делать.

- Как вы всё быстро замутили! Ну, это ещё неизвестно, что мама скажет!

- Я позвонил, потому что она не решилась бы на это никогда. И что ей там делать, в вашей Перми? Вы оба, ты и твой отец, будете её эксплуатировать до конца жизни.

- Это вы эксплуататор! То баранов своих эксплуатировали, теперь будете колхозников и мою маму!..

Я отключил зоотехника. Пошёл он… Не фига себе! Они за моей спиной пожениться решили! Это - как предательство. Я взбесился, хотелось плакать. Но пацану плакать - это позорно! Я напряг волю, которая уже не казалась мне бомжом, сдержался.

Появилась мама. Она была в светло-зеленом платье. Из своей юности. На фоне свежескошенной травы мама была просто красивой. Но это меня не сдержало, и я выпалил:

- Мам, как же ты так? Этот зоотехник…

- Он все-таки позвонил тебе… Ну ладно, сын, слушай. Вот как раз и отец подходит.

Батя, высвободившись из коляски-каракатицы, самостоятельно поднялся на костыли и довольно уверенно направился к нам.

- Ну вот все и собрались, - решительно сказала мама. - Так, мужики…

- Привет! Ты сегодня такая красивая! - сказал с улыбкой отец.

- Спасибо… Жаль, что ты этого мне не говорил в своё время…

- Надеюсь, ещё исправлюсь. Какие наши годы!

- Так, ребята, - сдерживая волнение, начала мать: - Я возвращаюсь в Лесостепной.

- Как? - только и смог сказать отец.

- Поездом. Мы же договорились, пока ты на ноги не встанешь, я буду здесь… Но ты уже на ногах, слава богу.

Отец как-то понуро повис на костылях - это называлось «встать на ноги». Мне было жалко батю и обидно за нас двоих.

- Мам, а я как же?

- Сынок, думаю, тебе надо побыть с отцом. Впереди каникулы. Квартиру я оплатила, денег немного оставлю и буду высылать.

- Ну да, ты теперь будешь богатой председательшей! - Во мне говорила обида, а не разум.

- Сын, а ты жестокий, - тихо произнесла мать. - Я этого не заслужила.

- Мам, извини… Конечно, устраивай свою жизнь. Тебе и с деньгами будет легче. - Я не к месту вспомнил лужу безденежья в стиле фэнтези. Она с детства мне отравляла жизнь, и маме тоже.

- Кирилл, давай по-взрослому… Мать, конечно, имеет право, - сказал осипшим голосом отец и тут же спросил у мамы: - Ирина, когда ты уезжаешь?

- Послезавтра. Костя, тебя завтра уже выписывают. Пока перебирайся к нам на квартиру. Владимир Сергеевич в курсе. Обещал помочь, если что… Да и за Кирилкой присмотрит.

- Не надо за мной присматривать. Обойдусь сам, не маленький уже, - фыркнул я, весь обиженный на мать.

- Ну конечно, ты взрослый, вот и хорошо, - говорила мама тихим виноватым голосом. - Билет я уже купила. Кир, остаешься за старшего, потому что ты здоровый и уже вот сам зарабатываешь. Завхоз мне сказал, что на работу тебя берёт.

- Так ты знаешь уже, что я работаю?

- Ну а как ты хотел, чтоб мать не знала. Вот к самостоятельной жизни готов, можно сказать. Пора отпустить тебя, Кирилл Константинович, в самостоятельное плавание - обрезать пуповину…

Что они, сговорились с этим зоотехником? Пуповину обрезать, пуповину… Мать как будто не знает, как я в это пуповине запутался. Потому и кесаренок, потому - заморыш гиперактивный. Точнее - психический.

- Ты все-таки выходишь замуж за этого… председателя, - с тоской, но без укора произнес отец.

- Посмотрим… а ты, Константин, не спейся. Потому сына с тобой оставляю. Выздоровеешь, возвращайся к своей Жанне.

- Мы с папкой будем без неё жить, - резко сказал я.

- Если сын будет мешать, отправишь его в Лесостепной, - не глядя на меня, произнесла спокойно мама. - К 1 сентября пусть обязательно вернется.

- Ты же сказала, что я здесь буду учиться. В военный институт готовиться.

- Видишь, Кирилл, обстоятельства меняются… А готовиться в институт везде можно, хоть в Перми, хоть в Лесостепном.

- Я, кажется, всем вам мешаю…- Мне пришлось подавить желание разрыдаться от обиды. Но нет, пацану позорно плакать!

- Кирилка, если б ты знал, как мне больно, сынок… Но это лучше и для тебя, и для отца, - мама сама расплакалась.

- Ладно, не будем разводить сырость. Значит, так надо! - стараясь быть бодрым, сказал отец.

6. Стоп-кран и… продолжение маминой «дурацкой» песни

Вот и всё!.. Через день мы провожали маму с вокзала Пермь II. Нас туда отвез на новенькой кредитной «гранте» Владимир Сергеевич. Мы с отцом пока остались пожить в его комнате, может, до сентября. А там у бати решится вопрос с его дачным домиком под Пермью - возле деревни Мошни.

Мама беспрестанно плакала, прижавшись ко мне. Потом, когда проводница попросила поспешить занять места, мать с отцом порывисто обнялись. Батины костыли предательски упали. Я их подобрал и не смотрел на родителей, потому что у меня текли позорные слезы. Меня подбодрил Владимир Сергеевич:

- Ничего, Кир, когда-то надо пуповину обрезать, - он как бы повторил слова матери и зоотехника.

Я снова вспомнил про роль пуповины в моей жизни и ощутил себя полным заморышем. Почему-то подумал о неродившемся брате. Конечно, если бы он родился, мы бы все вместе жили и мама с отцом бы не расходились. Может, не надо было тогда ездить маме на бухгалтерские курсы? В аварию б не попала, брата бы мне сохранила. Или судьба такая?

Владимир Сергеевич поднял в тамбур пару маминых сумок.

Мать последней из пассажиров вошла в вагон.

- Быстрее, девушка, быстрее. Сейчас отправляемся, - нервничала проводница.

Под «Прощание славянки» поезд тронулся. Мы с папкой сиротливо стояли посреди перрона.

- Ну, земляки, поехали домой, - сказал Владимир Сергеевич.

И тут только что тронувшийся поезд, заскрежетал тормозами, содрогнулся всем блинным туловищем, остановился.

- Ого! Кто-то сорвал стоп-кран, - пояснил Владимир Сергеевич.

Дверь в одном из вагонов распахнулась, из неё буквально выпрыгнула… мама. За ней вывалились две сумки. Проводница размашисто жестикулировала и явно ругалась.

Я бросился к маме, отец, насколько позволяли костыли, - тоже. Даже Владимир Сергеевич побежал.

Мама беспомощно плюхнулась на сумки и зарыдала.

Нас перегнали полицейские. В одном из которых я узнал вежливого сержанта из тех, кто встретил нас, когда мы приехали в Пермь.

Закончилось всё тем, что маму пригласили в привокзальное отделение транспортной полиции. Там объяснили:

- Стоп-кран в вагоне применяется только в связи с безотлагательной необходимостью. Вам понятно? Это предотвращение крушения, аварии, схода с рельсов подвижного состава, человеческих жертв.

- Вот я и предотвратила крушение… И человеческих жертв нет.

- Девушка, оставьте эту лирику для кого-то другого, - с укоризной сказал полицейский. - Статья одиннадцать точка семнадцать Кодекса РФ об административных правонарушениях. Самовольная без надобности остановка поезда влечет наложение административного штрафа.

- Согласна, - устало произнесла мама.

- Ну, земляки, вы даёте, - то ли с восхищением, то ли с осуждением сказал Владимир Сергеевич, потом добавил: - Как в бразильском сериале.

Я не знаю, что такое бразильский сериал, но догадался что это - не очень… Потому что родители молчали, но тут Владимир Сергеевич разрядил обстановку:

Вот теперь будет время вас всех свозить в Белогорский монастырь. Храм там классный!..

- И на Гайву, в военный институт, - добавил я, радостный. - Может, и в Соликамск к Денискиному дедушке съездим, ну, который ёлочки посадил у Троицкой церкви из Белогорского монастыря.

- Конечно! - решительно сказал отец. - Я чуть оклемаюсь, у меня в гаражах старая «Ока», отремонтируем. Сами будем ездить.

А мама вдруг взяла и запела свою странную песню, из которой мне был знаком только первый куплет:

Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней - валунов извиваешься.

Ты ручьями-притоками полнишься,
Вдаль уносишь свои воды быстрые,
Лес суровый к тебе низко клонится,
Крутизна берегов - вместо пристани.

На просторы степей вырываешься -
Полновластная, полноводная.
В нежных водах заря умывается,
Заливает поля плодородные…

- А дальше не помню, - призналась мама. - Но продолжение есть…

ВОЗДУХ ДЕТСТВА

Пронзая воздух горестный истории...
Пронзая вёрсты, тягости и страх,
ищу страну далёкую, просторную,
где ветер солнцем явственно пропах,
где воздух жизнью искренней исполнен,
звенящей речкой чистою на дне...
Ах, воздух детства -
древней территории,
горючей, несгораемой,
в огне...
дыхание второе, непокорное,
с которым мы всегда наедине...

ЛИЦО

Со всем - с угодьями, сугробами,
с народами и половодьем -
лицу с мазутными разводами
земля весенняя подобна.

От сини на четыре стороны
до бури, свищущей над пожнью,
я дорожу её нестёртыми
чертами,
выраженьем,
дрожью.

Признания не обязательны.
Важнее то в конце концов,
чтоб всё честнее, всё признательней
родное прозревать Лицо
с его внимательными далями,
с его спокойствием средь бед
и праздников -
всей небывалостью
в весенней шири и судьбе.

ЗИМУЮЩИЙ СКВОРЕЦ

Желторотое чудо, скворец!
Сколько лет мы с тобою не виделись!
Сколько грусти нам годы повыдали!
Сколько слёз нам ветрища повыдули!
Сколько перьев и песен повыдрали!
Сколько видано-перевидано
меж удачами и обидами,
меж весною и зимними видами,
между детством и зрелостью видимой -
пока встретились мы наконец!..

ЗАУТРЕНЯ

Туман. И сохатые
ветки стучатся
в промозглое утро
над крышами сирыми.
Деревья блуждают,
поджары, несмяты,
черны и рогаты, -
в белесом и стылом...
Сорвутся снежинки.
а ветер притихнет,
прислушиваясь,
сдерживая дыхание...
Не дрогнет пруток,
и ступенька не скрипнет.
Продрогла душа
в отсырелом и хриплом...
Лишь птица весну
наполняет сиянием
посвистывания...

ТОККАТА ВЕСНЫ

Табачный перегар, пьянь и тоска,
чужие бесприюты и комфорты...
А за окном - весна на сквозняках.
И чёрная грачиная пехота
вдоль пахоты блуждает не спеша.
И жизнь сыра.
И хочется дышать.

Светлана Кукуева. Новороссийск

И в комнатах слоняться неохота,
когда во всех концах глухой земли
деревья встрепенулись и пошли
срываться с мест, настоянных веками -
всем скопом, вместе с небом, облаками...
Прощайте, стынь, портянь, углы, тоска,
и боль в висках, и музычки прокат -
то ленточной, то паутинной - в дисках...
Чу, вырвалось, звучит издалека
взыскующе-простуженное что-то,
сквозь грай грачей сквозит, струится, рвётся -
мокрота, бред, и кашель нараскат,
и мира очистительная рвота -
рычит, кружится, мучится и бьётся,
сквозь ураганный ветер раздаётся
над пажитью, над фабрикой, с реки
скаженной вестью мартовской работы -
возносится, кричит из-под Руки…
И лед реки трещит, и лёд души
от той Руки...
Другая же Рука
за городом, у синего леска
лиловые формует облака...

ЯБЛОНЯ В ГОРАХ

В извивах грубых яблони душа...
Но как свежа и дерзко-хороша!
И гибкие взыскующие руки
закинуты в небесные излуки,
тогда как крепкий светлокожий ствол
по горло в землю терпкую вошёл,
вздымая груз своей душистой муки,
окутавшей напруженные руки...
Ах, яблони светающая грусть!
В густых цветах - невеста
или куст
пылающий
томил, шептал и брёл
под буйным ветром,
трепетал и цвёл -
горы весенней
пламенный глагол!

ЗАБЫТЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Я отпустил стихи в свет
как детей золотых,
как семена легкокрылые...
И вот теперь,
через тысячи лет,
они вернулись ко мне
как хлеб и как свет,
как друзья, как учители,
как виденья мучительные,
как любовь непростылая,
как спасители милые...

ШАГИ В ОКТЯБРЕ

В туманной рани куст желтоголовый тонет.
На паутинках капельки трезвонят.
Лесную весть высвистывает дрозд.
Боярышник на склоне золотистом
исходит кровью капельной и чистой,
предсказывая холода всерьёз.

Сутулый дятел, мшистый сиротинка,
в разбойничьей и аленькой косынке
стучится в темный дол -
впустили и вошёл.
И белочки седеющая прядь
струится в кронах, желтизну тревожа.
Дубовый терпкий запах сердце гложет.
Бредёшь, могучей осенью объят,
перебирая времена природы.
Шаги звучат темно и невпопад -
где роща и душа перед невзгодами
меняют свой таинственный наряд.

СТРАННИК - 1980

Неслыхан века посвист и замах.
Какие лица, помыслы и речи!
Ни обогнать, ни соизмерить шаг,
ни выпростать в столпотворенье плечи...

Но надрываясь, брезжа, впопыхах
теряя вмиг привычные обличья,
я ведаю единственный размах,
единственное знанье и отличье:

не оттого ли на себя похож,
почти до смеха радостен и вечен,
что жизни я угадываю дрожь,
её неуловимое наречье?..

Вот и идёшь, не размеряя шаг,
последнее спасая человечье.
Идёшь куда-то
с бедствием в глазах -
всегда
издревле
и далече...

ПУТЕШЕСТВИЕ В МЮНХЕН

(Отрывок из повести)

- Ты знаешь - сказала Рената, - «Битлз» будут в Мюнхене выступать!

Я зевнул.

- Ну и что? Где Мюнхен и где мы?

Она вздохнула.

- Ты прав. Туда нам точно никогда не добраться…

Рената знала, что говорила, поскольку жила в ГДР - Германской Демократической Республике, А Мюнхен находился в ФРГ - Федеративной Республике Германия. То есть, на Западе, куда гражданам ГДР было ну никак не проникнуть. Впрочем, как и нам, советским. В те времена в ГДР стоял большой контингент войск Советского Союза. И назывался он ГСВГ - Группа советских войск в Германии. Все в Группе было неплохо. Гарнизоны располагались в городах среднего и большого размера. Офицеры жили с семьями или в благоустроенных городках или просто в квартирах, порой в одном доме с немцами. Имелись советские школы, как начальные, так и средние. Когда наша семья приехала к месту службы отца, в старинный город Гота, я и брат сначала ходили в начальную школу в том же городе. Но потом, после окончания четвертого класса, нас стали каждый день возить в соседний городишко Ордруф на специальных автобусах. Ордруф был, конечно, поменьше Готы, но гарнизон там стоял куда мощнее. И школа имелась уже средняя, десятиклассная. Находилась она в средневековом замке, довольно обветшалом, но все равно очень интересном.

Впрочем, к истории, которую я намерен рассказать, все это не имеет никакого отношения. Так, штришок…

О «Битлз» я услышал от своего одноклассника Сергея. Он был наполовину русским, наполовину немцем. Отец его, немецкий коммунист, в свое время, спасаясь от преследований на родине, уехал в СССР, где успешно работал на разных должностях в немец-

Владимир Грибачёв. Путешествие в Германию

ком Поволжье. Потом его арестовали, как потенциального немецкого шпиона и, естественно, законопатили в лагеря. С честью пройдя это испытание, он стал вольнопоселенцем, и там же, в Воркуте, познакомился с дочерью советского комиссара, с похожей судьбой. От брака родились два сына: Павел и Сергей...

Сергей был парень компанейский, но все же с некоторым налетом, как бы это поточнее выразиться… немецкого менталитета. Ведь жил он среди немцев, общался с ними постоянно, и это не могло не сказаться. Отец его, Лоренц, на старой-новой родине дорос до больших должностей, с женой развелся и только выделял деньги (немалые) на проживание жены и сыновей. В доме, где они жили, появлялся крайне редко, и у меня в памяти сохранился как крепкий, суровый мужчина, одним видом своим вызывающий уважение.

Но это, так сказать, предисловие к моей истории. По ходу рассказа появятся и еще отступления, потому что тем, кто не жил еще в то время или был слишком маленьким, чтобы осознавать, что происходит в мире вокруг него, трудно будет понять и поверить во все, что я собираюсь поведать. Я и сам, спустя много лет, иногда задумываюсь: а было ли это со мной в действительности? Не придумал ли на досуге, от нечего делать? Тогда я лезу в ящик стола, достаю заветный альбом, открываю его и успокаиваюсь. Было, все было! И нечего рефлексировать…

***

Желающие попасть в зал уже толпились перед входом. Много было полицейских в форме, еще каких-то охранников, но уже в белых рубашках и черных галстуках.

Организовано было все аккуратно. Никто не орал, не размахивал дубинками. Немецкий, надо полагать, орднунг, порядок, то есть.

Что интересно, никто не выпрашивал «лишнего билетика». Наверное, все желавшие послушать «битлов» были своевременно «обилечены». Таким образом, прежняя задумка Клауса и Ингрид окупить свою поездку продажей билета проваливалась. Но ведь они и так подарили его мне, отдали бесплатно? Вот и не стали бы расстраиваться сейчас, вспомни об упущенной выгоде.

Но им явно было не до этого. Общее волнение уже затронуло их. Если в толпе перед отелем они еще посмеивались, глядя на суету фанатов, то теперь их лица стали серьезными и в движениях появилась некоторая нервозность. Они жалели, что взяли билеты не на первый концерт, а только на второй!

Позже, кстати, будут, наверное, только радоваться этому факту, поскольку, хоть мимолетно, но попадут в Историю. Именно так, с большой буквы. Но об этом я расскажу чуть позже.

А пока мы всей компанией стояли немного в стороне от вливающейся в проход к шатру очереди и смотрели на нее завистливыми глазами. Я завидовал не меньше моих немецких приятелей, честно сознаюсь.

Как мы поняли, концерт начался с некоторым опозданием. Когда уже стали слышны еле различимые звуки музыки, народ все еще спешил попасть в зал. Было удивительно: как можно опаздывать на такое событие? Заранее надо приходить, заранее!

Судя по афишам, в этом концерте «битлы» должны были выступать последними, как кульминация праздника. Так всегда делается на рок-концертах. Сначала выступает кто-то малоизвестный, не мировая величина. От этой музыки публика постепенно заводится, начинает раскачиваться, хлопать в ладоши, даже пританцовывать. Это действо так и называется - разогрев. Многие из тех, кто играл «на разогреве» у «звезд», позже и сами становятся «звездами» - это проверено временем.

А потом появляются ОНИ - те, ради которых все сегодня и пришли. И зал взрывается криками, кое-где начинается истерика, взлохмаченные девушки визжат, размахивают руками, словно пытаются привлечь к себе внимание тех, кто на сцене. И парни почти не отстают от них.

До «Битлз» такое тоже происходило, но стоило им взойти на Олимп, как родился феномен «битломании», когда в зале от рева зрителей почти неслышно, что играют и поют музыканты. А те, не обращая ни на что внимания, наяривают свой репертуар.

Позднее «битлам» надоело это сумасшествие, и они прекратили концертную деятельность, серьезно занявшись музыкой в студиях звукозаписи.

И как потом стало известно, эти концерты в Мюнхене, а затем в Эссене и Гамбурге были «началом конца» многочисленных турне. Все, устали! Публика пусть вопит на концертах других исполнителей.

В Мюнхене выступление «Битлз» предваряли какой-то Клифф Беннет с группой «RebelRousers», дуэт «PeterandGordon» и команда из Гамбурга, но тоже поющая на английском «TheRattles». Каждый выступающий исполнил по две-три песни и публика действительно завелась!

А когда ведущий, наконец, объявил, что сейчас на сцене появятся «Битлз», уже доведенный до кондиции и изнывающий от нетерпения зал просто взорвался!

Даже на улице был слышен этот многоголосый вопль радости и воодушевления. Мы, улыбаясь, переглядывались. Через какое-то время и нам предстояло так же вопить…

Казалось, прошла целая вечность, хотя само выступление «битлов» заняло меньше получаса. Да у них, как я позже узнал, все концерты были примерно такой продолжительности. Мне кажется, что продлись они дольше, половину зрителей пришлось бы вытаскивать из зала на носилках. Во время их турне нередки были случаи, когда слабонервные девушки теряли сознание от восторга, и полицейским приходилось заниматься ими.

Очень комично описал эту ситуацию кинорежиссер Роберт Земекис в фильме «Хочу держать тебя за руку». Там девица, попавшая на шоу Эда Салливена, где выступали «Битлз», как только они появляются на сцене, тут же падает в обморок. Ее приводят в себя, она смотрит на сцену и опять теряет сознание. И так все выступление кумиров. Здорово сходила на концерт!

Но вот первые люди, несколько ошеломленные, стали выходить из «KRONE-BAU». И тут Клаус потянул меня за рукав в сторону.

- Хочешь увидеть «битлов»? - шепотом спросил он.

Я опешил.

- В каком смысле? Мы же идем на концерт!

- Нет, сейчас, до концерта!

- Каким образом?

- Потом объясню! Отзови Ингрид, и идите вон к тому углу!

Все еще недоумевая, я послушался его. Мы, стараясь сделать это незаметно, отделились от компании и не спеша пошли к стоявшему в отдалении Клаусу, который делал нам какие-то знаки.

- Так в чем дело? - спросил я его.

- Идемте, идемте быстрее! - торопил он. И не удержавшись, стал на ходу рассказывать: - Я узнал одного из охранников! Мой двоюродный дядя! Может быть, если его хорошо попросить, он проведет нас к «Битлз»!

Во-он в чем дело! Бесполезно, по-моему…

- Дохлый номер! - сказал я. - Ничего не получится! Ты видел, как их охраняют?

Клаус странно посмотрел на меня.

- Знаешь, если не пробовать, то в жизни вообще ничего не получится!

Тут я был с ним абсолютно согласен. Ингрид семенила за нами молча. А мы стремились вперед, как на штурм какой-нибудь крепости.

У служебного входа стояли несколько человек в белых рубашках и галстуках. Из тех, что контролировали проход зрителей.

- Оставайтесь здесь! - велел Клаус. А сам направился к этим охранникам. Вскоре мы увидели, как он обнимается с одним из них и оживленно что-то ему рассказывает. Охранник посмотрел в нашу сторону и нерешительно покачал головой. Клаус вновь стал ему что-то бурно втолковывать. Наконец охранник кивнул, и наш приятель замахал рукой: «Идите сюда!».

Это становилось действительно поразительным. Особенно для меня. Вот так, с налета, найти подходящего родственника и воспользоваться его помощью? С другой стороны, каких только чудес со мной не происходило за последние два дня! Может быть, и это случится?

Двоюродный дядя был очень суров на вид. Он критически осмотрел нас с ног до головы, словно обыскивал взглядом. Потом промолвил:

- Ну, хорошо, рискнем. Но только пять минут!

Клаус молитвенно сложил ладони у груди:

- Ты же меня знаешь, дядя Вернер! Мое слово - кремень!

- Папа твой кремень! - проворчал охранник. - А ты пока еще песок! Ладно, пошли. Только быстро!

И мы проникли за кулисы цирка. В самом прямом смысле. В дни, когда цирк работал по своему прямому назначению, здесь наверняка бегали клоуны и акробаты. А сейчас толпились люди совсем не цирковой принадлежности. Репортеров с фотоаппаратами было почему-то мало, все больше люди в костюмах и с серьезным выражением на лицах. Как будто они охраняли канцлера ФРГ, а не заезжих иностранных артистов.

Дядя Вернер, широкоплечий и кряжистый, прорезал толпу, словно ледокол, а мы трое следовали за ним как мелкие баржи. На нас оглядывались, но никто не смел возразить. Видимо этот Вернер пользовался здесь немалым авторитетом.

Но расспрашивать Клауса о его родственнике было не время и не место. Нас вели широким коридором, по которому, наверное, можно было провести и слона. В дни представлений так, может быть, и было. Хотя опилок, вечных спутников цирковой арены, на полу не наблюдалось. И запаха звериного тоже. Пахло как в каком-нибудь отеле. Хотя, откуда я мог знать, как пахнут западные отели? Я ведь ни в одном не бывал. Тогда. Это сейчас, вспоминая те минуты, я вдруг сообразил, что да, примерно так.

Мы продолжали почти бежать за охранником и чуть не врезались ему в спину и друг в друга, когда дядя Вернер внезапно остановился.

- Ждите! - приказал он тоном, исключающим какие-либо возражения, и скрылся за поворотом.

Мы, естественно, замерли, боясь произнести хоть слово и этим спугнуть удачу. Я поймал себя на том, что стараюсь дышать как можно тише, словно все еще еду в тайнике трейлера водителя Хайнца.

Через минуту охранник выглянул из-за угла и призывно махнул толстой ручищей. Мы ринулись вперед.

Перед обычной деревянной, покрытой лаком дверью стояли двое в таких же, как у Вернера рубашках. Они посмотрели на нас, один кивнул и коротко стукнул костяшкам пальцев в дверь. Из комнаты за дверью доносился громкий смех и на стук, кажется, никто не отозвался. Тем не менее, этот же охранник повернул ручку и приоткрыл дверь. Вернер подтолкнул в спину своего племянника.

- Пять минут! - прошипел он.

И мы вошли.

«Битлз» в полном составе и еще пара каких-то людей… выпивали! Самым настоящим образом, что называется - квасили! Разумеется, не по-русски - стаканами, и не водку. На столике у стены красовалась бутылка какого-то виски и несколько бутылочек с осиной талией «Кока-колы». Позднее я где-то вычитал, что смесь виски с колой была любимым напитком «битлов».

А сейчас они размахивали широкими толстостенными стаканами, на донышках которых плескалась эта коричневая бурда, и громко, что называется, ржали. Видимо, кто-то только что удачно пошутил. Все сидели без пиджаков, курили и были так увлечены общением между собой, что первую минуту на нас никто не обратил внимания. А мы, робея, стояли у дверей и не знали, что нам делать.

Первым увидел нас Пол Маккартни.

- О! - сказал он громко по-немецки - выпьете с нами, ребята?

Мы, как говорится, «офонарели». Выпить с «Битлз»? Как можно?

Но тут вмешался Джон Леннон.

- Отстань от них, Полли! Не видишь, они совсем желторотики? Куда им пить? К нам потом полиция привяжется! Ты же знаешь немецкую полицию.

Это уже было сказано на английском, но Клаус тут же шепотом перевел мне слова Джона. И в дальнейшем разговоре поработал переводчиком.

Все, кто был в комнате, опять громко заржали. Воспоминания о гамбургских похождениях группы были еще живы в их памяти.

- Что случилось? Вы чего-то хотели? - спросил Джордж Харрисон. Он сидел почти рядом с дверью и обернулся, когда с нами заговорил Пол.

Клаус добросовестно перевел, а потом решился ответить:

- Нам бы автографы…

- Без вопросов! - поднялся Ринго Старр. Он оказался самым длинноволосым из «битлов». - Давайте, что там у вас! Сейчас подпишем!

Мы одновременно развели руками. Никто из нас не догадался купить афишу или фотографию «Битлз», которыми во множестве торговали у входа в «KRONE-BAU». Ингрид смотрела на нас с отчаянием. Как же так - нам предлагают дать автографы сами «битлы», а мы к этому не готовы!

- Ерунда! - рассмеялся Ринго. - Сейчас организуем!

Он полез в ящик гримерного столика, который стоял у стены, и вытащил целую пачку черно-белых фотографий отличного качества. На всех уже красовались росписи ливерпульской четверки.

- Мы заранее их подписываем, в свободное время, - пояснил он, наделяя каждого из нас снимком.

Клаус, как заведенный, переводил. Ингрид вдруг сказала:

- Можно мне еще одну? Для сестры! Она болеет.

- Конечно, - заулыбался Ринго. - Держите!

Я вспомнил о Ренате и, собравшись с духом, попросил:

- И мне тоже! У меня подружка в ГДР осталась.

Сказал я это по-немецки. Но Ринго и все остальные поняли. Ведь они столько времени проработали в Гамбурге. Поневоле что-то выучишь.

- В ГДР? - поразился Джон. - Так ты оттуда?

Вот тут мне Клаус и подложил свинью.

- Он живет еще дальше, - «заложил» чертов немец. - В СССР.

Тут уж всеобщее внимание стало моим.

- Что, правда, из СССР? - не поверил Пол.

- И ты оттуда приехал на наш концерт? - с таким же выражением воскликнул Джон.

Что мне оставалось делать? Я сунул локтем Клаусу в бок, пожал плечами и ответил:

- Ну, в общем, да.

- А ну, скажи что-нибудь по-русски! - тут же потребовал Джон.

Я подумал и произнес:

- Я живу в СССР!

Клаус, все это время добросовестно переводивший с английского на немецкий и обратно, русского языка почти не знал, и сказал на английском:

- I am Back in USSR!

- Вот здорово! - сказал Пол. - А ну-ка, дай твою фотографию!

И, достав ручку, приписал под своим автографом: «Bestwishes, USSR!» А потом торжественно вручил фото вместе с ручкой, прибавив при этом:

- Подарк!

На русском, между прочим, хотя и исковеркав слово. Но я понял и ответил по-английски:

- Thank you!

Уж настолько-то я английский знал!

Тут в комнату заглянул какой-то человек и затарахтел на английском так быстро, что даже Клаус не успел перевести до конца.

- Что-то насчет съемок и репетиции, - промямлил он.

«Битлы» недовольно зашумели, но все же стали подниматься со стульев. Аудиенция была окончена. Проходя мимо, они хлопали нас по плечам, Ринго даже чмокнул Ингрид в щечку. Та мгновенно стала красной от удовольствия.

И мы остались одни, зажав в пальцах драгоценные фотографии с автографами. Я оказался богаче всех. Не просто росписи, а еще и одна именная, да плюс авторучка от самого Пола Маккартни!

- Ты же клялся! - упрекнул я Клауса.

- Не беспокойся, - засмеялся он. - Эти ребята точно никому ничего не расскажут!

- Ага, не расскажут! Возьмут да и ляпнут со сцены: «Здесь, в зале, присутствует советский мальчик!» В целях подъема ажиотажа!

- Да не переживай ты так! - успокоил немец. - Даже если и объявят, никто ведь не подумает, что это именно ты! Главное - на сцену не лезь раскланиваться!

Я представил себе эту картинку и тоже рассмеялся.

Тут в комнате появился охранник Вернер.

- Ведь обещали - пять минут! - укоризненно сказал он.

Клаус сделал невинное лицо.

- А мы и были здесь всего пять минут! Поздоровались, взяли автографы - и все!

- Ладно, ладно, - поднял ладонь Вернер. - Взяли - и хорошо. Давайте теперь на выход! Вы же еще на концерт собирались? Или нет?

- Собирались, собирались! - засуетился Клаус. - Уже идем!

И через пару минут мы оказались на улице.

- Ты был прав, - сказал я своему немецкому приятелю. - Если не пробовать, то ничего и не получится!

Он кивнул и вдруг сказал:

- А жалко, что мы с ними не выпили! Вот было бы чем похвастать!

- Да тебе теперь и так есть чем хвастать! Все обзавидуются! Ты с НИМИ разговаривал!

Клаус вдруг всполошился.

- Не вздумай моим здешним приятелям рассказывать! Они меня ненавидеть станут!

- Но почему?

- Потому что вас я провел к «битлам», а их - нет! Представляешь, как им обидно будет?

- Это да. Но и ты больше никому про меня не рассказывай!

Я бережно убрал обе фотографии с автографами и ручку Пола во внутренний карман куртки. Немцы тоже спрятали свои сувениры.

Через какое-то время зрителей стали запускать в зал, на второй концерт. Подумалось, что лихо ребята отстреливаются: два раза по полчаса поиграли и все, ауфвидерзеен, Мюнхен!

Места у нас были недалеко от небольшой сцены. Почти всю ее занимала аппаратура. Ударная установка Ринго располагалась на возвышении. А вокруг пространство занимали те самые охранники в белых рубашках. Немало было и полицейских. Но их ряд отгораживал публику от сцены, чтобы зрители не бросались рвать своих кумиров на памятные сувениры. А что, ребятам много раз приходилось спасаться бегством от вопящих поклонников (особенно, поклонниц). И только полиция могла им помочь. Что поделаешь - битломания…

Концерт снова начался с небольшим опозданием. Пока на сцене появлялись другие артисты, зрители все подходили и подходили. Что подела-

ешь, они ведь шли именно на «Битлз», а не на каких-то там Питера и Гордона. Вот и позволяли себе чуточку опоздать.

К началу выступления «битлов» в зале было не протолкнуться. Сидячие места тут имелись, но большинство зрителей предпочитало стоять, так было, наверное, легче вопить и приплясывать.

Когда ведущий объявил их выход, толпа взревела, а уж когда они сами выскочили на сцену с гитарами в руках, вопли и визг достигли невыносимого предела. А ведь парни еще не издали ни одного звука! Что-то там настраивали, Джон подкручивал регуляторы усилителя. Для сцены поверх рубашек «битлы» надели темные пиджаки. И никаких галстуков. В отличие от охранников.

А потом, безо всякого предисловия они взяли и рванули «Rock-n-RollMusic»! Толпа зашлась в истерике.

Я тоже, кажется, орал и размахивал руками вместе со всеми. Со сцены лился такой поток энергии, что не делать этого было практически невозможно. Это были полчаса чистого безумия. Нет, скорее абсолютного волшебства. Потому что эта четверка была действительно волшебниками, способными творить с людьми своими гитарами и голосами все, что угодно.

Но это было доброе волшебство. В ревущей и раскачивающейся толпе, заполнившей зал цирка, не существовало врагов, никто не нападал на соседа, не дрался. Все были братьями и сестрами, которых сделала такими магия, исходившая от «Битлз».

Они спели всего одиннадцать песен. Перед последней, «I'mdown», Пол объявил ее на немецком и попрощался с публикой. Но тут произошла какая-то заминка. Кажется, он забыл первые строки и обратился за помощью к Джону. Тот рассмеялся, потом совместными усилиями вспомнили и грянули. Не удивительно, поскольку раскрасневшиеся лица ребят указывали на то, что, вернувшись с репетиции, они добавили еще своего любимого напитка.

И вот все кончилось. Мы все, находившиеся в зале, были так же ошеломлены, как и те, кто присутствовал на первом концерте. Молчаливо покинули «KRONE-BAU» и отправились домой пешком. Надо было переварить увиденное и услышанное.

Поздно вечером я лежал на все той же кушетке и вспоминал. Все, конечно, было очень здорово. Наши ехидные журналисты сколько угодно могли строчить про «патлатых ливерпульских рабочих парней», которые не умеют играть на гитарах, а только вопят и подпрыгивают. Да из них никто и не был на концерте «Битлз»! Или совесть свою они продали окончательно. Идеология требовала очернять все, что выходило за рамки «разрешенного», вот они и старались. А потому верить им - самое последнее дело!

Нет, я не становился диссидентом, видящим в советской власти только плохое, но во мне уже рождалось убеждение в том, что, не увидев своими глазами, нельзя верить посторонним, якобы знающим больше. Ничего они не знают, только вид делают!

Утром пришло время подумать о возвращении. Клаус и Ингрид уговаривали остаться еще хотя бы на денек. Им-то что, хоть на день, хоть на неделю! Они в своей стране. А мне обязательно нужно было вернуться. В лагере могли хватиться отсутствующего меня. Если уже не хватились. Короче, домой - и точка.

Но каким образом? Окольными путями я узнал, что ста марок, подаренных мне Хайнцем, хватит на проезд от Мюнхена до Нюрнберга, даже еще немного останется. А дальше придется добираться до границы «автостопом». Сомнительно, что мне опять повезет, и попадутся такие же попутчики, как Клаус и Ингрид. Но платить все равно будет почти нечем.

Немцы смотрели на меня сочувственно. Денег у них тоже было не густо. И возвращаться в Ингольштадт они не спешили. Когда еще удастся вырваться из-под родительской опеки?

Потом Клаус просиял лицом.

- Идея! В Нюрнберге у меня живет двоюродный брат! Я ему позвоню, и он обязательно поможет!

- Слушай, а у тебя где-нибудь в Австралии нет случайно родственников? - не скрывая иронии, спросил я.

- Ты не поверишь - есть! - спокойно ответил он. - Какая-то тетка там живет. Нас, немцев, история, знаешь, как по миру раскидала!

Делать было нечего. Если этот нюрнбергский брат такой же легкий человек, как Клаус, то его помощь будет очень кстати.

- Звони! - сказал я решительно.

Я попрощался с обитателями студенческой коммуны, закинул на плечо свой рюкзачок, где лежали бутерброды, главные сокровища: фото «Битлз» с автографами, и вышел на улицу. На машине Клауса мы отправились к вокзалу.

Нюрнбергский поезд отправлялся через час. Я купил самый дешевый билет, спрятал в карман сдачу - может пригодиться, и немцы потащили меня в вокзальное кафе, поесть на дорогу.

- Ты обязательно напиши, когда доберешься, - сказала Ингрид. - Вот здесь Клауса и мой адреса.

Она сунула в кармашек рюкзачка записку.

«Ага», - подумал я. «Мне так и дадут отправить письмо с обратным адресом полевой почты». Впрочем, если не указывать обратный адрес, а бросить открытку в обычный немецкий почтовый ящик, может и дойти. Переписываются же как-то жители ГДР со своими родственниками в ФРГ.

Мы обнялись на прощание, я сел в вагон и поезд тронулся. Никогда раньше не ездил на немецких поездах. Если не считать, конечно, купейные вагоны в Советском Союзе, которые для наших железных дорог поставляла все та же ГДР. Тамошние, конечно, отличались. Спальных мест не было предусмотрено. Всю дорогу предстояло сидеть. Но меня это не смущало. Ехать всего какие-то часы. В Европе расстояния не такие огромные, как у нас. Даже от Ставрополя, города, в котором я родился, до Москвы - полтора суток. Не то что выспаться успеешь, но и все бока намнешь!

Поезд часто останавливался на станциях, но между ними набирал приличную скорость. Хотя и не такую, с какой много лет спустя здесь будут носиться обтекаемые, как гоночные машины, составы.

Никто не раскладывал на газетках, как это принято у нас, вареную курицу, яйца вкрутую и огурцы с помидорами. Так, перекусывали иногда бутербродами. Что проделывал и я, запивая оставшейся в рюкзачке «Витаколой» - аналогом американской «Коки».

Ко мне не приставали с разговорами, каждый занимался чем-то своим: читал газеты или книги, слушал радио. Айфонов и портативных телевизоров еще не существовало в природе.

Так и доехали до Нюрнберга. Теперь мне предстояло добраться до германо-германской границы и преодолеть ее без последствий. И как это сделать, не было ни малейшего понятия. Водитель Хайнц, доставивший меня сюда в тайнике своего трейлера, наверняка уже вернулся домой и готовится к следующему рейсу, подыскивая богатеньких пассажиров-беженцев. И помочь мне не сможет. Но вот почему он согласился провезти меня, да еще и бесплатно, через границу? Это оставалось для меня загадкой, пока Рената позже не проболталась о том эпизоде с советскими солдатами и мальчишкой из Гитлерюгенда. Вот тогда все прояснилось. Только не получилось у «дяди» Хайнца сделать советскому пареньку подлость. Я смог вернуться! А как - чуть ниже расскажу.

Очень оригинально я встретился на вокзале Нюрнберга с двоюродным братом Клауса, Уве. Провожая меня, мой немецкий приятель как-то забыл рассказать мне о своем брате, а я не вспомнил. Спохватился только в поезде, но было уже поздно. Поезд ушел в прямом смысле.

Сойдя на перрон, я остановился в раздумьях. Где искать этого Уве? И вдруг увидел над головами приехавших и встречающих табличку с надписью «THEBEATLES»! Правильно, не будет же он писать мое русское имя, тем более, что наверняка его и не знает?

Я подошел к парню, державшему табличку, улыбнулся.

- Уве?

Табличка у него была напечатана типографским способом. Он что, каждый день здесь встречает людей, приехавших с концерта «битлов»? Оказалось, что отец Уве владеет небольшой типографией и сыну не составило труда сделать такой призыв ко мне.

- Ты голоден? - первым делом спросил Уве.

Я отрицательно помотал головой. Есть и правда не хотелось. Хватило бутербродов, которыми щедро снабдила меня Ингрид в Мюнхене.

- Тогда так. У меня здесь автомобиль. Не такой шикарный, как у Клауса, но сойдет. Я довезу тебя до Кобурга, чуть дальше. А потом тебе придется добираться самому. Есть планы, как перейти границу?

Планов у меня не было абсолютно и это угнетало. Опять же, из тайника в трейлере невозможно было рассмотреть, как выглядит пограничный пункт. Придется ориентироваться на месте.

По моей просьбе мы заехали в типографию отца Уве, и мой новый немецкий приятель за пять минут сделал табличку, которая должна была помочь мне добраться до границы.

Машина у него была действительно старенькая, зато легендарная: тот самый «Фольксваген» - «Народный автомобиль» «Жук». Между прочим, само предприятие было создано по приказу Гитлера, чтобы народ имел возможность покупать надежные и недорогие средства транспорта. Небольшая «тележка», не очень скоростная, но уютная.

- Я высажу тебя за Кобургом, дальше не хочется светиться. Но кто-то же все равно едет в Восточную Германию. Вот с попуткой и доберешься. Там немного остается до границы. Ну, а потом сам решай, как быть. Клаус сказал, что ты парень сообразительный.

Он помолчал, а потом добавил:

- Впрочем, у тебя всегда есть возможность остаться тут, на Западе. Я не знаю подробностей, но тебе обязательно должны помочь. У нас к беженцам хорошо относятся. Пособие будут выплачивать. Не очень большое, но на жизнь хватит.

Этого мне еще не хватало! Нашел беженца! Если бы не концерт в Мюнхене, я бы и за очень большие деньги к вам не поехал! За эти дни никто еще не предлагал мне остаться, стать «невозвращенцем». Во мне вспыхнуло негодование, но я сдержался. В конце концов, что они знают о нас и о нашей жизни?

Я сухо сказал:

- Даже не думай.

Уве пожал плечами.

- Твое дело.

Вот именно, что мое.

Расстались мы все-таки тепло. Проехав Кобург, остановились, я пожал Уве руку, он пожелал мне удачи, развернулся и отправился домой.

Я же стал у дороги и поднял табличку, на которой по-немецки было выведено «GRENZE», то есть «ГРАНИЦА». Какие тут нужны еще пояснения?

Остановился первый же автомобиль. Это был опрятный «Опель». За рулем сидел благообразного вида пожилой господин. Рядом с ним я увидел типичную немецкую домохозяйку - пожилую тетечку в очках и строгом темном платье.

- Молодой человек, - обратился господин ко мне, прежде чем я успел сказать хоть слово. - Вы пограничник?

Это прозвучало так нелепо, что я улыбнулся.

- Нет, граница там, - я показал рукой вперед.

- Тогда почему вы держите этот знак?

- Мне просто нужно добраться до границы. Подвезете?

- Конечно. Садитесь.

Я устроился на заднем сидении, положив рюкзачок на колени.

- Позвольте узнать, а зачем вам на границу? - спросил господин, трогая машину с места.

Что мне было терять? Я выложил ему всю историю моего путешествия.

Если эта пара и была удивлена, то вида не показала.

Помолчав, водитель признал:

- Да, тяжелая у вас ситуация. Мы чем-то можем помочь?

- Зачем вы едете в ГДР? - вопросом на вопрос ответил я.

- Видите ли, я - пастор лютеранской церкви и получил назначение в приход города Перлеберга. Мы едем туда.

- Тогда вряд ли вы сможете мне помочь. Разве что переоденете в монашку.

Пастор понял мою шутку. Его супруга не улыбнулась.

- У нас только два паспорта, Хорст! - напомнила она.

Хорст помолчал еще пару минут и предложил:

- Давайте сделаем так. Мы минуем границу и где-нибудь там подождем вас. Ну, где-то час. Если у вас все получится, то мы с удовольствием довезем вас, куда скажете.

- Хорст! - повысила негодующий голос жена. Или матушка, не знаю, как у лютеран зовут вторую половину священника.

- Оставь, Герлинда, - спокойно парировал муж. - Каснеры никогда не бросали людей в беде. Тем более, это не подобает пастору. А у мальчика трудности, ты же видишь!

Так мы и договорились. Метров за сто до пограничного пункта я вышел из машины и остался ждать, пока она не пересечет границу.

А граница была. Тянулись заборы из колючей проволоки, в отдалении виднелась вышка с часовым.

Меня охватило уныние. Ну и как все это преодолеть?

Я сел на обочину и стал бездумно смотреть в сторону пограничного пункта. У четы Каснеров, похоже, трудностей с переходом не случилось. Они даже из машины не выходили. И багажник у них не проверяли! Черт, надо было просто спрятаться в багажнике! Не додумал!

Но потом я спохватился. Во-первых, нельзя было заставлять порядочных людей контрабандой провозить меня через границу, даже если бы они согласились. Не по правилам как-то это. А во-вторых есть ведь еще и гэдээровская граница, где точно следят во все глаза, чтобы какой-нибудь западный шпион не проник в демократическую страну.

И как мне теперь быть?

А потом пришло непонятное спокойствие. Я проделал такой огромный путь, исполнил самую сокровенную мечту. И теперь что-то меня может остановить? Да никогда!

Я решительно встал и пошел к границе.

Машин в это время дня было немного, а пешеходов и того меньше. Только я один.

Твердым шагом я подошел к пропускному пункту. Какой-то офицер (как я понял по погонам со звездочками) с любопытством смотрел на меня.

- Я бы хотел попасть в Германскую Демократическую Республику, - обратился я к нему официальным тоном.

У офицера брови полезли на лоб.

- Как вы сказали? В ГДР?

- Именно! - подтвердил я. - Видите ли, я там живу. Я ездил на концерт в Мюнхен и теперь возвращаюсь домой.

Что-то он уловил неправильное в моем произношении, потому что вдруг спросил:

- Вы немец?

- Нет, я русский. Гражданин СССР.

Посмотрим, как ты на это отреагируешь.

Пограничник был в явном замешательстве. От напряженных мыслей у него даже лоб вспотел.

- У вас есть какие-нибудь документы, подтверждающие ваше гражданство?

Какие у меня могли быть документы? Живи я в Союзе, мог бы уже иметь общегражданский паспорт. Но нам, членам семей военнослужащих, паспорта не полагались. Только по возвращении на родину.

Так я и объяснил этому немцу.

Он крутил головой в явном замешательстве. Наверняка это был первый такой случай в его жизни и карьере.

- Лотар! - позвал он, наконец, обернувшись к домику поста.

Из дверей показался дородный немец в такой же форме. Если первый был подтянутый и стройный, каким полагалось быть «настоящему арийцу», то этот воплощал собой типичного любителя пива и обильных закусок. Пузо едва не рвало мундир. Похоже, и сейчас, перед тем, как его позвали, он что-то ел, потому что на ходу утирал рот салфеткой.

- Ну, что тут у тебя, Генрих? - вопросил он.

Генрих подробно описал ему ситуацию. Я ждал, что сейчас этот толстопузый равнодушно проронит: «Да сунь ты его в камеру и пускай власти разбираются!»

Но ведь эти двое пограничников и сами были властью! Ну, или представителями ее. Так что для начала приходилось решать им.

И второй немец нашел соломоново решение.

- Когда ты переходил границу? - спросил он у меня безо всякого намека на вежливость.

- Позавчера, - посчитав в уме, ответил я.

- Где?

- Здесь.

Ну не рассказывать же им, что видеть меня они никак не могли, потому что в тайник не заглядывали.

- А позавчера дежурил ты, Генрих, помнишь? - спросил он у первого.

Тот спал с лица.

- И что теперь?

- Да ничего, - равнодушно промолвил толстый. - Хочешь, чтобы начальство узнало про твою оплошность?

Генрих затряс головой.

- Ну, так плюнь на все и пропусти этого пацана! Пусть на той стороне у коллег голова болит!

- Ты так думаешь? - сомнением протянул Генрих.

- А чего тут думать? Проходи, парень! И больше нам не попадайся, а то упечем в кутузку!

- Честное слово, больше не попадусь! - промямлил я, ошеломленный не меньше чем Генрих. И даже не оглянулся, чтобы помахать на прощание.

Пока я шел к следующему пограничному посту, теперь уже ГДР, в голове билась одна только мысль, которая уже появлялась по дороге ТУДА: «Так просто?!»

Между пограничными постами двух немецких стран был довольно длинный промежуток нейтрального автобана. Интересно, а за состоянием этого отрезка кто следит: восточные или западные? Очень уместная мысль в такой напряженный момент, не находите? Под стать всей моей авантюре.

Издалека я увидел, что у моих недавних знакомцев дела идут не так просто, как у меня. Каснеры стояли рядом с автомобилем, один пограничник проверял их документы, в то время как второй рылся в багажнике. Что он там надеялся найти? Пропагандистскую литературу? Так пастору положено нести Слово Божье своей пастве.

Пришлось подождать, пока осмотр не окончится, и машина минует пограничный пункт.

Только после этого я направился к уже смотревшим в мою сторону пограничникам.

Вы будете смеяться, но на этом посту ситуация повторилась чуть ли не слово в слово. Только звали здешних пограничников Йорг и Матиас. После того, как выяснилась их некомпетентность в деле охраны границы (позавчера дежурили именно они), Йорг спросил меня лишь, как отнеслись к моему появлению на ТОЙ стороне, и, услышав, что пропустили без разговоров, сделал приглашающий жест: «Проходи!»

Это было невероятно. Преодолеть границу в обратном направлении оказалось так же просто. Что у них за порядки? А как быть с лозунгом «Граница на замке!»? Или это относится только к границам СССР? Ну и правильно, нечего всяким соплякам шляться через нее!

Много позже, когда мы с женой были в гостях у Сергея, он повез нас из Эрфурта показать Страсбург, который находится, как известно, во Франции. Мы спокойно переехали Рейн по широкому мосту и мой школьный товарищ сказал:

- Вот мы и во Франции.

И не было никаких пограничных постов и шлагбаумов.

Но это случилось, как я уже сказал, гораздо позже.

Пастор и его жена, верные своему обещанию, ждали меня на той стороне границы. Только топать до них было далековато. Напуганные досмо-

тром, который учинили им на границе ГДР, они постарались отъехать так, чтобы спрятаться за поворотом дороги. Встретили меня с радостным облегчением, попытались расспрашивать, как мне удалось миновать кордоны, на что я бесхитростно ответил:

- Прошел и все!

Что я им мог объяснить, если и сам не понимал?

К вечеру я уже был в лагере. Первым делом разыскал брата и смог перевести дух - никто меня не искал. О моей отлучке знали только он и мои соседи по бунгало. Но они меня не выдали. Вот и славно, не зря я им поверил. Естественно, правду о том, где побывал на самом деле, я не собирался открывать. Зачем им это знать? Расскажешь, и хотя никто, конечно, не поверит, но проболтаться все-таки могут. Пусть все останется тайной.

И фотографиями с автографами «Битлз» я, конечно, тоже не хвастал. Для простых советских пареньков имена ливерпульской четверки были пустыми звуками.

Но как счастлива была Рената, когда увидела меня! И счастлива вдвойне на нашей солнечной полянке, где мы уединились, и я достал из кармана предназначенную ей фотографию.

Но тому, что я лично разговаривал с «Битлз», она все же не поверила.

- Так тебя и пропустили! - сказала Рената. - Ври больше! Там, знаешь, какая охрана!

Про охрану и ее суровость мне было хорошо известно, но переубеждать подругу я не стал. Зачем? Я-то знаю правду…

А потом закончилась смена в лагере «Максим Горький». Рената уехала первой. Ранним утром, когда мы еще спали, заскочила в наше бунгало, чмокнула меня и исчезла. Как потом стало понятно, из моей жизни тоже. Мы даже не переписывались, не было у нас такой возможности.

А открытку Клаусу и Ингрид я все же послал. Никаких подробностей, только о том, что добрался и у меня все в порядке. Ответа, естественно, не ждал, ведь на открытке не было обратного адреса.

Н я все же увидел их годы спустя. Баварское телевидение снимало тот концерт, именно второй. В Интернете можно найти этот фильм. Там мои немецкие приятели во всей своей красоте и юности орут и размахивают руками во время исполнения песни «NowhereMan».

Меня там, к сожалению, нет. Редакторы вырезали из концерта несколько песен. Возможно, там был и я, тоже вопящий и приплясывающий. Увы, не увижу.

И еще одно. Когда я впервые услышал песню «Битлз» «Back in USSR», что значит «Снова в СССР», меня словно током ударило. И пусть потом прочитал байку о том, что Пол Маккартни сочинил ее, увидев какой-то плакат «Аэрофлота», я-то знаю, что в действительности название песни - это корявый перевод Клауса с русского на английский. Ведь я тогда сказал: «Я живу в СССР!».

Такие дела…

ЕЛЕНА КРИВЕЦКАЯ

***

Ты до сих пор удивлён тому, как мы встретились?
Ты всё никак не поймёшь, почему же мы вместе?
Да потому, что всегда в наших душах теплились
Одни на двоих странные мысли. В месте,
Где мы с тобою однажды нашли друг друга,
Уже больная тоска разлеглась снегами -
И вроде и не было этого тёплого луга,
И зря мы, кажется, глупые, мир ругали,
Что, мол, и крут и жесток, и угрюм не в меру,
К деньгам слаб, слишком груб и не знает Бога...
Мы просто, друг, перепутали с болью веру
И к храму вышли - да только не той дорогой.

30.11

Завтра зима. А пока ошалелое
Солнце сжимает в горячих ладонях
Улицы города незагорелые,
Каменно-белые. Скоро обронит
Тополь последний шуршащий листочек,
И синева в небесах опрокинется
Роем пушистых порхающих точек,
Вымерзнет солнечный щедрый гостинец - и
Завтра зима.

ЗИМА

Город замер. Холодные улицы,
Распластавшись, раскинули руки,
И дома оробело сутулятся,
Наклоняясь к недвижным телам,
И деревья, ветрами раздетые,
Без тепла глухо стонут в разлуке,
И гадают киоски газетные
На весну по трамвайным следам.

Наталия Литосова. Февраль

Плачут крыши домов с облегчением,
Ветер в улицах бьется радостно -
Это вновь зима столоверчением
Дух весны вызывает сладостный.
И поют тротуары лужами,
Брызги в солнечных бликах беснуются…
Рождество!.. Первый встреченный - суженый,
И раскрыли объятия улицы.
И не верится в призрачность призрака,
И не верится в грезы недлительность…
Беспощадно весенние признаки
Взрыв зимы возвращает в действительность.

***

Последний месяц года
Ступает еле слышно
Снежинок хороводом,
Обледенелой крышей,
Дыханьем апельсинов,
Морозной стылой ночью
И небом -
Синим-синим,
Прозрачным очень-очень.

НАТАЛЬЯ ОКЕНЧИЦ

МОЯ ЖИЗНЬ - ЭТО...

Моя жизнь - это праздники, будни;
Это море, земля и лес;
То, что было и есть, и будет;
Это счастье и тяжкий крест;

Платье серое, белая скатерть;
Небо, солнце, луна, люди…
И на всё это сил хватит.
И улыбка для всех будет.

ГОДЫ ПРЕДСТОЯЩИЕ

В семьдесят с лишним лет
Манит седое небо,
И поднебесный свет
Пахнет кусочком хлеба.

В семьдесят с лишним лет
Солнце всего дороже.
Смотришь прохожим в след…
- Кто же тебе поможет?

В семьдесят с лишним лет
Тоже смеяться можно.
И отогреет плед.
Я доживу… возможно…

В семьдесят с лишним лет
Не утихают раны.
Помнишь любви рассвет,
И не хватает мамы.

ПРОШЛОЕ

С годами я уже другая…
Период жизни не знаком.
Порою прошлое пугает:
Растёт, растёт как снежный ком.

Как будто придавить стремится,
Всё время гонится вослед.
Клубок ошибок… чьи-то лица,
Которых рядом больше нет.

Мелькают города, вокзалы.
То солнце есть, то солнца нет.
Я берегла, но потеряла
Прекрасной юности рассвет.

Начну свой день опять сначала.
Ах, боже, смилуйся, прости.
За то, что много потеряла,
Позволь хоть чуточку найти…

ЗАМОРОЖЕННАЯ ЛЮБОВЬ

У деревни заброшенной сани
Режут кромку застывших полей.
Недалёкое прошлое ранит
Недосказанной болью своей.

Что любовь? Оказалась спесивой…
Я волчицей гналась за тобой.
И легка я была, и красива.
Ты меня называл не судьбой.

Мой закат в белом холоде алый.
Так, наверное, счастье горит…
Той зимы зачарованной мало.
Время в зеркале пальцем грозит.

СРОК ДАВНОСТИ

Разве поздно ворвался свет
Прямо в душу, пронзая тело?
За ошибки далёких лет
Я прощенье просить хотела.

Трепетала, ждала, звала.
На воде собирала блики.
Уходила на край села.
Только ветер меня окликнул.

Только поле смотрело вслед,
Провожая пернатых стаю.
За ошибки далёких лет
Ветер в поле меня прощает.

СТУДЁНАЯ ПОРА

Разыгралась зимой несусветная вьюга.
Я за дверь - в этот холод и шум.
За плохие стихи не похвалит подруга.
У Вселенной стихи попрошу.

На диване не пишут студёные строки,
И от чая не крепнет спина.
И не кажется небо безмерно глубоким.
В непогоду гуляю одна.

Стылый ветер лютует в кристальной аллее.
Разрывается снежная сеть.
В непогоду меня белый свет не жалеет.
А за что меня нужно жалеть?

ЗНАКИ ЖИЗНИ

(Отрывок из повести)

1

Шло время… Люба постепенно стала привыкать к странному городу Усмань, состоявшему почти на одну свою треть из колоний. Этот город прежде был старым купеческим уездным центром и славился торговлей яблоками и мёдом. Впрочем, во всём облике Усмани имелось какое-то едва уловимое очарование, которое врезалось в душу не сразу, а по прошествии некоторого времени. Даже само отсутствие асфальтированных дорог Любу перестало пугать, так как вместо асфальта под ногами таинственно скрипело крошево из измельчённого красного кирпича. Может быть, поэтому все жители этого города двигались по улицам степенно и важно, без какой-либо надоедливой суеты. За месяц проживания в Усмани Люба успела многому в жизни научиться: колоть дрова, находить в лесу съедобные грибы, заквашивать капусту в деревянной бочке и самостоятельно варить борщ. Но всё-таки в таком тихом существовании не было куража, а лишь светлая томная печаль… Казалось, она, как некая огромная волна, то и дело захлёстывала душу, не давая опомниться и прочувствовать глубину самой печали, угадать её скрытый смысл. Люба не понимала тогда, что в действительности она стояла в преддверии ожидания любви.

Утром, в один из воскресных дней, Любу разбудил телефонный звонок. «Кто же это позвонил, ведь у меня сегодня нет дежурства?» - мрачно подумала про себя девушка и со вздохом сняла телефонную трубку. На другом конце провода энергично затараторил знакомый голос её новой подруги Элеоноры Ивановой:

- Слышишь, старуха, а давай с тобой махнём в лес за грибами, ведь целую неделю лили дожди?

- Даже не знаю… Там, наверное, сейчас сыро и холодно? - ответила Любаша. Но Элеонора была из того разряда людей, которые, если им что-то взбрело в голову, не привыкли останавливаться ни перед каким препятствием, поэтому она безапелляционно возразила Любе:

Тамара Лангуева. На краю леса

- Нет, старуха, так не пойдёт! Так и вся жизнь пройдёт мимо, оглянуться не успеешь!.. Ну-ка, скорей собирайся. Я через полчаса буду у тебя.

Люба едва успела собраться и позавтракать, как в дверь постучали и на пороге появилась Элеонора. Она улыбалась, и замечательные её карие глаза блестели: девушка радовалась прозрачному осеннему утру в предвкушении лёгкой прогулки по лесу. Они вдвоём сели на велосипед (Элеонора - за рулём, а Люба - на заднем сидении) и поехали в сторону Воронежского заповедника.

В лесу действительно было сыро. Ощущалось прохладное дыхание осени. Деревья светились, как свечи из благородного янтаря, трава успела уже пожухнуть, и местами было скользко идти по лесу, особенно в резиновых сапогах. Девушки не спеша шли по лесу, наслаждаясь пряным аро-

матом прелых листьев вперемешку с запахом хвои. Элеонора всю дорогу шутила, рассказывала Любе анекдоты, весело размахивая плетёной корзинкой, которая висела у неё на правой руке. От пригорка на полянку, от полянки на пригорок… Элеонора и Люба сразу даже не заметили, что заблудились. Вроде бы перед ними узкой лентой извивалась та же тропинка, а вокруг шумели те же деревья, но это была уже другая тропинка, и это были совсем другие деревья.

- Всё, баста!.. Мы с тобой заблудились. Дошутилась я, дура глупая! - отчаянно ругала саму себя Элеонора.

- А разве умные дуры бывают? - ехидно заметила Люба.

- Да уж… Наверно, бывают, раз я так сказала. Лучше подумай, Люба, как нам с тобой теперь из леса выйти?! - спросила тревожным голосом Элеонора.

- Главное - не паниковать! Просто нам надо постараться вспомнить все приметы в лесу, по которым части света можно определить, - решила успокоить Элеонору Любаша.

- Каким же образом мы всё это будем делать? - не унималась взволнованная Элеонора.

- Ну, например, по годовым кольцам деревьев… Или по разрастанию мха возле старых деревьев… По верхушкам самих деревьев… Скудность мха обычно свидетельствует о том, что дерево растёт на южной стороне, а буйный рост его говорит о принадлежности дерева к жителям северной стороны… - продолжала Люба.

- У-у, ты какая умная! Хорошо, но где мы пилу с тобой возьмём, чтобы кольца годовые изучать, ведь ни одного пенёчка нигде не видно, так как в заповеднике вырубка леса запрещена? Да и мох-то на деревьях у нас в лесу что-то редко встречается… - сокрушенно проговорила Элеонора.

Добрых полчаса девушки отчаянно бродили по лесу в надежде отыскать именно ту тропинку, которая способна их вывести из леса, но тщетно. Вот уже и у Любы начало портиться настроение, и её вполне можно было понять: в конце концов она не местный житель, тем более не виновата, что они с Элей заблудились. Каково же было Элеоноре, которая, будучи уроженкой Липецкой области, прекрасно знала лес в окрестностях Усмани, но за разговорами с подругой беспечно упустила в своей памяти нить, ту самую, которая всегда помогала ей ориентироваться в лесу. Потом девушки вспомнили, что и велосипед они тоже потеряли…

- Ты бы ещё на автомобиле ко мне приехала или угнала поезд! - разгневанно проговорила Люба, обращаясь к Эле.

- Ну уж про поезд ты, старуха, сильно загнула: рельсы-то с собой не возьмёшь! - энергично оправдывалась Элеонора.

В эту самую минуту в голову Любы неожиданно пришла мысль. Девушка вдруг вспомнила один из допросов несовершеннолетнего заключенного, который две недели тому назад устроил побег из колонии. Люба спросила тогда у парня: «Как же вам удалось из леса на дорогу выйти?» Юноша

ответил: «Так мы с Лёхой поезда слушали: на траву ложились и ухо к земле прикладывали… Потом, услышав шум поезда, почесали в том направлении». Любаша от радости захлопала в ладоши и рассмеялась.

- Малахольная ты, Любка!.. С ума совсем сошла! - посетовала Элеонора.

- Нет, напротив! Меня осенила гениальная мысль!.. Мы с тобой сейчас будем землю слушать. Ну, вибрацию надо ощутить - такая у нас с тобой предстоит работа, Эля. Кстати, а ты расписание поездов знаешь? - деловито спросила Любаша и взглянула на свои наручные часы. Элеонора тоже посмотрела на часы, они у неё были старинные золотые (подарок бабушки), и сказала:

- Будет товарный поезд через двадцать минут, а потом за ним минут через пятнадцать пойдёт пассажирский… Хоть бы до темноты домой добраться!

- Всё будет хорошо!.. Ты только, Элеонора, не раскисай! - подбодрила подругу Люба.

Через час девушки вышли из леса, примерно ещё через полчаса они уже шли по шпалам между рельсов и оживлённо разговаривали, вспоминая разные забавные истории из жизни. Когда железнодорожное полотно почти приблизилось к автомобильной дороге, Люба предложила Элеоноре продолжить движение по шоссе. Та согласилась, понимая, что хоть по автомобильной дороге путь домой и получится длиннее, но зато идти будет гораздо легче, а это было главное, ибо девушки сильно устали, долго и бесполезно блуждая по лесу. И вот, наконец, вдалеке, за пригорком, они увидели старую водонапорную башню. Это означало, что скоро закончится лес и откроется панорама города. Элеонора от избытка чувств бросилась к Любаше, крепко её обняла и поцеловала в щёку. Люба застенчиво улыбалась, хорошо понимая, какие волнения удалось в тот день пережить подруге. Едва девушки спустились с кручи, как их мгновенно догнал автомобиль зелёного цвета, марки «Москвич-412», за рулём которого сидел темноволосый молодой человек. Водитель сразу же сбавил скорость, и автомобиль, поравнявшись с девушками, быстро остановился.

- Волею какой судьбы занесло сюда тебя, сеструха?! - Обратился парень к Элеоноре. Та молча стояла и улыбалась. На помощь подруге пришла Люба:

- Северным ветром. Не спрашивайте сейчас ни о чём Элеонору, так как она только что перенесла сильнейший стресс!

- Это в связи с чем стресс у тебя возник, Эля? - с насмешкой спросил молодой человек.

- Представь себе, что мы чуть было не заблудились с Любой в лесу, - тихо проговорила Элеонора.

- Ой, не поверю, что ты могла заблудиться в нашем Воронежском заповеднике! Ты же этот лес знаешь буквально с пелёнок! - удивлённо заметил парень.

- Хочешь - верь, а хочешь - нет, но так произошло… - сказала задумчиво Элеонора.

Молодой человек предложил девушкам «прокатиться с ветерком» на своей автомашине. Люба и Элеонора без промедления согласились, ибо невообразимо устали и желали только одного: поскорее завалиться спать. Тогда Люба впервые увидела двоюродного брата Элеоноры, которого звали Александром… Саша пригласил их в клуб на танцы. Девушки утвердительно кивнули, но уточнили, что в этот вечер они де не смогут пойти, а в следующее воскресенье - обязательно. Так и договорились.

Дома Любу ожидал сюрприз: письмо от Валентины Мартынюк, её однокурсницы. Тётя Маша торжественно объявила ей об этом:

- Пока ты там гульки устраивала, так тобе ж твой парубок уж известие прыслал у голубом конверту! Шо уставилась на мя?.. А и где ж ты била цельный день?

- Землю слушала… - таинственно произнесла Любаша.

- Та якую ж ты землю слухала, а? Шо-то ты забрэхалась, дивчина, - не унималась тётя Маша.

- Понимайте, как хотите, только я вам настоящую правду говорю, - сказала задумчиво Люба.

Тётя Маша всё-таки начала настаивать на своём, и Любе ничего не оставалось делать, как решиться и рассказать о том, что приключилось в тот треклятый день с ней и её подругой Элеонорой в лесу. Тётя Маша долго и внимательно слушала девушку, а потом вдруг неожиданно закатилась громким заливистым смехом, да так, что Любаша даже вздрогнула. Оказалось, что мать Элеоноры и тётя Маша - давние хорошие подруги и им не раз приходилось бывать в непредсказуемых передрягах и выкручиваться из самых курьёзных ситуаций. Тем не менее, тётю Машу также, как и Александра, почему-то смутило само по себе то обстоятельство, что местная жительница Элеонора смогла так бездарно обмишуриться перед новой залётной птицей Любочкой Крыловой.

- Значит, говоришь, землю ты слухала? Ну и як вона, земля та? Шо вона тобе гутарила? - поинтересовалась тётя Маша.

- Много нагутарила, - решила передразнить женщину Люба.

- Шо ты тут обезьянничаешь, а ?! - обиделась тётя Маша.

- Кстати, то письмо мне прислала моя однокурсница Валя Мартынюк, а не какой-нибудь там жених, - решила, наконец, уточнить Люба и тем самым напрочь лишить тётю Машу всяких иллюзий в отношении своего будущего.

- Скажу тобе по сыкрэту, шо женихи «якими-нибудь» не бывають! Так ты и счастье своё вничтожить можешь! - возразила ей с досадой тётя Маша и точно клеймо на судьбе Любы поставила.

Наступила странная тишина… Тишина какая-то долгая, вязкая, в неё вот-вот, казалось, можно было провалиться и навсегда остаться там без надежды на спасение. Первой опомнилась Люба, она глубоко вздох-

нула, словно вынырнула из этой самой гнетущей тишины, и пророчески прошептала:

- Я вот сейчас сижу и думаю. Выходит, что учиться надо не только у взрослых, умудрённых жизнью людей, но и даже у малых детей и подростков, которые хлебнули в тёмной мутной реке жизни много такого, что не всякий старец на своём веку испытал.

- А шо, може, ты и права, дивчина? - проговорила женщина каким-то странным голосом, совсем другим, каким она прежде никогда не говорила.

Это был явный знак для Любы. Девушка твёрдо знала, что в жизни, словно в чёрной ночи, случается, хоть и редко, но кто-то то и дело зажигает для других огни. Они и есть те самые знаки жизни, без которых на свете было бы тяжко или вообще невозможно существовать.

2

Ноябрьская слякоть на дорогах приводила Крылову в уныние. Вся Усмань была объята, словно тонкой пеленой, густым белым туманом… и в пяти шагах не видно было ни зги.Целую неделю Люба дежурила по городу и району. Девушка постепенно стала привыкать к следственной работе и уже перестала вздрагивать, когда звонил телефон или в кабинет к ней влетала секретарь-машинистка Александра Томилина с сообщением о происшествиях и преступлениях, кои случались на поднадзорной территории. Казалось бы, всё складывалось в жизни у Любы не так уж и плохо, как ей показалось сначала, но что-то в глубине души её всё-таки почему-то тревожило, не давая покоя. Девушка старалась не погружаться в хандру и, выражаясь словами тёти Маши, она «держалась молодцом».

В последнее время Крылова всё больше стала задумываться над тактикой следственной работы и возникающих в процессе неё проблемах. Удивляло и возмущало то обстоятельство, что ей как следователю прокуратуры приходилось выезжать практически на все вызовы милиции, связанные с происшествиями в городе и районе. Выходило так, что её вызывали и тогда, когда находили утопленников, и когда находили бомжей, умерших от алкогольного опьянения, и тогда, когда кто-нибудь погибал от удара молнией, и даже в тех случаях, когда какой-нибудь человек вообще умирал естественной смертью, например, от старости или болезни. Следователей прокуратуры в те далёкие времена зачастую просто называли неприятным и жестоким словом «труповозы».

В один из туманных дней к Любе заглянул «на огонёк» межрайонный судмедэксперт Пётр Ильич Царёв. После положенных взаимных приветствий Пётр Ильич, или как в народе его называли «Чайковский», привычно быстро подписал протокол осмотра места происшествия и с облегчением плюхнулся на небольшой диванчик, который доселе сиротливо стоял в кабинете у Крыловой.

- Знаешь, Любочка, - сказал Царёв задумчиво, - У меня недавно возникла идея… Что это вы с милицейскими работниками в последнее время слишком часто ко мне повадились заезжать?.. Ну, ведь трупы же бывают разные! Вчера, например, помер один заслуженный учитель, ему было восемьдесят семь годков от роду. Тихо жил, спокойно умер от старости, а ваш коллега Абрамов из Зареченского района ни с того и ни с сего вдруг давай меня приглашать в качестве эксперта!.. Зачем? Это же сущий маразм получается! Я, пожилой человек, с проблемным артрозом коленного сустава, должен был подниматься в пять часов утра и как двадцатипятилетний мальчишка сломя голову нестись по ухабистой дороге в кошмарный туман лишь только для того, чтобы засвидетельствовать, что некий гражданин А. естественным путём скончался у себя дома?! Неужели следователь Абрамов такой глупый и беспомощный, что сам не мог логически пораскинуть своими дорогими мозгами и прийти к необходимому выводу?

- Я вас понимаю, Пётр Ильич, но ведь есть давно установленные правила, согласно которым, по приказу прокурора республики, надо осматривать всех лиц, кои скончались в результате внезапной смерти. Конечно, Абрамов в тот раз немного перестраховался, но с кем не бывает: у всех случаются недочёты и прочие недоразумения, - стала успокаивать девушка Царёва.

- Так-то оно так, но надо же когда-то и ломать такую дурацкую практику! Тут я давеча подумал и решил вам предложить… Любочка, вы ведь у нас весьма умненькая молоденькая женщина, зачем же вам уподобляться этим тупым, простите за грубое слово, мужланам из Зареченского района. Давайте же совместно выезжать только на те трупы, которые и у вас, и у меня наверняка вызовут сомнение по поводу механизма их смерти! Я вам дам целый набор перчаток! Ну, пощупаете голову - цела. Потом осмотрите грудь, живот, переверните труп, бросьте взгляд на его спину - нормально, и всё. Сразу сочиняйте направление в морг, но без меня и без всяких там постановлений, которые только загружают нам, судмедэкспертам, работу! Да… если нет трупного окоченения, то приставьте зеркальце к губам трупа, не стоит даже и пульс прощупывать!.. Пожалейте меня, старика больного, мне ж через каких-нибудь три малюсеньких месяца шестьдесят лет стукнет! - проговорил взволнованный Царёв, и в его глазах невольно блеснули слёзы.

Любе тогда стало искренне жаль сидевшего напротив неё действительно уставшего пожилого человека с нездоровым, бледно-оливкового цвета лицом и тёмными кругами под глазами. Люба знала о том, что Царёв жил в Усмани уже более тридцати лет, имел жену-инвалида первой группы, которая практически не выходила из дому. Знала Люба и также, что два года тому назад Царёв похоронил своего единственного сына, погибшего в результате ужасной автоаварии.

Может быть, под впечатлением разговора с Царёвым или по личной инициативе Люба опрометчиво решила изменить свою точку зрения по по-

воду порядка вызова судебно-медицинского эксперта на место происшествия. В конце концов именно в её прямые обязанности входил непосредственный выезд на место происшествия и затем - первичный осмотр оного. Что же касается необходимости вызова эксперта для осмотра, то и в данном случае сей вопрос должен был решать также следователь, то есть она сама. И Любочка сделала вывод: без особой нужды судебно-медицинского эксперта не вызывать…

Две дежурные недели прошли без каких-либо эксцессов и отклонений от норм закона.

Наступила зима. Рыхлый первый снег скользил под ногами. Люба шла прямиком к дежурной автомашине, которая почему-то стояла не рядом с домом, где жила девушка, а напротив, возле двухэтажного здания городской поликлиники. Смеркалось. Приблизившись к автомашине, Люба с грустью заметила, что в ней сидел только один водитель: ни участкового, ни, разумеется, судебного медика там не было.

- Здоровеньки булы, как жисть?! - уподобляясь тёте Маше, поприветствовала девушка водителя Усманского РОВД, хмурого сорокапятилетнего Алексея Ивановича Дёмкина.

- Жизнь - штука противная, но отравиться и повеситься я пока не желаю, - с чёрным юморком проговорил мужчина.

- И где же твоё начальство? Ну, участковый ваш, его высочество Полуэктов? - продолжала Люба шутливым тоном.

- В поликлинику пошёл за историей болезни старушки Варвары, которая сегодня преставилась.

- Понятно… А сколько ж годков-то этой старушке было? - задумчиво спросила Люба.

- Да уж около восьмидесяти лет нашей знаменитой ведьме, прости Господи, и было… - с тоской констатировал Дёмкин.

- Да уж, действительно, древняя старушенция была. Только почему Вы её ведьмой обозвали? - поинтересовалась девушка.

- А то и ведьма, самая настоящая ведьма она и была. И жила, значит, Варвара наша на самом что ни на есть краю города, в захудалом деревянном домике. Травами она занималась да порчу на рогатый скот наводила… А то ещё и того чище: на картах судьбу бабам предсказывала, - продолжал Алексей Иванович.

- Ах, как это интересно! - мечтательно произнесла Люба.

В этот момент к машине подошёл участковый Виктор Полуэктов, мужчина лет сорока. Он деловито размахивал своей кожаной папкой и что-то про себя напевал. Увидев в салоне автомашины Любу, Полуэктов многозначительно кивнул ей и криво улыбнулся. Потом он обратился к водителю Дёмкину:

- Гони, Лёха, домой к Варваре! Надо следователю старушку показать да и бумажки кое-какие подписать!

- Здравствуйте, Виктор Николаевич! - вежливо сказала Люба. Она была уверена, что осмотр закончится быстро.

- Приветствую вас, Любовь Михайловна! Хорошо, когда всё хорошо, - радостно проговорил Полуэктов, щеголяя своей военной выправкой и пушистыми усами.

Автомашина резко рванула с места, и дежурная группа помчалась по дороге на окраину города.

От неожиданно возникших воспоминаний мажорное настроение у Любы вдруг стало стремительно пикировать в минор. Люба начала прокручивать у себя в памяти все свои любовные неудачи. Выходило, что у Любы, вплоть до настоящего времени, ни разу не было взаимной любви… И это ж надо было такому случиться, что ровно неделю назад Любашу вновь пронзила опасная стрела Амура, так как иначе своё «любовное состояние» девушка никак не могла охарактеризовать. А влюбилась Люба в Александра - двоюродного брата своей подруги Элеоноры, который тоже был молодым специалистом, только трудился он на ниве ветеринарии. Александр был красив, как ангел, и сразил наповал своими тёмно-карими очами половину женского населения города Усмани. Не устояла перед пронзительным взглядом Александра и Любаша. Однако как ни стремилась Люба понравиться Александру, ничего у неё всё равно не выходило, и любовь так и осталась безответной. С одной стороны, девушка прекрасно понимала, что такой «гарний хлопец» не может быть обойдён женским вниманием, с другой стороны, ей не хотелось стать шестой по счёту наложницей «князя Александра». От невероятной тоски и «бурной любовной страсти» Любу всегда спасали стихи: свои собственные, наивные, и чужие, профессиональные, настоящие… В этот раз у неё в блокноте появился такой текст:

Пронзительный взгляд тёмных глаз,
Манящий и любвеобильный!..
Куда ж ты зовёшь всякий раз -
В тебя я поверить не в силах?!

Мне, девочке дальнего дня,
Всё ближнее кажется ложью.
А вдруг ты обманешь меня?..
И сердце забьётся тревожно…

И будет летать за окном
Случайная чёрная птица…
В ночи - между явью и сном -
Прошу я, чтоб ты мне приснился!

Тоскую, молюсь и реву!
Да разве ж один ты на свете?!
Всё кажется мне, что я рву
Какие-то тяжкие цепи…

Почему Любаша написала тогда в своём стихотворении, что де молится она по ночам, девушка и сама того не знала. В эпоху советского кондового атеизма само слово «молитва» было под запретом. Про какие такие цепи говорилось у неё в стихотворении?.. Всё это осталось тайной.

Крылова очнулась от своих горько-сладких дум, когда автомашина остановилась возле дома «ведьмы» Варвары. Едва Люба переступила порог её дома, как сразу почувствовала острый запах разнотравья, которым насквозь был пропитан весь дом. Даже стены дома, казалось, были пронизаны душистой смесью мяты, чабреца, душицы, коры дуба, ромашки и ещё множеством и множеством ароматов различных трав и кореньев. В большой проходной комнате на длинном трёхметровом столе, на белой простыне, между двумя рядами старинных икон, сиротливо лежало неподвижное тело восьмидесятилетней Варвары. Лицо старой женщины было бледным, но весьма благообразным и со следами былой красоты. Седые волосы Варвары отливали благородным серебром и внушали почтение и уважение к её персоне. Крылова недоумевала, каким же образом такую умиротворённую старушку местные жители могли причислить к разряду ведьм и колдунов?

Спешно осмотрев тело бабки Варвары, Люба со вздохом сняла с рук резиновые перчатки и произнесла: «Осмотр окончен…Всё нормально. Хотя, конечно, не мешало бы зеркальце маленькое к губам покойной приложить для достоверности, но и так понятно, ведь пульс нигде не прощупывается».

- Я мигом сбегаю к соседям за зеркалом! - засуетился участковый Полуэктов.

- Это, почитай, два километра с гаком надо прошагать, а автомашину милицейскую по пустякам я гонять по бурелому не буду! - запротестовал водитель.

- И не стоит! Всё и так ясно, - с уверенностью проговорила Крылова.

Перед тем как садиться в автомашину, она ещё раз бросила взгляд на маленький покосившийся деревянный домик, в котором до сей поры жила бабка Варвара, и грустно подумала, что ей очень жаль покойную старушку, так искусно владевшую мастерством гадания на бобах и картах! Ведь Любе в то время непременно хотелось, пусть украдкой, но хотя бы один разочек заглянуть в свою судьбу…

На другой день (это было воскресенье) Люба до девяти часов провалялась в кровати. Девушка ни за какие коврижки не желала вставать с постели, ибо ничто в тот период времени её не интересовало и не влекло, кроме предмета всепоглощающей страсти… И предмет сей казался вполне одушевлённым: это был всё тот же сердцеед Александр. Люба никак не могла избавиться от «пронзительного взгляда» его тёмно-карих глаз и его мягкого баритона. Умом девушка абсолютно всё понимала, а сердце не стремилось пока проститься с недавно вселившейся в него тихой радостью потаённой любви.

Мечтания Любы были грубо прерваны громким телефонным звонком. Это звонил сторож из центральной районной больницы:

- Здоро́во, Люба Михайловна, то Степан из ЦРБ звонит… Тут такая интересная канитель получается… Вчерась, ежели помните, вы к нам в морг старушку одну забросили… Ну, так вот… та старушка живой оказалась… Я ночью аж до смерти испужался, кода она тарабанить в дверь мертвецкой начала!.. Ей Богу!.. Вот вам крестное знамение!.. Дак, что тапереча мне с ней делать? - заикаясь, бормотал сторож.

- Я сейчас же буду у вас! Ждите! - взволнованно воскликнула тогда Крылова.

Мгновенно собравшись, Люба вылетела из дома пуще пробки из бутылки шампанского. Девушка даже не заметила, как буквально за двадцать минут она смогла преодолеть огромное расстояние и очутиться на территории ЦРБ. Изо всех сил Люба кинулась к больничной двери и стала стучать в неё своими маленькими девичьими кулачками. Дверь ей открыла испуганная санитарка.

- Какого же вы лешего, дамочка, ломаете нам дверь?! Что вам надо? - заголосила женщина.

- Мне срочно нужен сторож! - потребовала Крылова.

- Ну и ломитесь к нему! Третья дверь справа! - раздосадованно крикнула санитарка.

Не успела Люба и дух перевести, как эта третья дверь справа со скрипом распахнулась и на пороге появился низенький небритый мужичок.

- То я ж вам звонил! Идите сюда! - обратился сторож к Крыловой.

Девушка опрометью кинулась к сторожу, и через несколько секунд они уже стояли в небольшом помещении, где на дерматиновой кушетке под полосатым больничным одеялом крепким сном спала маленькая старушка. Несомненно, это была та самая, но живая, бабка Варвара, которую вчера вечером Люба по ошибке приняла за покойницу.

- Как же это случилось?..Ну, как вы обнаружили эту бабушку, рассказывайте?! - проговорила тревожно Крылова.

- Да что там рассказывать… Ну, значится, я дежурил… Ночь. Темно. Холодно… Только начальству мому меня не выдавайте!.. Ну, выпил я всего-то стопки две водочки… А ежели б я не выпил, то уж, поди, меня самого заместо энтой бабульки в мертвецкую же и положили! - начал свой необычный рассказ сторож Степан.

- Можно короче… самую суть изложить? - перебила мужчину Люба.

«Можно и суть!.. Как пожелаете… - согласился сторож и продолжил: - ну, значится, сперва я посидел да погрелся, а опосля заново зачал круги нарезать вокруг больницы… Слышу: кто-то скребётся, стучит! Сразу я и не понял, откуда шум доносился. Ну, вот, значится, стал слушать… И вдруг меня как осенило! Да неужто, думаю, стук из мертвецкой доносится? Так оно и есть. Чую: дело неладное… Сколько работаю здеся, а такой жути никода не встречал! Дай, думаю, всё же хучь одним глазком погляжу. На ум

мне всякие там вурдалаки да оборотни стали тогда приходить… Страшно сделалось! Потом решил, что надо действовать, а то какой же из меня мужик, выходит и не мужик я вовсе. Иду. Подошёл к мертвецкой, значится, слушаю… Снова шум там обозначился. Сбегал в ЦРБ за ключом. Открыл… и она, энта бабка как выскочила! Ну, насквозь вся с ног до головы голая такая, трясётся от холода и плачет. Здеся оторопь меня настигла: я стоял, как в землю вкопанный… Волоса у ней седые распатланы, глазища горят от удивления… Ну, думаю, сущая ведьма предо мной явилась! Потом маленько поостыл, взял себя в руки и спрашиваю старуху:

- А что вы тут, гражданка, делаете?

Она на меня очи горящие свои наставила и шепчет:

- Так я вас и хочу спросить, как это я сюда попала?

- Да что энто вы, гражданка, издеваетесь надо мной чё ли?! - говорю я гневным голосом, а она не унимается:

- А как же это я голая здесь оказалась?.. Опоили вы меня зельем ядовитым, наверное, да сюда привезли, чтоб насилие надо мной совершить!

- Чё вы! Как можно! Вы ж такая древняя конструкция - кто ж из нормальных мужиков-то на вас позарится! - отвечаю я ей.

Опосля всё же мы с ей поладили. Я сходил за одеялом, потом к себе в кабинет пригласил, крепким чаем с булочками угостил, а она, заместо того, чтобы окончательно очухаться, взяла да и заснула. Видать от напряжения энто произошло. И вот же… сижу я, на её взираю. Час промелькнул, за ним - другой… Гляжу - не просыпается старушка, очень, вероятно, устала. Ну, и утром я к вам, Люба Михайловна, прямо и позвонил…»

Крылова не на шутку забеспокоилась. Она ясно себе представила, какой скандал мог произойти в областной прокуратуре, если бы бабка Варвара обратилась с заявлением о незаконном помещении её в морг. Девушка едва не заплакала, когда сторож Степан со вздохом проговорил:

Сколько живу на свете, а таких выкрутасов в Усмани ещё не видал! Стоит во всём разобраться и врача-сумасброда с должности поскорее убрать!

Люба понимала, что она грубо превысила свои полномочия и оказалась в безвыходном положении. Теперь всё зависело от действий самой бабки Варвары… Люба сходила домой за бутылкой вина и коробкой шоколадных конфет, которую несколько дней тому назад подарил ей напарник Евгений. В застойные времена XX века такая коробка была чрезвычайной редкостью в провинциальных городах страны Советов.

Через два часа бабка Варвара проснулась. Крылова с надеждой глядела на неё… Загодя девушка попросила тётю Машу дать ей своё старое платье, нижнее бельё, тулуп и сапоги напрокат. Таким образом, Люба нарядила бабку Варвару и затем отвезла её на такси в этот маленький, пропитанный ароматом трав деревянный домик. Там они вместе пили чай с малиной и долго разговаривали… Крылова поинтересовалась у Варвары, собирается ли та подавать заявление в прокуратуру о своих «мытарствах» в морге ЦРБ, на что ей бабка Варвара ответила:

- Никогда ни на кого заявлений я не писала и ныне этого делать не собираюсь. Да и зачем?.. Если кто со зла такую шутку со мной сотворил, то Господь сам разберётся с этим клоуном, а ежели всё произошло по недомыслию, то того Господь и так простит.

После этих слов бабки Варвары Любаша не выдержала и неожиданно для самой себя упала перед ней на колени и пролепетала:

- Простите меня, бабушка Варвара, это я, дура, такое безобразие с вами сделала, но совершила я всё, ей Богу, без какого-либо зла! Просто… не за свою работу я взялась, поэтому и знаний для её окончания у меня не хватило!.. Простите меня, дуру безмозглую!

- Бог тебя простит и я прощаю… Доченька, ведь я сразу и подумала, что это ты всё сотворила, и ещё потом поняла, что деяние твоё без всякого злого умысла было… А работой, на которую тебя начальство и сам Господь не благословил, никогда не занимайся более. Знаешь русскую пословицу: не в свои сани не садись! - молвила Варвара.

Расстались Люба и бабка Варвара близкими подругами… Тем и закончилась «эпопея со старушкой». И это был ещё один жизненный знак для Любаши и, надо сказать, знак - с особой таинственной подоплёкой.

***

Это бывает. Это бывает.
Ветер внезапно на вас налетает -
Газовым шарфом, воздушным плащом
Руки вам вяжет, как гибким плющом.
Вот ты во власти его:
Властелин -
Только лишь ветер,
ветер один.

***

Закатный луч на подоконнике,
И тени в сумраке ночном.
Мы снова, сударь, с вами в комнате,
Как будто в облаке сквозном.

И вы и я - все в прежнем образе,
Хотя иные времена.
Зачем друг другу мы напомнили
Свои былые имена?

За ними плавное скольжение
Во взоре прожитом очей -
Судьбы далекое видение
В неизреченности своей.

А небо сыплет просо звездное
На нас из лунного ковша,
И наши души, словно отроки,
Блуждают в сумраке окна.

***

По белому черным,
По черному синим,
По красному желтым;
Мы взором окинем -
И канут, потонут,

И сгинут, и сникнут,
И белою линией
Снова возникнут,
Очертят, опишут,
Окрасят лицо -
Проснитесь, очнитесь:
Солнце взошло!

ТОСКА

Ее печать шероховата.
Сургуч ее не истребить.
Молчать - сто лет.
Любить - сто лет.
О воле думать - тыщу лет.
И горстка пепла так легка,
И обветшали рукава
Дорог и странствий.

***

Люлька детства моего -
шелковые травы:
Домик низенький, крыльцо
да зелены ставни.
Счастье выпало и мне
на земле родиться -
Днем дождливым,
в сентябре...
Пахло медуницей.

***

Посижу перед заревом утра,
Предрассветною мглою объята,
Преисполнена тайного чуда
Превращения чувства и взгляда.
Посижу до глубокого вздоха,
Плечи выгнув, как будто для взлета,
Посижу перед заревом встречи:
Так недолго уже до восхода.

Татьяна Третьякова-Суханова
Из серии «Сущности»

ЛЕГЕНДА О ДУХЕ ЛЕСА

- Архипку-то? - Лидия Филькина зачерпнула пельмень из кастрюли. - Конечно, знаю! Толковый мужик! Правда, в поселок редко кажется, только за продуктами. А за одежкой он в город ездит, правда, не часто. Лет шесть уже Архипка у нас лесником.

- Он в гости нас, тёть, пригласил, - сказал Мамонов. - Дней на пять. Чтоб поохотились по-нормальному.

- Ну, так идите, - пожала плечами Лидия. - У Архипки в его хибаре многие останавливались. Хибара у него добротная, большая комнат на пять, хоть и небольших. Скучно ему одному, вот и приглашает в гости. Да, и если к нему подадитесь, то жратву захватите, чтобы лишний раз человек из поселка не волок.

***

- Есть у этого леса своя история, - Архипов пошуровал палкой в костре, растревоживая пламя.

Искры взметнулись в темное, затянутое тучами небо. Луна ушла, звезды словно померкли. Ветер раскачивал верхушки деревьев, но вниз не спускался, будто путаясь в голых ветках. Тьма обступала плотно, из её вязкого плена то с той, то с другой стороны вырывались звуки: треск сучьев под лапами неведомого зверя, трагичный вскрик птицы и, словно далекое, бормотание.

Этим вечером Веселовский и компания, изрядно нагрузившись провизией, расположились в избе лесника. И было у всех ощущение, что враз провалились они то ли в иную эпоху, то ли в другое измерение. Казалось, изба не человеческими руками срублена, а рождена самим лесом, взращена глухой чащей, вскормлена лесной землей. В одной из комнат дерево проросло посреди пола, который прорубили, давая растению свободу. В этой комнате хозяин и расположил столовую с кладовой.

В избе жарко и ощущается забытый, оставленный в далеком прошлом уют. Уют висящих под потолком связок с луком, уют брошенных под ноги волчьих шкур, уют вырезанных из дерева и развешанных по стенам безделушек.

Марина Новиковская

- Испокон веков живет в этом лесу некто. Люди прозвали его духом леса. Никто не знает, как он выглядит и есть ли у него материальная оболочка. Только следит он за каждым, кто в его лесу появляется. И проверяет новых людей, испытывает их, - пламя от костра плясало в черноте глаз Архипова. - Делает дух леса тайные страхи из прошлого явью. Внушает чувство вины. Судит человека за грехи его руками самого грешника. Сколько тут живу, а всякое мне мерещилось и мерещится, до сей поры.

- М-да, - расправил затекшую спину Игорь Мамонов, - нагнал ты страху, Славка! Однако за охоту сегодняшнюю спасибо! Славно постреляли.

- Ага, даже я попал, - довольно потёр руки программист Андрей Свиридов.

- А я не попал, - пробубнил себе под нос корректор Сергей Вяликов.

- Серый, не ссы! - со смехом похлопал его по плечу Мамонов, - у нас еще несколько дней - научишься!

- А что тебе мерещилось? - поинтересовался Леопольд.

- Знаешь, в жизни всякого человека есть то, о чем он предпочитает не вспоминать. - Архипов расчесал пятерней густую бороду. - У меня жена умерла от рака лет семь тому назад. Так вот вижу я частенько жену свою в этом лесу живой. И такое меня накрывает чувство вины, будто это я виноват в том, что болезнь Ирину одолела. Поначалу я был рад видениям. Скучаю я по ней до сих пор. Но потом понял, что обман он и есть обман. Вижу, наверное, её, потому что хочу увидеть. Вот такие глюки иногда здесь бывают от одиночества.

***

Буняша снова видела этот сон. Она снова бежала по влажному весеннему лесу. То и дело спотыкалась. Возле озера валежник попадался особенно часто. Бежала изо всех сил, а в голове свербела мысль: «От смерти не убежать!». Это были его последние слова перед тем, как он окончательно перекинулся в зверя. Любящие глаза стали глазами палача. И бесполезно спрашивать за что?! Просто азарт, просто развлечение, просто охота!

Раздался выстрел. Это стрелял не он. По звуку - далеко, он намного ближе. Значит, там впереди - люди, нужно только добежать до них. Хлопок и боль разорвали живот мгновенно. К голове тут же поднялась горячая кровавая волна. Затошнило, потемнело в глазах. Буняша падала и в падении видела его лицо и дуло винтовки. Выгодский Володенька смотрел взволнованно, на его лице страх и недоумение. Он явно не ожидал появления в лесу кого-то другого. Его охота сорвалась. Долго и тщательно планируемая охота. Проваливаясь в беспамятство, Буняша словно впитывала взгляд своего возлюбленного и убийцы.

***

- Бунеслава Викторовна!

Незнакомый мужской голос говорил будто бы из-под воды. То, что её назвали по имени отчеству, девушку несколько удивило. Ни разу так никто не называл. Во сне этот голос или наяву?

Сергей Паршин.
Два дерева

Буняша с трудом подняла веки. От сна и слез они слиплись. Возле кровати сидел мужчина, от лица которого отчего-то стало спокойно.

- Следователь Андрей Владимирович Голицын, - представился мужчина. - Врачи сказали, что с вами уже можно побеседовать.

- Можно, - кивнула Буняша.

Взгляд девушки метался по палате, и она всё еще не могла поверить в реальность своего спасения.

- Постараюсь вас долго не мучить, - улыбнулся следователь, и улыбка эта показалась Буняше такой тёплой, доброй. - Итак. Вы знаете человека, напавшего на вас?

- Да, - Буняша пыталась говорить громче, но получилось только полушепотом.

- Его имя?

- Владимир. Владимир Иванович Выгодский, - слова давались с трудом.

- Известно вам кто он? Кем работает?

- Да. Директор строительной фирмы «Гарант». Так он представился мне в первую встречу, - помимо воли Буняша вновь словно окунулась в тот вечер, в вечер их знакомства. Показалось, что в коридоре даже заиграла та самая музыка.

- Где и при каких обстоятельствах вы познакомились?

- На закрытой вечеринке. Ресторан «Мефистофель». Меня подруга по училищу пригласила. Сказала, что только на таких вечеринках девушки себе настоящих мужчин могут отхватить.

- Имя подруги?

- Светлана Пирогова. Борисовна.

- Она была знакома с Выгодским?

- Нет. Вечеринки проходили не так часто и на них каждый раз, по словам Светки, разные мужчины приходили. Обеспеченные мужчины так искали себе девушек. А девушки искали обеспеченных мужчин. Светка говорила, что кому-то везло, и они выходили замуж.

- Вы познакомились с Выгодским и долго с ним общались, пока он на вас не напал?

- Общались примерно полгода, - Буняша невольно закрыла глаза. Воспоминания теперь нахлынули с особой силой. Красивые, сказочные воспоминания. - Все было хорошо, а потом он предложил расстаться.

- Вот как? - в голосе следователя девушка уловила удивление.

- Да. Светка уговаривала забыть. Ну не получилось, говорила она. Я пыталась. А потом он позвонил и предложил встретиться и поговорить.

- И вы встретились?

- Недалеко от поселка. Он предложил прогуляться по лесу. Что-то говорил о своем статусе и о моем, и о том, что ему теперь плевать на мнение друзей. Я уже не помню точно, что он говорил. Мы зашли очень далеко в лес, шли, наверное, часа два. А потом он сказал, что пришло время сбросить маску. Пришло время его охоты. Он велел бежать, сказал, что подождет некоторое время, прежде чем погонится за мной. Я ничего не поняла, кроме одного - все это время я совершенно не знала его. - На лбу девушки выступили капельки пота, она открыла глаза, и Голицын увидел, как их наполняет ужас.

***

После ухода следователя Буняша провалилась в странное состояние. Ни сон, ни явь. Что-то между. Стоило закрыть глаза и прошлое оживало, врывалось то чёрно-белыми, то цветными красками.

Своих родителей Буняша не знала. Вернее, смутно помнила маму. Отец спился, и мать с ним развелась, когда дочери было три года. А когда Буняше исполнилось пять - снова вышла замуж и уехала из посёлка, оставив девочку на попечение бабушке, своей матери.

Мама никогда не писала Буняше и ту мучали молчаливые вопросы. Почему бросила? За что предала? Бабушку спрашивать бесполезно, она вычеркнула дочь из своей жизни, отдав все, что осталось внучке. Буняша только знала, что там далеко у мамы всё хорошо, муж положительный и любит, родила еще двух девочек. И, наверное, любит этих девочек. Тогда почему не любит её? Разве она не дочь, не родная плоть и кровь? Вот бы встретиться с мамой, посмотреть в её глаза, Буняша ведь даже не помнит какие у мамы глаза. Поговорить. Но бабушка если адрес и знала - скрывала. «Незачем тебе туды соваться, пустое!» - осаждала внучку в ответ на её просьбы.

Вот с годами и росла в душе Буняши пустота. Да такая, что ничем ее не наполнить. Даже мечтами. А мечты у девушки были, яркие, волнующие. Только терялись они в простоте и незамысловатости жизни.

По окончании поселковой школы поступила Буняша в училище на повара. И было у неё ощущение, что кто-то заранее всю жизнь уже расписал. Не оставил места волшебству и радости. И любви. Любовь и радость они где-то, с кем-то, только не с Буняшей.

Девушка не заметила, как уснула, и прошлое окутало, стало видимым, осязаемым.

***

- Ты чего все одна и одна? - пнула локтем Светка на лекции.

- В смысле? - округлила глаза Буняша.

- В смысле парня нет! -хитро сощурилась Светка.

- Нет и нет, тебе-то что? Бабушка говорит - успеется.

- Успеется, когда состаришься! - передразнила Светка.

- Ты что-то мне хочешь предложить? - Буняша уже знала этот лихорадочный блеск в глазах однокурсницы - нечто задумала.

- Хочу. Но ты у нас скромница - откажешься - Светка с вызовом приподняла бровь.

- А ты что, на стриптиз приглашаешь? - не растерялась Буняша.

- Нет, - Светка хохотнула, вызвав шквал недовольных взглядов преподавателя. - Это приличное место.

- Что за место?

- Ресторан «Мефистофель».

- Обалдела?! - Буняша постучала по Светкиному лбу указательным пальцем. - Он же для богатеев! Всей бабушкиной пенсии за год не хватит, чтобы там отобедать.

- А за нас заплатят!

- Кто?

- Мужчины, которые ищут приличных девушек, вроде нас.

- Это ты-то приличная? - невольно вырвалось у Буняши и она прикусила язык.

- Вполне, - надула губы Светка. - Славик всего второй парень у меня!

- А я слышала - пятый, - пробубнила себе под нос Буняша, - В восемнадцать-то…

- Что?

- Ничего!

- Ты не подумай, нас не как шалав угощать будут. Просто в этом ресторане иногда проходят особые встречи. Для избранных. Ты думаешь, мужчинам с деньгами легко найти женщину, не проститутку, для отношений?

***

В ресторане играла музыка. Тихо, ненавязчиво. ПареПареТаркана - любимая композиция Буняши. Девушка посчитала это добрым знаком. Не было и следа лихорадочности обычных питейных заведений. Интерьер «Мефистофеля» в бордово-чёрно-белых тонах не возбуждал, а успокаивал. Бордовые с чёрной окантовкой шторы крепились к низким натяжным потолкам, отчего помещение зрительно уменьшалось. Белые салфетки и белые живые розы в вазах на бордовых скатертях. Черный бархат пола. Буняше казалось, что они со Светкой, когда войдут, нарушат идеальность композиции. Разрушат интим. Светка притихла, похоже и на нее подействовала расслабляющая и в то же время смущающая атмосфера ресторана. Буняша же вдруг вспомнила о грязных сапогах. Долго терла ноги о коврик у входа. И прекратила только, когда уловила на себе насмешливый взгляд охранника. «Простушка, - прозвучал в голове Буняши собственный презрительный голос».

- Не стесняйтесь, девушки, - улыбчивая дама лет тридцати возникала рядом неожиданно, словно вынырнула из стены. - Господа вот вот прибудут, так что ждите. Одежду вешайте вот сюда, - и она отодвинула деревянную панель на стене, открывая небольшой гардероб. - Желаете выпить, поесть? - и, увидев испуганно округлившиеся глаза Буняши и нервно дергающиеся уголки губ Светки, добавила. - Вам нечего переживать об оплате! Таких красивых девушек обязательно выберут! - дама одобрительно улыбнулась именно Буняше.

А та внезапно почувствовала себя товаром в магазине. Выберут. Ей хотелось, чтобы с ней познакомились, а не выбрали.

- Может, уйдем? - схватила за руку Светку.

- С ума сошла?! Я еле уговорила Изольду!

- Это кто?

- Она только что с нами говорила. Ее муж - владелец «Мефистофеля».

- Это все как-то…

- Непривычно? Да. Но здесь все прилично, я…

- Ты раньше здесь бывала?

- Не в качестве гостьи, - Светка занервничала. - Я подрабатывала здесь на прошлых каникулах официанткой. Видела, что здесь происходит. А Изольда рассказывала, что многие девушки реально повыходили замуж.

- Вот оно что!

- Изольда всегда тщательно подбирает девушек для посетителей мужчин. Никаких дам легкого поведения! Боже упаси!

- Значит эта встреча больше для меня, - хмыкнула Буняша.

- Изольда согласилась и мне подобрать пару, - надулась Светка. - Просто просила привести с собой красивую подругу.

Между тем, в ресторан стали заходить и другие девушки.

***

Только этот мужчина появился на входе - душа Буняши словно узнала его. Именно так представляла девушка Грея из «Алых парусов». В свете бра бордо перетекало в алое сияние, окутывавшее ресторан. Плечи вошедшего обнимало алое марево. «Грей» скучающе пробежал взглядом по лицам и фигурам замерших в напряжении за столиками девушек, остановился на Буняше. Они смотрели глаза в глаза. Он улыбнулся, что-то сказал официантке и присел за пустой столик.

- Ух, какой! - от восхищенного возгласа Светки Буняша вздрогнула. А ведь подружка просто пожирает незнакомца глазами!

Между тем официантка вернулась с двумя бокалами и шампанским.

- Господин Выгодский желает вас угостить.

- Это тот с обалденной внешностью? - Светка мотнула головой в сторону «Грея»

Буняша просто завороженно молчала. Она не могла оторваться от бездны его взгляда.

- Да, - официантка фальшиво заулыбалась, ставя на стол шампанское и бокалы.

- Скажите этому господину, что мы рады его подарку, - Светка сказала это быстро-быстро.

Официантка подошла к «Грею», нагнулась и зашептала на ухо. Буняша почувствовала, что краснеет. Светка заерзала, незаметно достала зеркальце и посмотрела в него. В овальном отражении под столом круглое взволнованное девичье лицо мелькнуло и пропало.

Он встал и подошел. Протянул руку Буняше, та растерялась, но подала свою в ответ, немного привстав.

- Владимир Иванович Выгодский, - он поцеловал Буняше руку, - строительная фирма «Гарант», директор.

***

События, последовавшие за этим, остались в памяти Буняши фрагментарно. Владимир Выгодский довольно деликатно отшил Светку. Опять явилась та самая Изольда и просто проводила подругу из ресторана. Хотя

появлялись и другие мужчины и знакомились с девушками, но видимо, хозяйка всерьез не рассматривала Светку как претендентку на внимание влиятельных особ.

Что-то говорил «Грей». Что-то рассказывала Буняша. Все, все поглотило алое марево. Запомнилась только песня, под которую они покидали «Мефистофель»: «Может на крови вырастет тот дом, чистый для любви…»

***

Алые паруса расправлялись, их наполнял ветер - именно так ощущала мир Буняша в объятиях Володеньки Выгодского. Ничего, что он на шестнадцать лет старше. Ничего, что пытается все в её жизни контролировать, начиная от еды и одежды и заканчивая увлечениями. Пусть контролирует, пусть! Ведь до этого шмотки были доступны только в дешевых магазинах, дешевые, пошитые в Китае, пахнущие плесенью и пылью. Буняшу всегда поражало, что новые вещи так неприятно пахнут. Да и сами магазины «для народа» провоняли дешевизной, второсортностью. Как и люди, там покупающие. А теперь распахнулись элитные стеклянные двери, впустили в мир манекенов и духов. И в этом мире Буняша преобразилась. Приобрела доселе невиданный лоск выставочной кошки.

- Непорядочно! Не по-людски это! - срываясь в крик, пыталась достучаться до внучки бабушка.

- А по-людски выйти за алкаша и всю жизнь от зарплаты его в заначки прятать?! Да?!

- Чем расплачиваться-то за благодеяния будешь, дуреха?

Как в воду тогда глядела.

- Честью девичьей ты уже заплатила, знаю! - не унималась баба Маша.

- Бабушка, времена сейчас другие!

- Времена всегда единые! Болтать разное можно. О нравах, временах. А честь девичья она и сейчас честь, и сто лет назад, и через двести не изменится! Остальное пустое, от лукавого! Что ж замуж твоя любовь тебя не зовет?! Нравы современные не позволяют?

- Не знаю, бабушка чего. Мож приглядывается?

- А то! Во дуреха, истинный крест! - и баба Маша начинала неистово, отчаянно креститься. - Дочь потеряла, тебя не упущу!

Однако упустила. Не уберегла. Да и как тут уберечь, если мечты да иллюзии разум затмили. Минуты сливались в часы, часы в дни, дни в недели, недели в месяцы. Буняша счастлива была до беспамятства. Махнула рукой и на бабушку, и на посёлок. Перебралась жить к Выгодскому в Воронеж. Очумела, одурела от шальной разухабистой жизни. Учебу почти забросила. Иногда появлялась на лекциях, да зачеты сдавала. Жизнь словно в том мареве из «Мефистофеля». Ночи в страсти да вине. Через день вече-

ринки - обошла, наверное, все ночные клубы. Сменялись лица, тела в дорогих нарядах.

***

Сказка разбилась внезапно, будто сброшенная с комода старинная хрустальная ваза.

- Я уезжаю. Надолго. За границу. Дела, - сказал Выгодский отрывисто, непривычно холодным тоном.

- Ты же вернешься? - тон Буняше не понравился.

- Вернусь, но не к тебе.

- Как так?

- Да вот так!

Разбился мир стеклянных дверей, духов, манекенов.

- Ты не подходишь мне. Мои друзья говорят…

Простушка, лохушка, добавила про себя Буняша.

Возвращалась к бабушке, а в голове крутилась песня, та самая из «Мефистофеля»: «Я раненое сердце на рваной душе».

***

Недели через две после расставания привиделся Буняше сон. Испугал ее сильно, не к добру почудился.

Во сне черная-черная ночь окутала поселок. И вдруг посреди темноты полыхнуло алым небо, и поднялся сильный ледяной ветер. Хлестануло алым по пустым без света окнам домов, и поняла Буняша, что никого в поселке, все подевались куда-то, а она осталась. И увидела девушка, что спускаются с неба золотой дракон, за ним размером с дракона некто в длинном одеянии с лицом бледным и очами, пылающими белым светом, и, наконец, зверь такой же громадный и страшный. Говорит громовым голосом бледнолицый речи страшные, пророчит погибель живого на земле.

- Нечестивая троица, - шепчет во сне белыми губами Буняша. - Дракон, лжепророк да зверь!

- Грядут дьявольские времена, - пророк смотрит прямо в глаза Буняше, - когда любовь померкнет от многозакония, исчезнет и наступит эра Зверя!

Все ближе и ближе падает с небес нечестивая троица, хочет закричать Буняша и просыпается…

Уже вовсю трезвонил сотовый телефон. На экране - «Володенька Выгодский». Сердце у девушки ухнуло и словно замерло. И опять зазвучала в сознании проклятая песня: «За короткий срок мы смогли найти тысячи дорог, сложенных с могил».

БАМ

Обрывки плаката.
Лиловые губы.
Горячий
Дымящийся шлак.
Присядем, товарищ,
На рыжие трубы.
Прикурим от свежего шва.

Что было - то было:
С оплывом,
С нагаром
Ложилась сварная строка.
Закончилась смена,
Не то что гитару -
Окурок не держит рука!

Защитные каски,
Ушанки, пилотки,
В прорабской -
Набито битком!

Ошпарим-ка, парень,
Охрипшие глотки
Согретым для нас
Кипятком.

В дымище мерцает
Созвездие «Примы»,
И полночь
Летит под уклон.

И северный ветер
Проносится мимо,
Шатая фанерный
Вагон.

Георгий Авсаджанов.Стройка в горах

ПОКА ТЫ МОЛОД...

Пока ты молод и здоров,
А шаг твой лёгок и небрежен,
Корми таймырских комаров
На енисейском побережье.

Живи, как все.
Не прекословь
Тем, кто постарше.
Но с осанкой
Пей на ветру оленью кровь
Сверкающей консервной банкой.

Обитель горестных легенд,
Последняя земля шамана…

Движенье гусеничных лент -
Стальная поступь каравана.

Где гнал оленей самоед
Купцу на спирт менять пушнину,
Вдави-ка самый первый след
Своей оранжевой машины!

Ты с местностью сверяешь план.
Смотри: в горячке наших буден
Тяжёлым гаком автокран
Цепляется за лунный бубен.

ТАЙМЫР

Швырнуть в траву теодолит.
Припасть к земле щекой небритой.
И ничего-то не болит,
И половина бед забыта.

Лежать подобием листа,
Устав,
Но лишь глаза прикрою:
Стальная радуга моста
Встаёт над бешеной рекою.

Проверю лезвие ножа,
Запасы пороха и соли,
Портянкой влажной не спеша
Перебинтую я мозоли.

Там насыпь срежет косогор,
Левее - в железобетоне -
Мост чёткий выведет узор…

Ну, а пока горит костёр,
Ловя тепло моих ладоней.

БОЛЬШОЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КАНАЛ

Ударному отряду ВЛКСМ «Ставрополец»

Сухой песок
Подхватывает ветер,
Он шелестит,
Над кузовом пыля.
Ты чувствуешь, как несколько столетий
Степь хочет пить?
- Пей, милая земля!

Пей, милая,
ты мучилась немало.
Но мы твердим: здесь будут сеять хлеб!
Пульсируют
артерии канала,
Пересекая высохшую степь.

Да здравствуем - мы все, когда мы - вделе!
Когда мы дюкер тянем на заре,
Когда километровые тоннели
Мы прорубаем в каменной горе.

Под музыку каленого металла,
Круша гранит, мы думаем про хлеб,
Про это русло нового канала,
Который напоит родную степь.

«АЗОТ»

Мой брат не стар. Но вот, что странно:
Прищурится -
И вспомнит он,
Как жестом башенного крана
Был наш посёлок осенен.

Смотрю на твёрдые ладони,
На ясные его глаза:
Я в жизни многого не понял,
Он многого недосказал.

Мне это может только сниться:
В тяжёлый год, в родном краю,
Рождала старая станица
Эпоху новую свою.

Сейчас среди холмов покатых
Пейзаж прекрасен и суров:
Дымятся трубы комбината,
Темнеют стены корпусов.

Антенны дружно с ветром спорят.
И поглядишь по сторонам:
Вокруг кавказские предгорья,
Как будто кланяются нам.

В разноголосице моторов
Идёт история сама.
И новый, строящийся город
Сметает старые дома!

ГОРОД РОМАНТИКОВ

Посреди степей из года в год,
Где трава колёсами примята,
Вижу, как в грядущее идёт
Многотрубный крейсер комбината!

Я давно не верю в чудеса,
Но утрами вижу:
между кранов
Город поднимает в небеса
Паруса горячего тумана!
Пристальнее вглядываюсь в даль:
Родственная гоночному треку,
Разрубает степи магистраль,
Словно нерв безудержного века!

А, когда темнеет небосвод,
Там, где звёзды трепетны и мелки,
На ветру, как вымпел, полыхнёт
Пламя над метановой горелкой!

Это же не город - а мечта.
Он сияет нашими делами.
Западным столицам не чета,
Город, что построили мы сами.

УВЕРТЮРА

Все в мире туманно и зыбко,
Покойно и тихо окрест.
Пожалуйста, сольная скрипка,
Вытягивай спящий оркестр.

То доводом чётким, то бредя,
То криком, то вновь чуть дыша,
Тяни из берлоги медведя, -
Весной изболелась душа.

Так в море качается зыбка.
Своею любовью губя,
Твоей же мелодией, скрипка,
Оркестр задавит тебя!

Но голос является миру.
И вот уже вслед за тобой,
Как пьяный матрос по планширу,
Иду над пучиной ночной!

Ступаю по самому краю.
И с бездной на равных пою.
Иду, как на смерть, и не знаю -
Подхватят ли песню мою?